АРКАДИЙ ВАЙНЕР, ГЕОРГИЙ ВАЙНЕР

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ



Визит к Минотавру

Аркадий Александрович Вайнер, Георгий Александрович Вайнер

Аннотация
Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Визит к Минотавру
КНИГА ПЕРВАЯ. Вход в лабиринт
Глава 1. Улыбка Королевы
Глава 2. Гений
Глава 3. Кислая вода лжи
Глава 4. Свои Минотавры
Глава 5. Каин для кнутобоища
Глава 6. Фаза испепеления
Глава 7. Гениален, как Роде, и так же несчастен
Глава 8. Человека к благу можно привести и силой
Глава 9. Горький дым страха
Глава 10. Сыщик, ищи вора!
Глава 11. Вход в Лабиринт
КНИГА ВТОРАЯ. Правду умом ищут…
Глава 1. Чучело Минотавра
Глава 2. Нельзя злодейство усугублять глупостью
Глава 3. «…плотью живой он в могилу живую

уходит...»
Глава 4. У людей долгая память
Глава 5. Бабка Трумэна
Глава 6. Сто процентов алиби
Глава 7. Характер человека — его судьба

Аннотация

Роман А. и Г. Вайнеров рассказывает читателю о том, как рождались такие уникальные инструменты, как скрипки и виолончели, созданные руками величайших мастеров прошлого.

Вторая линия романа посвящена судьбе одного из этих бесценных творений человеческого гения. Обворована квартира виднейшего музыканта нашей страны. В числе похищенных вещей и уникальная скрипка «Страдивари».

Работники МУРа заняты розыском вора и самого инструмента. Перед читателем проходит целая галерея людей, с которыми пришлось встречаться героям романа, пока им не удалось разоблачить преступника и найти инструмент.

Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер
Визит к Минотавру

КНИГА ПЕРВАЯ
Вход в лабиринт

Глава 1
Улыбка Королевы

И кода тоже не получилась. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато, но звук выходил тупой, тяжелый, неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампионы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались, и Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже, пока кто-то отчетливо — как камень в воду — не сказал: «А ведь хороший резчик по дереву был!» Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подло, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу…

На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари, долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное,

мокрое от пота лицо, долго сидел без чувств и мыслей, и только огромная утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монци был бы сейчас для него невыносимой пыткой, да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф, — жизнь ведь все равно была уже закончена.

От темноты и одиночества немного прошло напряжение, и Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он зажег сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти — пузатая, короткая, с задранным грифом, похожая на преуспевающего генуэзского купца. Антонио упер скрипку в стол и сильным точным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее — испуганный, хриплый — был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные, дряблые струны и поднял деку. Аляповатая толстая душка, как кривой пупок, нелепо поставленная пружина, толстые — от селедочного бочонка — борта-обечайки.

В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что

он никуда не годен. Господи, надоумь, объясни — как же должно быть хорошо? На колокольне ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый бриг, и время текло, струилось, медленно, размеренно, как вода в канале за окном, и откровение не приходило. Из окна пахнуло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревяшки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь закончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшний позор, намокла и согрелась подушка, ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы, и незаметно для себя Антонио заснул.

А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющее марево воды сливалось с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые, как валансьенские кружева, облака, и только тонкая стамеска да черненые щипчики на столе напомнили ему, что жизнь окончилась еще вчера. Вспомнил — и засмеялся.

В этот день Антонио Страдивари исполнилось девятнадцать лет.

* * *

Королева улыбалась ласковой чистенькой старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу, и с того места, где стоял я, казалось, будто ее величество запрокинули голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной.

— Девять часов шестнадцать минут, — сказал эксперт Халецкий.

— Что? — переспросил я.

— За восемь минут, говорю, доехали.

— Ну, слава богу, — я ухмыльнулся. — Задержись мы еще на две минуты, и тогда делу конец…

Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, не спеша оглядывая разгром и беспорядок в комнате, ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний

побывавший перед нами человек. Вор.

— Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете?

— Не понял, — осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха.

— Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем, и сюда придут люди. Много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не смогли обратить внимания…

— И что же вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю. Просто фантазирую. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда завтра, послезавтра — и мы бы увидели так много нового…

— Прекрасный образец работы по горячим следам, — сказал сварливо Халецкий. — Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома… пока вы будете искать незамеченные сразу улики.

Я засмеялся:

— Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хоть я в этом мало чего

понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба.

Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею — собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый с подпалинами пес спокойно сел в прихожей на пол, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. Я готов, — всем своим видом демонстрировал Марсель, — не знаю, чего уж вы тут копаетесь.

— Что, поработаем, Марселюшка? — спросил я и потрепал пса по загривку. Овчарка прищурила свои янтарно-крапчатые круглые глаза.

— Станислав Палыч, вы его зря сейчас разговариваете, — сказал недовольно Качанов. — Исковой пес в работе на след должен быть уцелен, как на жареную печенку.

Лаврова чиркнула зажигалкой, затянулась сигаретой, со смешком сказала:

— А что толку-то? Все равно «…у стоянки такси собака след утратила…».

— Это вы уж бросьте! — совсем обиделся Качанов. — Вашей-то фотографии в музее милицейском еще нет пока, товарищ лейтенант… А Марсель мой, между прочим, третий год там красуется. Зазря портрет на стенку вешать не станут. Притом в раме…

— Станислав Павлович, поблагодарите Качанова за комплимент, — засмеялась Лаврова. — Я ведь там и ваш портрет видела.

Лаврова оглядывалась в прихожей, разыскивая, куда бы ей сбросить пепел с сигареты, направилась к столику, на котором стояла большая тропическая раковина. Я опередил ее, подставив развернутую газету:

— Если нет принципиальных возражений, пепел будем стряхивать сюда. Я ведь сейчас отличаюсь от Марселя тем, что прежде чем искать, обязан сторожить тот порядок, в котором мы все это застали.

Лаврова взглянула на меня, усмехнулась:

— И опять вы правы. Я с тоской думаю об участи женщины, которая станет вашей женой.

Я кивнул:

— Я тоже. Для вас остается вариант личного самопожертвования. А теперь, как говорили дуэлянты, приступим, господа. Качанов, войдешь первым: вы с Марселем отрабатывайте след, а мы начнем свою грустную летопись.

Качанов снял с Марселя поводок, что-то шепнул ему на ухо и пустил в комнату. Я стоял, прислонившись к притолоке.

Собака, видимо, взяла след. Она занервнича-

ла, вздыбилась шерсть на загривке, судорожно подергивался нос — черный, влажный, нежно-трепетный. Марсель перебежал комнату и исчез в спальне, потом снова вернулся, и двигался он все время кругами, иногда растягивая их и переворачивая в восьмерки, пока не выбежал обратно и прихожую, сделал стойку у дверного замка, и тут Качанов ловко и быстро накинул на него карабинчик поводка. Марсель стал скрести когтями дверь и вдруг неожиданно тонко взвыл: «У-у-юу» — как от мгновенной внутренней боли. Качанов открыл дверь и выскочил вслед за овчаркой на лестничную площадку, потом раздался его дробный топот по ступенькам.

— Прошу вас, — сделал я широкий жест, приглашая войти в гостиную, и добавил, обращаясь к Халецкому, хотя Лаврова отлично поняла, что говорю я это для нее, и Халецкий это знал: — Весь наш мусор — окурки, бумажки и теде и тепе — складывать только на газете в прихожей…

И поскольку мы все трое знали, кому адресовано это указание, осталось оно без ответа, вроде безличного замечания — «уже совсем рассвело». Я подошел к портрету — почему-то именно портрет больше всего привлекал мое внимание. Это была очень хорошая фотография, застеклен-

ная в дорогую строгую рамку. Часть стекла еще держалась, вокруг валялись длинные, кривые, как ятаганы, обломки, рядом на паркете засохли уже побуревшие пятна крови. Там, где капли упали на стекло, они были гораздо светлее. Одна длинная капля попала прямо на фото и вытянулась в конце дарственной надписи, как нелепый, неуместный восклицательный знак.

— Королева Елизавета Бельгийская, — сказал Халецкий, присевший рядом со мной на корточки.

— Это написано или вы так думаете? — спросил я, проверяя себя.

— Знаю, — коротко ответил эксперт. — Жаль, я не понимаю по-французски — интересно, что здесь начертано.

— Наверное, что-нибудь такое вроде «Люби меня, как я тебя», — усмехнулся я.

Лаврова заглянула через мое плечо:

— «Гениям поклоняются дамы и монархи, ибо десница их осенена Господом».

— Вы это всерьез полагаете? — обернулся я к Лавровой.

— Это не я, это бельгийская королева так полагает, — сказала Лаврова.

— Н-да, жаль, что я не гений, — покачал я го-

ловой.

— А зачем вам быть гением? — спросила Лаврова. — Расположение монархов вас не интересует, а с поклонницами у вас и так, по-моему, все в порядке.

Я внимательно взглянул на нее, и мне показалось, что в тоне Лавровой досады было чуть больше, чем иронии.

Я снова наклонился над портретом. Королева улыбалась беззаботной улыбкой, и теперь — совсем рядом — эту накопившуюся десятилетиями беззаботность неправящего монарха-дамы не могли изменить даже морщины — трещины расколовшегося стекла.

— И все-таки жаль, что я не гений.

— Слушайте, не гений, вы о чем сейчас думаете? — спросил Халецкий.

— Ни о чем. Мне сейчас думать вредно. Я сейчас стараюсь стать запоминающей машиной. Вот когда все зафиксирую в памяти, тогда начну думать.

— Неужели вам никогда не надоедает оригинальничать? — раздраженно спросила Лаврова.

Я удивленно посмотрел на нее, потом засмеялся:

— Леночка, а я ведь не оригинальничаю. И не

я это придумал. Еще много лет назад меня учил этому наш славный шеф — подполковник милиции Шарапов.

— Чему? Не думать?

— Нет, в первую очередь запоминать. Я должен сейчас сразу и навсегда запомнить то, что пока есть, но может исчезнуть или измениться…

— Например?

— Так не например, а конкретно: существует несколько неоспоримых, раз и навсегда установленных правил. Запомнить время по часам — своим и на месте преступления, даже если они стоят. Это первое. Затем — осмотр дверей, целы ли, заперты, закрыты, есть ли ключи. То же самое — с окнами. Установить наличие света. Посмотреть, как обстоит с занавесями. Проверить наличие запахов — курева, газа, пороха, горелого, духов, бензина, чеснока и так далее. Погода, это почти всегда важно. При всем этом ни в коем случае нельзя спешить с выводами — ответ на задачу всегда находится в конце, а не в начале. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя давать вовлечь себя в дискуссию зевакам…

Лаврова долго смотрела мне в глаза, потом негромко спросила:

— Последняя из этих МУРовских заповедей

— для меня?

Я снова перевел взгляд на улыбающуюся королеву, затем поднял голову:

— Перестаньте, Лена. Я вас старше не только по званию. Я вас вообще старше. И гораздо опытнее. И все равно очень многого еще не знаю. И когда меня, как котенка, тычут носом, я не обижаюсь, а учусь. Во всяком случае, стараюсь не обижаться. По-моему, это единственно приемлемая программа для умного человека…

— Поскольку вы не только старше меня вообще, но и по званию, будем считать, что вы меня убедили, — пожала плечами Лаврова.

— Ага, будем считать так, — сказал я, сдерживая злость. — Я точно знаю, что это самая лучшая позиция убеждения.

— Несомненно, — подтвердила Лаврова. — Правда, с этой позиции убеждение уже иначе называется…

— Вот и прелестно, — согласился я. — Начните выполнение моего приказа с общего осмотра и составления плана места преступления…

Лаврова с ненавистью посмотрела на улыбающуюся королеву и пошла в кабинет. Я сказал ей вслед:

— И про заповеди не забудьте…

Халецкий неспеша проговорил:

— Если мне будет позволено заметить, то обращу ваше внимание, Тихонов, на то, что я, в свою очередь, старше и опытнее вас.

— Будет позволено. И что?

— Что? Что вы не правы.

— Это почему еще?

— В своей молодой, неутоленной жизненной сердитости вы ошибочно полагаете, будто через несколько лет, когда Лена станет опытным, зрелым работником, она будет с душевной теплотой вспоминать о строгом, но справедливом и мудром первом учителе сыска — Станиславе Тихонове…

— Не знаю, возможно. Я как-то не думал об этом.

— Так вот — нет. Не будет она с душевной теплотой вспоминать о вас. Она будет вспоминать о вас, как о нудном и к тому же жестоком субъекте.

— Ной Маркович, неужели я нудный и жестокий субъект? С вашей точки зрения?

— Вас же не интересует, что я буду думать о вас через несколько лет. А сейчас, будучи гораздо старше и опытнее, как вы говорите, — вообще, я полагаю, что через плотину вашего разума регулярно переливаются волны молодой злости

и нетерпимости. Будьте добрее — вам это не повредит.

— Может быть, может быть, — сказал я.

— Так что вы думаете насчет портрета? — спросил Халецкий.

— Я думаю, что где-то здесь поблизости должен валяться гвоздик, на котором он висел.

— Я тоже так думаю, — кивнул Халецкий. — Портрет вор не сбросил — он, видимо, только трогал его, гвоздь выпал, и портрет упал…

Мы давно работали вместе и умели разговаривать кратко. Так люди выпускают в телеграммах предлоги — для экономии места, только мы выпускали целые куски разговора, и все равно хорошо понимали друг друга.

— Ной Маркович, а вы сможете собрать осколки? — спросил я.

— Я постараюсь…

Халецкий стал распаковывать свой криминалистический чемодан, который за необъятность инспектора называли «Ноев ковчег».

Я напомнил:

— Соскобы крови с пола возьмите в первую очередь.

Халецкий взглянул на меня поверх стекол очков:

— Непременно. Я уже слышал как-то, что это может иметь интерес для следствия…

Я еще раз взглянул на портрет. Холодное солнце поднялось выше, тени стали острее, рельефнее, и трещины были уже не похожи на морщинки. Косыми рубцами рассекали они улыбающееся лицо на фотографии, и от этого лицо будто вмялось, затаилось, замолкло совсем…

— Не стойте, сядьте вот на этот стул, — сказал я соседке Полякова.

Непостижимость случившегося или неправильное представление о моей руководящей роли в московской милиции погрузили ее в какое-то нервозное состояние. Она безостановочно проводила дрожащей рукой по волосам — серым, непричесанным, жидким, и все время повторяла:

— Ничего, ничего, мы постоим, труд не велик, чин не большой…

— Это у меня чин не большой, а труд, наоборот, велик, — сказал я ей, — так что вы садитесь, мне с вами капитально поговорить надо.

Она уселась на самый краешек стула, запахнув поглубже застиранный штапельный халатик, и я увидел, что всю ее трясет мелкая дрожь. Она была без чулок, и я против воли смотрел на ее отекшие

голые ноги в тяжелых синих буграх вен.

— У вас ноги больные? — спросил я.

— Нет, нет, ничего, — ответила она испуганно. — То есть да. Тромбофлебит мучит, совсем почти обезножела.

— Вам надо кокарбоксилазу принимать. Это от сердца, и ногам помогает. Лекарство новое, оно и успокаивающее — от нервов.

Она посмотрела на меня водянистыми испуганными глазами и сказала:

— На Головинском кладбище для меня лекарство приготовлено… Успокаивающее…

Я махнул рукой:

— Это успокаивающее от нас от всех не убежит. Да что вы так волнуетесь?

Она смотрела в окно сквозь меня — навылет, беззвучно шевелила губами, потом еле слышно, на вздохе, сказала:

— А как мне не волноваться — ключи от квартиры только у меня были…

— А почему у вас?

— Надежда Александровна, Льва Осипыча супруга, мне всегда ключи оставляла. Сам-то рассеян очень, забывает их то на даче, то на работе, и стоит тут под дверью, кукует. Потом, помогаю я по хозяйству Надежде Александровне…

— Где ключи сейчас?

Она вынула из карманчика три ключа на кольце с брелоком в виде автомобильного колеса.

— Вы ключи никому не передавали?

Женщина еще сильнее побледнела.

— Я спрашиваю вас, вы ключи никому не давали? Хоть на короткое время?

— Нет, не давала, — сказала она, и тяжелые серые слезы побежали по ее пористому лицу.

С шипением вспыхнул магний — Халецкий с разных точек снимал комнату, соседка вздрогнула, и слезы потекли сильнее. Из спальни доносился острый звук шагов Лавровой, отчетливо стучали ее каблучки, тяжело сопел под нос Халецкий, беззвучно плакала усталая старая женщина. Я пошел на кухню и налил в никелированную кружку воды из-под крана, вернулся, протянул ей. Она кивнула и стала жадно пить воду, будто то, что она знала, нестерпимо палило ее, и зубы все время стучали о край кружки, и этот звук отдавался у меня в голове, как будто по ней барабанили пальцем.

Я не торопил ее. Не знаю почему, но уже тогда я понял, что спешить в этом деле некуда. Вопреки модной ныне теории, что интуиция, предчувствия, нюх и тому подобные атрибуты нашего

ремесла сыщику сегодняшнего дня вредны с точки зрения научной и социальной, я все-таки верю в интуицию сыщика, более того, я просто уверен, что человеку без интуиции в уголовном розыске делать совершенно нечего. А то, что интуиция эта самая нас периодически подводит — так тут уж ничего не попишешь: издержки производства. Вот и тогда, в самом еще начале, я почувствовал, что повозимся мы с этим делом всерьез…

— Вы не хотите говорить, у кого побывали ключи? — спросил я, а она отрицательно замотала головой и хрипло сказала, глядя на меня невидящими глазами:

— Я честный человек! Я всю жизнь работаю, я копейки чужой за всю жизнь не взяла… Взгляните на мои руки, на ноги посмотрите — а мне ведь всего сорок семь!

— Мне и в голову не приходило вас подозревать. Но замки целы, квартира открыта ключами. Поэтому я хочу выяснить, у кого в руках могли побывать ключи…

— Ничего я не знаю. Ключи у меня дома были.

— Ну, не хотите говорить — не надо. Вы, Евдокия Петровна, живете этажом ниже?

— Да.

— Кто еще с вами там проживает?

— Муж. Сынок два месяца назад в армию ушел, дочка замужем — отдельно живет.

— Как вы обнаружили кражу?

Из спальни вышла Лаврова.

— Леночка, можно вас на минуту?

Я быстро нацарапал на бумажке: «В отд. мил.: Обольников Сергей Семенович — кто такой?» Лаврова кивнула и пошла в кабинет.

— Так что, Евдокия Петровна, как вы узнали?

— Поднялась и увидала, что дверь не заперта.

— Простите, а зачем поднимались?

Женщина судорожно крутила в руках поясок от халата.

— Ну… как зачем… проверить… все здесь в порядке?..

— Вас просили об этом хозяева?

— Нет… да, то есть они меня иногда просят об этом. Когда уезжают…

— И сейчас тоже просили?

— Да… не помню, но, по-моему, просили…

— А чем занимается ваш муж — Сергей Семенович?

— Он шофером работает.

— Где он сейчас-то?

— В больнице.

— Ну-у, а что с ним такое?

Кровь бросилась ей в лицо, я увидел, как цементная серость щек стала отступать, сменяясь постепенно багровыми нездоровыми пятнами, будто кто-то зло щипал ее кожу.

— Алкоголик он. В клинику на улице Радио его положили, — медленно сказала она, и каждое слово падало у нее изо рта, как булыжник.

— Когда положили?

— Вчера. Приступ у него начался.

Я положил ручку на стол и постарался поймать ее взгляд, но, хоть она и смотрела на меня почти в упор, казалось, меня не замечала — выцветшие серые глаза незряче скользили мимо.

— Приступ? — переспросил я неспеша. — В этой болезни приступ называется запоем. Когда он запил?

— В пятницу, позавчера, — она больше не плакала, говорила медленно, устало, безразлично.

Вошла Лаврова, положила передо мной листочек. Ее круглым детским почерком было торопливо написано: «Характеризуется крайне отрицательно. Пьяница, бьет жену, а раньше и детей, дважды привлекался за мелкое хулиг., неразборчив в знакомств. Работает шофером в таксомоторном парке, раньше был слесарем-лекальщиком 5-го разряда на заводе «Знамя».

— Евдокия Петровна, а к мужу вашему, Сергею Семеновичу, ключи в руки не попадали? — спросил я.

Она шарахнулась, как лошадь от удара, и незрячие глаза ожили: задергались веки, мелко затряслись редкие реснички.

— В больнице он, говорю же я, в больнице, — забормотала она быстро и беспомощно, и снова закапали — одна за другой — мутные градины слез.

Да, сомнений быть не могло, Сергей Семенович, муженек запойный, папочка нежный, про ключики знал, держал он их в ручонках своих трясучих, это уж как пить дать…

— Евдокия Петровна, я вам верю, что вы честный человек. Идите к себе домой и подумайте обо всех моих вопросах. И про Сергея Семеныча подумайте. Я понимаю — он вам муж, кровь родная, но все-таки всему предел есть. Вы подумайте — стоит он тех страданий, что вы из-за него принимаете сейчас? А я к вам попозже спущусь. У вас ведь телефона нет?

— Нет, — покачала она равнодушно головой.

— Ну и хорошо, никто звонками вас отвлекать не будет. Часа через два я зайду.

Бессильным лунатическим шагом, медленно

переставляя свои отечные, изуродованные венами ноги, пошла она к двери, и я услышал, как, уже выходя из комнаты, она прошептала:

— Господи, позор какой…

…Халецкий снимал на дактопленку отпечатки пальцев со шкафа. Повернулся ко мне:

— Ну что?

— Трудно сказать. Ключи у него, во всяком случае, были. Работал раньше слесарем…

— Думаете, навел?

— Не знаю. Алиби у него при всем том стопроцентное. В этой милой больничке режим — будьте спокойны, оттуда не сбежишь на ночь. Но разрабатывать его придется всерьез. Да и на жену я надеюсь — она мне обязательно сегодня про него что-нибудь поведает.

— Э, не скажите. Такие женщины если замыкаются — то все, хоть лопни — рта не раскроют.

— Поживем — увидим, — сказал я и позвал Лаврову.

— Да? — раздался ее голос из кабинета.

— Идите сюда, протокол будем писать здесь.

Я снова уселся за стол, разложив листы протокола осмотра.

— Вы диктуйте, а я буду записывать, — сказал я.

— Пожалуйста, — кивнула она, будто так оно и было правильнее.

Халецкий, натянув тонкие резиновые перчатки, стоя на коленях, очень аккуратно — один к одному — начал подбирать с пола осколки стекла, складывая из них, как из мозаики, единую плоскость. На вощеном паркете, как свежие раны, были видны соскобы.

— Исходные данные заполнили? — спросила Лаврова.

— Заполнил.

— Пишите. Квартира расположена на пятом этаже, других квартир на лестничной клетке нет. Дверь изнутри обита белым листовым железом. Замки повреждений не имеют, ригели и запорные планки в порядке, на обвязке двери против замка заметна вмятина. По-видимому, вор проник в квартиру путем подбора ключей…

— Та-ак, этого писать не будем.

— Почему? — подняла голову Лаврова.

— В протокол надо вносить только факты, — сказал я. — А насчет вора — это пока только мечтания… Ну-с, дальше.

— …На полу в прихожей три обгоревшие спички… Здесь же лежит проигрыватель, рядом, слева, черные мужские полуботинки новые… на

нижней полке горки в беспорядке большие медали с надписями на английском, французском, немецком и японском языках — в количестве одиннадцать штук, все на имя народного артиста СССР Льва Осиповича Полякова, окна в порядке, створки и рамы повреждений не имеют, форточки заперты на шпингалеты, опорные крючки которых довернуты и закреплены в обойме… слева на тумбе — радиоприемник, на котором стоит бюст Полякова… работы скульптора Манизера…

— Вы забыли про поднос на колесиках, — сказал я, не отрываясь от записей.

— Это называется сервировочный столик.

— Тем более надо указать, — усмехнулся я.

— До него еще не дошла очередь…

— Одну минуту. Ной Маркович, когда у вас дойдет очередь до сервировочного столика, посмотрите внимательно, нет ли на нем следов пальцев.

— …В спальне гардероб, встроенный в стену, раскрыт, одежда валяется на полу в беспорядке. Здесь же на полу туфли, сумки, чемодан импортный мягкий с разрезанной верхней крышкой… в кресле лежит подсвечник — трехсвечный шандал с обгоревшими более чем наполовину свечами… На полу восемь листов сгоревшей бумаги, пе-

пел значительно поврежден. Здесь же валяются принадлежности скрипичных инструментов… В спальне разбросаны вещи, белье, на полу — 12 коробочек от ювелирных изделий…

Лаврова положила на стол желтый металлический диск:

— Это «Диск де Оро» — золотая пластинка, которая была записана в честь Полякова в Париже. Здесь собрана его лучшая программа…

— Прекрасно, — сказал я. — Что, перекур? Давайте передохнем, закончим общее описание и тогда составим протокол на каждую комнату в отдельности.

— А зачем отдельные протоколы?

— Перестраховка. Если мы с вами, Леночка, не справимся с этим делом, то хоть протокол надо составить так, чтобы и через десять лет следователь, взяв его в руки, представил обстановку так же ясно, как мы видим ее сейчас.

— Откуда такой пессимизм, Станислав Павлович?

— Это не пессимизм, Леночка. Это разумная предосторожность. В нашем деле всякое случается.

— Но ваша любимая сентенция — «нераскрываемых преступлений не бывает»?

— Полностью остается в силе. Если мы с вами не раскроем, придет другой человек на наше место — более талантливый, или более трудолюбивый, или, наконец, более удачливый — тоже не последнее дело.

— А если и тому не удастся?

— Тогда, наверное, нам отвинтят головы.

— Ой-ой, это почему? Перед законом все потерпевшие равны — независимо от их должностного или общественного положения. По-моему, я это от вас и слышала.

Я засмеялся:

— Я и не отказываюсь от своих слов. Но было бы неправильно, если бы мы позволили ворюгам безнаказанно шарить в квартирах наших музыкальных гениев.

— Понятно. А в квартире обыкновенного инженера можно?

Я с интересом взглянул на нее, потом сказал:

— Эх, Леночка, мне бы вашу беспечность. От нее независимая смелость ваших суждений.

— Подобный выпад нельзя рассматривать как серьезный аргумент в споре, — спокойно сказала Лаврова.

— Это верно, нельзя. Скажите, вам никогда не приходило в голову, что наша работа в чем-то

похожа на шахматную игру?

— А что?

— А то, что нельзя играть в шахматы, видя перед собой только следующий ход. В шахматах побеждает тот, кто может намного вперед продумать свои ходы и их железной логикой навязать противнику удобную для себя контригру — чтобы она ложилась в рамки продуманной тобой комбинации…

— Какой же вы продумали ход?

— К сожалению, в наших партиях противник всегда играет белыми — первый ход за ним. Причем, вопреки правилам, ему удается сделать сразу несколько.

— Ну, e2 — e4 он сделал. Каковая связь с нашим спором?

Я задумался, будто забыл о ней, потом спросил:

— Не понимаете? Сейчас приедет хозяин квартиры — народный артист СССР, лауреат всех существующих премий, профессор консерватории Лев Осипович Поляков. Он, как вам это известно, гениальный скрипач. Теперь он еще называется потерпевший. И подаст нам заявление, которое станет документом под названием лист дела номер два. Вот тут мы с вами можем узнать, что есть еще один потерпевший… Этого я

боюсь больше всего…

— Кто же этот потерпевший?

В прихожей хлопнула дверь. Я обернулся. В комнате стоял Поляков.

Глава 2
Гений

От нестерпимого блеска солнца болели глаза, и вся Кремона, отгородившись от палящих лучей резными жалюзи, погрузилась в дремотную сиесту. Горячее дыхание дня проникало даже сюда, в покрытый виноградной лозой внутренний дворик: каменные плитки пола дышали жаром. Прохладно плескал лишь вспыхивающий искрами капель маленький фонтанчик посреди двора, но у Антонио не хватало смелости спросить воды. Великий мастер, сонный, сытый, сидел перед ним в деревянном кресле, босой, в шелковом турецком халате, перевязанном золотым поясом с кистями, и мучился изжогой.

— Нельзя есть перед сном такую острую пиццу, — сказал мастер Никколо грустно.

— Да, конечно, это вредит пищеварению, — готовно согласился Антонио, у которого с утра во рту крошки не было.

Мастер Никколо долго молчал, и Антонио никак не мог понять — спит или бодрствует он, и нетерпеливо, но тихо переминался на своих

худых длинных ногах, и во дворике раздавался лишь ласковый плеск холодной воды в фонтане и скрип его тяжелых козловых башмаков. На розовой лысине мастера светились прозрачные круглые капли пота.

— Чего же ты хочешь — богатства или славы? — спросил наконец мастер.

— Я хочу знания. Я хочу познать мудрость ваших рук, точность глаза, глубину слуха. Я хочу познать секрет звука.

— Ты думаешь, что возможно познать и подчинить себе звук? И по желанию извлекать его из инструмента, как дрессированного сурка?

Антонио облизнул сухие губы:

— Я в этом уверен. И вы это умеете делать.

Мастер засмеялся:

— Глупец! Сто лет мы все — мой дед Андреа, дядя Антонио, мой отец Джироламо и я сам — Никколо Амати — пытаемся научиться этому. Но умеет это, видимо, только господь бог, и всякого, кто приблизится к этому умению, покарает, как изгнал Адама из рая за познание истины. Если ты превзойдешь меня в умении своем, то приблизишь к себе кару божью. Тебя не пугает это?

Антонио подумал, затем качнул головой:

— Ищите и обрящете, сказано в писании. Если

бы я знал, что вы дьявол, обретший плоть великого мастера, я бы и тогда не отступился.

Старик оживился:

— Ага, значит, и ты уже наслушался, что Никколо Амати якшается с нечистой силой? Не боишься геенны огненной?

— Нет ада страшнее, чем огонь неудовлетворенных страстей и незнания…

— Ты жаден и смел, и это хорошо. Но ты хочешь моей мудрости и моего умения. Что ты дашь мне взамен?

— Разве спрашивает об этом оливковое дерево у молодой ветви своей, на которой еще не созрели плоды?

— Но ты не ветвь древа жизни моей, — сурово сдвинул клочкастые седые брови Амати.

— Вы богаты и славны, великий мастер. Богатство и слава щедро напоили ветви древа жизни вашей. Но ветви не дали плодов. Сто лет ищет род Амати секрет звука…

— Мой сын Джироламо продолжит мое дело. И моя рука еще тверда, а глаз точен.

— Джироламо, я уверен, укрепит славу вашего дома. Но он еще ребенок. И такое богатство нельзя держать в одном месте. Разумнее его было бы разделить…

— Ты уже был резчиком и музыкантом. Почему я должен верить, что ты не раздумаешь быть скрипичным мастером?

— То были необходимые ступени к саду ваших знаний. Нет мечты у меня более сильной и святой, чем работать у вас.

— А что ты умеешь?

— Учиться…

Учеником был принят Антонио Страдивари к Никколо Амати — без оплаты, за еду и науку…

* * *

Я сразу узнал Полякова. Тысячи раз я видел его по телевизору и в киножурналах, портреты в газетах и на афишах, и я был готов к тому, что он появится с минуты на минуту, и хорошо знал, кто он такой. А мы были для него неизвестными пришельцами — посторонние, чужие люди, которые почему-то хозяйничают в его доме, где все перевернуто, развалено, намусорено — по всей квартире до самых дверей, у которых предупреждением о беде стоял постовой милиционер.

От этого замерло на лице Полякова досадливое удивление, хотя в глазах еще плавала, постепенно угасая, надежда: все это чья-то нелепая шутка, глупый и злой розыгрыш от начала до конца

— не было никакой кражи, и не было звонка из милиции на дачу с просьбой срочно явиться в Москву на квартиру, или, наоборот, был звонок, но это какой-то дурак решил так его разыграть, и пропало воскресное утро, вырванное, наконец, из сумасшедшего потока повседневной суеты, утомительной работы, невозможности подумать спокойно и в одиночестве, погулять в замерзшем солнечном лесу. И я видел, как растаяла эта надежда — будто льдинка на жарком июльском асфальте. Ушло выражение досадливого удивления, и лицо его — худое, усталое лицо с тяжелым подбородком боксера и грустными глазами апостола — затопила обычная человеческая растерянность, и кривая жалобная улыбка помимо его воли наискось перерезала лицо.

Так мы и стояли молча, лицом к лицу, не зная, что надо сказать в этой ситуации, а он все улыбался этой невыносимой улыбкой, которая для меня была пыткой. Потому что только мы двое знали сейчас масштаб случившегося несчастья. Но пока мы говорили с Лавровой, я старательно отгонял от себя эту мысль. А теперь, глядя на его жалкую кривую улыбку, я понял, что произошло именно это. Так бессмысленно и страшно улыбаются люди, которым миг назад принесли

разящую весть о потере кого-то очень близкого. Он облизнул пересохшие губы и хрипло спросил:

— Скрипка?!.. В шкафу?..

— ...Постарайтесь вспомнить, что еще пропало из квартиры?..

Он сидел в глубоком кресле, высоко задрав худые колени, которые выпирали сквозь серую ткань брюк, и ладонями держал себя за лицо, отчего казалось, будто голова его украшена двумя белыми ветками. Поляков меня не слышал. Потом он поднял голову и сказал:

— Да-да, конечно, наверное... Что вы сказали, простите?

— Мне нужно, чтобы вы перечислили пропавшие из дома вещи.

Поляков пожал плечами:

— Я затрудняюсь так, сразу... Жена попозже приедет, она, наверное, точно скажет. Но это все не имеет значения. Пропала скрипка... Скрипка моя пропала!.. — сказал он сдавленным голосом, и весь он был похож на горестно-нахохленную, измученную птицу.

Я не знал, что сказать, и неуверенно спросил:

— Вы, наверное, привыкли к этому инструменту?

Он поднял голову и посмотрел на меня удив-

ленно, и по взгляду его я понял, что сказал нечто невероятное.

— Привык? — переспросил он. И голос у него все еще был удивленно-раздумчивый. — Привык? Разве человек к рукам своим или к глазам, или ушам своим привыкает? Разве к детям или родителям привыкают?..

Желая выкрутиться из неловкого положения, я брякнул следующую глупость:

— Да, это, видимо, редкий инструмент.

Поляков встал так стремительно, будто его выбросила из кресла пружина. Он быстро прошел по комнате, достал из письменного стола пакет, раскрыл его:

— Это паспорт моей скрипки. Позвольте задать вам вопрос, молодой человек…

Я кивнул.

— Вы дежурный следователь или будете заниматься этим делом до конца?

— Я старший инспектор Московского уголовного розыска и буду вести дело по краже в вашей квартире. Моя фамилия Тихонов.

Поляков походил по комнате в задумчивости, потом резко повернулся ко мне:

— Перед тем как вы приступите к своему делу, я хочу поговорить с вами. Я уверен, что наговорю

массу банальностей, как всякий неспециалист. Но об одном все-таки я хочу вас попросить: сделайте все, что в ваших силах, для отыскания скрипки. Я уже вижу, что украли большую сумму денег, много вещей, но клянусь вам жизнью, если бы у меня потребовали все имущество и вернули инструмент, я был бы счастлив…

Он говорил сбивчиво, слова накипали у него в горле и, стремясь одновременно вырваться наружу, сталкивались, застревали, речь от этого получалась хриплая, задушливая. Он был бледен той особой синеватой бледностью, что затопляет лица внезапно испуганных или взволнованных нервных людей, и сквозь эту бледность особенно заметно проступала неживым коричневым цветом кожная мозоль на шее под левой щекой — печать усердия и терпения гения, след тысяч часов упражнений на скрипке.

Поляков прижал паспорт к груди и сказал:

— Я понимаю, что говорю какие-то совсем не те слова, но мне очень важно, чтобы вы поняли масштаб несчастья. Дело в том, что скрипка — единственная вещь, не принадлежащая мне в этом доме…

— То есть как? — спросила незаметно вошедшая Лаврова.

— Моя скрипка — общенациональное достояние. Владеть, хозяйствовать над ней одному человеку так же немыслимо, как быть хозяином Царь-пушки. Скрипка, на которой я играю… — он запнулся, и губы его болезненно скривились, — на которой я играл, принадлежит всему народу, она собственность государства…

Поляков достал из кармана металлический тюбик, трясущимися пальцами отвинтил крышку и достал плоскую белую таблетку, кинул ее под язык, и по легкому запаху мяты я догадался, что это валидол.

— Этой скрипке, — сказал он, тяжело вдохнув, — двести сорок восемь лет. Последние тридцать шесть лет на ней играл я. Взгляните, — протянул он мне паспорт скрипки.

Но у него не было времени ждать, пока я прочту, он торопливо заговорил снова:

— Это «Страдивари» периода расцвета. Одно из лучших и самых трудных творений мастера. Он изготовил ее в 1722 году и назвал «Санта Марией». На нижней деке его знак — год, мальтийский крест и надпись «Антониус Страдивариус». Скрипка темно-красного цвета, с резным завитком. У инструмента есть какая-то формальная международная страховая цена, но это ведь все

символика — скрипка цены не имеет. Звук ее уникален, он просто неповторим…

В изнеможении Поляков сел в кресло, и снова стал похож на больную птицу.

Он посидел в задумчивости, потом заговорил, но мне было понятно, что слова его сейчас — лишь легкий, полустершийся отпечаток проносящихся в голове мыслей и воспоминаний:

— …Когда я впервые взял ее в руки, меня охватило предчувствие счастья, хотя я еще не тронул струн. Она была нежна, как ребенок, и загадочно-трепетна, как женщина. Такое бывает в первой любви. И еще — когда впервые берешь на руки своего ребенка… Но свой ребенок и первая любовь — это мир, открывающийся в общении… Я провел смычком по струнам… Она заплакала, закричала, засмеялась, запела, заговорила… Она открыла мне новый свет, я долго-долго ждал свидания с ней… Мое сердце тогда не выдержало этой встречи, и я заплакал от счастья и надо мной все смеялись, но они не знали, что я встретил ее, как находит лодку плывущий в океане. Я читал этот мир в нотах, я слышал его в душе, но без нее я не мог рассказать о нем людям… Я играл, играл, часами без остановки, и она открывала мне все новые горизонты звука… Мы никогда не разлуча-

лись, она объехала со мной весь мир, и я видел, как люди плакали, слушая ее волшебный голос. Она была всемогуща и беззащитно-хрупка, как ребенок… Тридцать шесть лет назад мне вручил ее нарком, и мы с ней не расставались…

Да, это были отраженные вслух мысли, потому что так можно говорить или с самим собой, или играя на публику, но Поляков не играл на нас, я полагаю, он нас вообще не замечал. Воцарилось долгое тягостное молчание. Потом из прихожей вошел Халецкий, держа в руках вывинченные дверные замки.

— Вам придется сегодня ночевать, закрыв дверь на цепочку, — сказал он Полякову. — Замки мы должны взять с собой для исследования. На сутки.

Поляков кивнул. Я сказал ему сухо, чтобы вывести его из транса официальностью обстановки:

— Мы сделаем все возможное для того, чтобы найти преступника. Но вы должны нам помочь…

Поляков развел руками:

— Чем я-то могу вам помочь!

Он сидел в своем кресле, совершенно раздавленный случившимся, торчали во все стороны угловатые острые локти, колени, причудливо

были заломлены кисти, черные озера тоскующих глаз, подбородок на плече — будто эту диковинную птицу разобрали на части и как попало набросали в глубокое плюшевое гнездо кресла. На мгновенье во мне шевельнулось недоброе чувство, смешанное с недоумением — это был не гений и не великий маэстро — это был потерпевший, самый обычный потерпевший.

Я сказал строго:

— Ну-ка, Лев Осипович, соберитесь, пожалуйста! Нельзя так распускаться! Без вашей помощи я не смогу найти вора.

Поляков очень грустно взглянул на меня, и я подумал, что мне не надо смотреть ему в глаза — они, как омуты, поглощали меня, замедляли реакцию, это были глаза не потерпевшего, удрученного кражей, а скорбящего Демона, доброго фанатика, страдающего гения. Нет, он душевно больше меня, и если он эмоционально перехватит инициативу, я не смогу заставить его помочь мне. И, не давая ему ответить, я сказал:

— У вас особая кража, поэтому вы должны мне помогать. И ваша помощь сейчас — в мышлении. Вы должны отбросить все переживания и мобилизовать до предела память, способность спокойно и методично рассуждать. Тогда мы

сделаем первый шаг к возвращению скрипки…

— Вы думаете, удастся поймать вора? — спросил Поляков.

Я сел в кресло напротив него:

— Разговор у нас мужской?

— Конечно.

— Тогда слушайте. Все мы знаем: в мире нет окончательных тайн. Ничего нет тайного, что когда-нибудь не становится явным. Но когда я приезжаю на место преступления, меня часто охватывает томительное ощущение бессилия. Вокруг толпятся зеваки, потерпевшие, свидетели — и все ждут от меня, что я посмотрю окрест своим профессиональным взором и как фокусник вытащу из рукава… вора. А я ведь знаю в этот момент не больше их и мне так же трудно представить невидимое, как и всем им — тем, кто стоит вокруг и ждет чуда. Но чудес, как и тайн, не бывает. Поэтому я начинаю медленно, методично думать и искать, запоминать все, что мне говорят, сравнивать, оценивать, и в конце концов начинает проясняться истина. Понимаете, для отыскания ее не нужны никакие чудеса, а только спокойствие, терпение и труд. Вот так я и намерен искать скрипку «Страдивари». И хочу, чтобы вы тщательно подумав, вспомнили, что

пропало из квартиры.

— Да я же вам сказал, что сейчас это не имеет значения…

— Имеет, — перебил я. — Ваш «Страдивари» на рынок не понесешь, а золотые часы, например, какой-нибудь приезжий продавец мимозы купит у вора с большим удовольствием…

Поляков прошелся по комнате. Мои откровения не то чтобы успокоили, но по крайней мере отвлекли его от горестных раздумий.

— Похищены деньги, — сказал он, откашлявшись, как будто собирался декламировать. И вообще, сейчас, когда он немного отвлекся от мысли о пропаже скрипки и стал считать, что именно у него было украдено из личных вещей, домашнего имущества, появилась в нем какая-то застенчивая неловкость, как будто он стыдился всего происходящего. Я давно заметил эту болезненную застенчивость у обворованных людей — к тяжести потери примешивается какой-то нелепый подсознательный стыд, ощущение, что, ограбив тебя, вор еще и посмеялся над тобой, оставив дураком на общее обозрение — злорадное или сочувственное, но во всяком случае ты становишься предметом всеобщих пересудов и жалости.

Поляков перечислял похищенное, расхаживая по комнате, Лаврова писала протокол:

— Ордена… лауреатские медали… золотой ключ от ворот Страсбурга… транзисторный приемник, почетная цепь от Токийского филармонического оркестра… магнитофон марки «Филипс»… два чемодана…

Потом мы сели за стол и стали заполнять длинный, разлинованный мной лист — список людей, вхожих в дом Полякова. На каждой следующей фамилии Поляков вскакивал со стула, хватал себя худыми руками за грудь и говорил мне с возмущением:

— Ну как вы даже могли подумать про этого человека?

— А я ничего про него не подумал, — отвечал я меланхолично. — Я его пока только записал. Там посмотрим…

— А теперь давайте вновь вернемся к вопросу о слесаре, — сказал я Полякову. — Значит, у вас перестал работать верхний замок в двери…

— Да. Это было приблизительно две недели назад. Я сказал жене за завтраком, что надо вызвать слесаря, потому что замок мешал притворять плотно дверь. В это время пришел водопроводчик из домоуправления. Краны какие-то он смотрел

в ванной и на кухне. Я ему сам дверь отворял. А когда он закончил работу, я его спросил, не разбирается ли он в замках. Он согласился посмотреть. Возился минут пятнадцать, все исправил и ушел.

— Ключи вы ему давали?

— Ну а как же? Надо ведь было посмотреть, как работает замок, — Полякова раздражала моя несообразительность. Но я продолжал гнуть свою линию:

— Вы ему давали ключ только от испортившегося замка?

— Да нет же! Какой смысл снимать его со связки? Я ему всю и дал… И потом, он ведь никуда не уходил!

— Он при вас чинил, вы сами никуда не отлучались?

Поляков возмущенно пожал плечами:

— Не помню! Но уж, наверное, я не стоял у человека над душой! — Он задумался на мгновенье и добавил: — Я даже точно помню, что не стоял, — мне звонили из школы больных туберкулезом детей, просили выступить у них…

Я сделал пометку у себя в записной книжке и спросил:

— И что вы им ответили? Из школы?

Надо полагать, Поляков никак не мог решить

насчет меня — с кем он имеет дело: с дураком или этаким бестактным типом. Он сказал недовольно:

— Я объяснил, что у меня очень плотно расписано время. Но для них постараюсь выкроить час — уж очень они просили.

— Ну хорошо, — сказал я и показал ему вороненый короткий ломик, который Халецкий нашел в складке кресла между спинкой и сиденьем. — Вы точно знаете, что этого предмета у вас дома раньше никогда не было?

— Как вам сказать… Все-таки, мне кажется, не было, — сказал он.

Я подумал, что ничего нет в этом удивительного: зачем виртуозу-скрипачу воровская «фомка»? «Фомка» была отлично сделана: с расплющенным опорным концом, заостренным краем, удобной широкой ручкой. На черни металла был отчетливо виден давленый знак — две короткие молнии. Видимо, вор в темноте положил ее на кресло и потерял.

— Свечи в шандале вы не зажигали?

Поляков покачал головой.

— Нет, мы держали их как памятный приятный сувенир. Мне преподнесли их… А-а! — он махнул рукой.

Вор работал сначала при одной свече, потом, видимо, ему понадобилось сжечь листы, и он зажег две других, оттого они и обгорели значительно меньше первой.

Вошла Лаврова с телеграммой в руках:

— Лев Осипович, в почтовом ящике лежала на ваше имя телеграмма…

Поляков сорвал наклейку, быстро пробежал глазами текст, еще раз прочитал, протянул мне бланк:

— Чушь!.. Ничего не понимаю… Таратута какой-то…

В телеграмме было написано: «Записи ваших произведений направляю бандеролью. Таратута». Пометка: «В случае отсутствия адресата оставить в почтовом ящике». Отправлено вчера в 9.15 утра, доставлено в 17.45.

— А вы не знаете этого Таратуту?

— Понятия не имею, первый раз слышу. И никаких записей я не жду — я уже давно не записывался.

— Скажите, Лев Осипович, в каких вы отношениях с вашими соседями — Обольниковыми?

— С Обольниковыми? В хороших отношениях, наверное. Не знаю. Надо у жены спросить. Ей, помоему, Евдокия Петровна по хозяйству помогает.

Да, наверняка в хороших: жена у них оставляет для меня ключи.

— В ваше отсутствие они не заходят к вам в квартиру?

— А зачем? Наверное, нет. Думаю, что не заходят.

— Ладно, будем заканчивать. Скажите, слесарь, ремонтировавший дверной замок, из вашего ЖЭКа?

— Да, он, по-моему, сказал, что он из домоуправления. Но я, помнится, записал в книжку номер его телефона — если что-то понадобится срочно. Мне очень понравилось, как он быстро и точно работал. Сейчас я возьму из прихожей телефонную книжку…

Он вышел из комнаты и через мгновенье я услышал его удивленный возглас:

— Послушайте, здесь почему-то много листов вырвано!

Я встал, но он шел мне навстречу, протягивая раздерганную книжку. Я взглянул на те листочки, изглоданные пламенем, растоптанные, что бережно собирал с полу Халецкий — сквозь сумрак пепла отчетливо проступала линовка.

— Вот они, Лев Осипович, листочки из книжки, — показал я. — На какую букву вы его запи-

сали?

— На»«С» — слесарь, дядя Паша, — сказал Поляков; все это казалось ему уже невыносимо запутанным.

Я полистал книжку — страницы с буквы «П» по букву «У» были вырваны. Халецкий распрямился, потер затекшую спину и сказал неожиданно:

— Сила моя совершается в немощи…

— Да-а? — неуверенно переспросил Поляков.

— Наверное, — ухмыльнулся Халецкий. — Это где-то в писании так сказано. А мы попробуем проверить. Мне для этого придется взять у вас отпечатки пальцев…

— Зачем? — удивленно и испуганно спросил Поляков.

— Во-первых, я буду единственным обладателем такого вашего факсимиле, а во-вторых, и это главное, надо будет отличить их от других отпечатков, снятых нами здесь и, возможно, принадлежащих вору.

Я смотрел, как Халецкий бережно и быстро накатывает на дах-токарту оттиски пальцев Полякова, пальцев, которые заставляют плакать и радоваться тысячи людей. Эти пальцы, единственные в мире, были в черной копировальной мастике, бессильные, послушные, будто не они

вызывают к жизни целые миры, и именно в этот миг я понял чудовищность и нелепость всего происшедшего. Эх, одно слово — криминальный сыск!

Комиссар взял в руки рапорт и стал читать его вслух, далеко отодвинув от глаз, как делают все близорукие люди без очков:

— ...«Служебно-розыскная собака Марсель начала работу в 9 часов 21 минуту, взяла след, вышла из кабинета в коридор, проработала угол влево, пересекла коридор и вышла на лестничную площадку, спустилась вниз, пересекла двор и через арку вышла на Садово-Триумфальную ул., проработала угол вправо, прошла 45–50 метров в сторону пл. Маяковского и на проезжей части работу прекратила...»

Положил рапорт на стол и сказал:

— Да-а, не густо. Я помню, лет двадцать назад была такая дурацкая форма в милиции — шашки и шнуры. Вот опасаюсь я чего-то: не превращаются ли собачки наши в такой же бесполезный атрибут формы? А, Качанов, ты что скажешь по этому поводу?

Качанов, наливаясь сердитой краснотой, сказал:

— Разрешите доложить, товарищ комиссар.

Марсель мой — не атрибут. 12 преступников как-нибудь задержал. А шашки или шнуры там — это не его собачье дело…

Начальник МУРа засмеялся:

— Да ты не сердись, Качанов. Я ведь не тебя и не Марселя попрекаю. Это я скорее нашим оперативным работникам — одного разыскного нюха, видимо, маловато. Научный подход нам надобен, анализ.

Качанов, почувствовав, что угроза миновала, решил окончательно реабилитироваться:

— Так я про то и говорю, товарищ комиссар: собака — животная ведь только, старается сколько может. А свалить на нее легче всего — безответная она. За такое-то время народу там прошло по улице, как на демонстрации…

Он бы еще, наверное, поговорил про своего Марселя, но комиссар покосился на него, и Качанов умолк.

— …Мысли, идеи, планы? — сказал комиссар. — Мне уже звонили по этому делу из нашего министерства, из Министерства культуры и Коллекции уникальных музыкальных инструментов. К вечеру, полагаю, уровень звонков поднимется.

Я хорошо понимал его — комиссару предстоит

вдоволь пообъясняться. Только я собрался раскрыть рот, как раздался телефонный звонок и комиссар снял трубку:

— Да, я. Здравствуйте. Да, конечно. По этому вопросу сейчас как раз провожу совещание. Слушаюсь. На контроле? Хорошо, есть. Так у нас все дела особой важности. Понимаю я все, не надо мне объяснять, иногда и я на концерты хожу. Слушаюсь. Вечером доложу…

Он осторожно положил трубку на рычаг, помолчал, потом поднял на меня взгляд.

— Ну давай, Тихонов. В твоих железных руках судьба моего инфаркта, — он усмехнулся, но глаза у него были невеселые.

— По материалам осмотра места происшествия, допросов потерпевшего и соседки представляю картину преступления следующим образом. Кража была совершена между нолем и двумя часами ночи одним человеком. Он вхож в дом Полякова, хорошо ориентируется в квартире…

— Разъясняй подробнее, — бросил начальник МУРа, делая на бумаге какие-то пометки.

— Из трех шкафов в квартире взломан только тот, где лежала скрипка. Если это не случайность, то это сделал хорошо знакомый с квартирой человек. Либо вору дали точный план. Думаю, что

побывал там один человек…

— Почему?

— Перед подъездом после дорожных работ, как всегда, остался незаасфальтированный участок, в котором собралась большая грязевая лужа. Войти в парадное, не ступив в грязь, практически невозможно. Шесть следов от подошв грязных ботинок на паркете однородны — это следы одного человека. Так что в квартире, полагаю, побывал только один человек. Кроме того, я позвонил в Гидрометцентр — мне там дали официальную справку. Приблизительно с полуночи в Москве началось резкое похолодание в связи со стремительным прохождением фронта антициклона. За два часа температура упала на 11 градусов.

— И что? — заинтересовался комиссар.

— Метеорологи категорически утверждают, что в два часа ночи все лужи уже замерзли. Значит, можно предполагать, что вор побывал на квартире Полякова до двух часов…

— Можно, — согласился комиссар. — А почему — от ноля?..

— Это уже из области логических домыслов. Судя по затекам стеарина и пепла, вор жег свечи и поджигал на них листики из книжки в кабинете Полякова. Окна кабинета выходят на Садово-

Триумфальную, а напротив — мачта уличного освещения, оборудованная двумя мощными люминесцентными светильниками. Мне Поляков говорил, что по вечерам они освещают кабинет, как прожектором. Но, судя по свечам, вору нужен был свет, хотя люстру включить он боялся, чтобы не привлекать внимания. Несоответствие между словами Полякова и поведением вора объясняется просто: в двенадцать часов свет на левой стороне Садовой горит на каждом втором столбе, а на том, что против окон Полякова, как раз гасится.

— Принимаем как рабочую гипотезу, — сказал комиссар. — Что вы скажете, Ной Маркович?

— У меня достижения весьма скромные, — Халецкий заглянул в свои листочки, будто ему предстояло сделать обширный доклад. — Преступник нечаянно сбросил со стены портрет бельгийской королевы и хотел, видимо, поймать его на лету. Но остекление разбилось, и он сильно порезал руку — на полу многочисленные капли крови. Кровь по своей групповой принадлежности довольно редкая. По осколкам мне удалось частично восстановить остекление и снять отпечаток ладони. Правда, по одной ладони нам не удастся получить дактилоскопическую формулу,

но это будет у нас про запас — для возможных кандидатов. Кроме того, я снял еще целый ряд отдельных отпечатков, но говорить об их принадлежности покуда рано. И последнее — пепел листочков из телефонной книги Полякова. На одном из них был записан телефон слесаря. Ну, с этим предстоит поработать всерьез — может быть, что-нибудь вытянем. У меня все.

— Вопросов нет, — кивнул комиссар. — Тихонов, что со слесарем?

— Сегодня у него выходной день. Я уже побывал на квартире, там застал только мать. Совсем дремучая старуха. Говорит, что еще вчера уехал вместе с женой к тетке в деревню, должен вернуться завтра утром…

— Адрес тетки в деревне? — сухо поинтересовался комиссар.

— Это тетка его жены, так что мать не знает. А у жены в Москве родственников больше нет.

— Тщательно отработать эту линию, — распорядился комиссар. — Все?

— Нет. Там есть один сосед, внушающий мне опасения. Алкоголик, в клинику его положили накануне кражи. Но у него был доступ к ключам от квартиры, я им всерьез займусь. Теперь есть еще один ход: из квартиры похищен магнитофон

«Филипс», но сохранился его технический паспорт с номером НВ-182-974. Недавно магнитофон испортили — включили на высокое напряжение и перегорела обмотка мотора. Купить мотор в магазине вор не сможет — Поляков говорит, что наши моторы к этой модели не подходят. Единственный выход — перемотать обмотку в мастерской…

— Понятно, — сказал комиссар, сделав в блокноте заметку, — завтра подключимся к мастерским. Все?

— Пока все, — развел я руками.

— Какие есть принципиальные версии? — спросил начальник МУРа.

Мы молча посмотрели друг на друга.

— Нет версий, — резюмировал он. — Или есть, но из скромности умалчиваем? Плохо. Плохо все это.

Он сердито постучал пальцами по столу.

— Ремесленная работа. Все сделано правильно, аккуратно, вроде даже вдумчиво. Но все это ремеслуха. Ведь все, что вы рассказали, вопиет своими противоречиями. А вы их не замечаете или скромно отмалчиваетесь, боясь попасть впросак. Безобразие это все!

Он поиграл карандашом, бросил его на стол,

встал, прошелся по комнате — маленький, уже начавший полнеть, в новом красивом мундире, сидевшем довольно нелепо на его кургузой фигуре. Он снова сел за стол, твердо уперся кулаками в щеки.

— Все это разговоры — «след, ниточка, веревочка»! Тьфу, кустарщина какая противная! Где у вас осмысление всей проблемы в целом? Ну как можно не поставить себя на место вора в такой ситуации? Зачем вор пришел туда? Очистить квартиру. И если бы он вывез из нее все, вплоть до холодильника, меня бы это не удивило. Но он взял скрипку! Сколько скрипок в доме Полякова?

— Три. «Страдивари», «Вильом» и безымянная скрипка итальянской работы.

— Где лежали?

— «Вильом» и безымянная в книжном шкафу, а «Страдивари» — отдельно в стенном, запертом.

— Книжный шкаф был заперт?

— Нет.

— Так почему вор не берет лежащие на виду скрипки, а взламывает стенной шкаф? Что ты молчишь, Тихонов? То-то и оно, сказать нечего. А дело в том, что вор знал, какую он берет скрипку! Вывод отсюда? Что вор пришел именно за нею, ибо человек, который покушается на кражу

только «Страдивари», отдает себе отчет в том, что стоимость всего остального похищенного не составляет и тысячной части цены «Страдивари». При этом, с риском быть задержанным, он нагружает два чемодана и идет по ночному городу, где в любой момент его может остановить милиционер и поинтересоваться, что это он по ночам таскает в чемоданах? Это ли не поразительное противоречие? Так что, Тихонов, один там был человек?

— Один, — упрямо сказал я, — моя гипотеза не исключает возможности существования группы, организовавшей похищение, но в квартире, мне думается, был один человек..

Комиссар подумал и сказал мне со смешком:

— На проверку твоих гипотез — срок три дня, а там посмотрим, кто был прав. Я уверен, что кража вещей — просто камуфляж.

— Ничего себе «камуфляж»! Сколько денег, ценного имущества!

— Это лишний раз свидетельствует о том, что воры знают толк в редких и ценных вещах. Так вот, не забывай, Тихонов, что ты ищешь: нам с тобою всего сроку службы — двадцать пять лет до полной пенсии, а скрипке этой — сколько, ты говоришь, возрасту?..

— Двести сорок восемь…

— Вот то-то и оно. И ей надо еще долго служить людям…

Глава 3
Кислая вода лжи

Антонио вздрогнул и поднял голову — в дверях стоял мастер Никколо. Желтое пламя свечи металось темными бликами на его толстом красном лице. Амати был грозен и спокоен.

— Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской? Разве ты не знаешь, что ученикам разрешается входить сюда только вместе со мной?

Антонио испуганно смотрел ему в глаза и видел, как в зрачках мечутся холодные молнии. От слабого дуновения ветерка трепетал на столе листок с записями и цифрами, придавленный деревянным кронциркулем.

— Почему ты молчишь? — спросил Никколо. — Твое молчание говорит об испуге, а испуг — о дурных намерениях. Честному человеку нечего бояться…

— Человеку всегда есть чего бояться, — тихо сказал Антонио. — И в первую очередь — себя самого…

Никколо Амати захохотал:

_ Значит ты, мальчик, решил за одну ночь узнать то, что ищет род Амати сто лет? Дай сюда листок!

Трясущейся рукой Антонио протянул лист, и Никколо, далеко отставив его от глаз, мельком посмотрел, смял и поджег на беглом пламени свечи.

— Ты записывал промер изгиба деки…

Листок догорел в задубелой толстой руке Амати.

— А теперь повтори на память ход кривой верхней деки.

Антонио молчал.

— Ну! — крикнул Амати.

— Три — ноль, три — один, три — один, три — три, — стал быстро перечислять цифры Антонио, их было много, этих цифр. — Три — семнадцать… три — двадцать один…

Амати открыл шкафчик, налил в оловянную кружку палермского алого вина, залпом выпил, и Антонио видел, как несколько капель черными точками пали на кружева его сорочки.

— Если бы мне не жаль было дерева, я велел бы сделать тебе скрипку по этому промеру. Может, у тебя купил бы ее за несколько байокко бродячий музыкант…

— Почему, учитель? Я взял вашу «Анжелу» как образец!

Старый Никколо снова захохотал:

— Потому что в сорока трех точках промера ты один раз ошибся, и, кроме меня, этого бы никто не заметил. Но скрипочка твоя годилась бы только для балагана.

— Один раз? — переспросил ошарашенно Антонио.

— Да, один раз. Этого достаточно — скрипка звучать не будет. Но дело не в этом — ты мог и не ошибиться, через несколько лет ты научишься хотя бы мерить правильно. И тогда, как дурацкая бессмысленная обезьяна, ты сможешь скопировать мою скрипку. Доволен?

— Я был бы счастлив сделать что-нибудь подобное, — испуганно сказал Антонио.

— Принеси мне холодной воды и апельсинов, болван. На большее ты все равно не способен.

Антонио подал мастеру глиняный кувшин холодной воды и плетенку с апельсинами. Никколо вновь плеснул в кружку вина, долил воды и стал выжимать в нее сочные ароматные плоды. Апельсины лопались в его толстых сильных пальцах, и в неровном свете свечи казалось, будто над кожицей их поднимается пар. Мастер забыл про

Антонио. Потом он поднял голову и посмотрел иронически на него:

— Говоришь, был бы счастлив? А тебе не приходило в голову, почему бы другим мастерам не купить вскладчину мою скрипку — они ведь дорогие, — радостно засмеялся Никколо. — Разобрать, скопировать и научиться делать скрипки, такие же, как мои? А? Ты что думаешь об этом?

Антонио молчал.

— Промер скрипки можно украсть, — сказал Никколо. — Разобрать и измерить. А лак ты как украдешь? Лак, который мы варим сто лет, и каждый раз он у нас получается новый? Ты его как украдешь? Он ведь у меня здесь, — постучал себя по красному залысому лбу Амати. — А без лака не будет звучать скрипка так, чтобы по звуку издали сказали — это Амати!.. Породу дерева, возраст его, место среза, способ промывки, затем сушки, пропитку лаком, нанесение его — тоже украдешь?

Мастер сделал два больших глотка, задумчиво посмотрел на свечу, не спеша сказал:

— Но разве в лаке дело? Это дураки думают, что богатство дома Амати — секрет лака. Хочешь расскажу секрет лака? Которым покрыта «Анжела»?

Антонио отрицательно покачал головой. Никколло выжал в кружку еще один апельсин,

поднял глаза:

— Твое счастье, что отказался. А то выгнал бы.

— Я понимаю, — кивнул Антонио.

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Никколо. — Но я надеюсь, что еще поймешь. В тебе есть одержимость, и жаль, если пропадет это все попусту. Мне ведь не только секрета жалко…

— А чего?

— Тебя. Ты маленький фанатик. Есть такие послушники, но у них дело пустое, умирают в тоске и разочаровании. Даже перед святым причастием врут. А ты можешь умереть счастливым…

— Как?

— Искать, учиться, а потом творить. Я сорок три точки промера наизусть помню, потому что каждую искал долгие годы. Если ты не найдешь своих точек — значит зря я с тобой вожусь…

— И умру я в раскаянии и тоске… — тихо повторил Антонио.

— Да. И пока ты будешь учиться, тебя не будут покидать муки исканий, страдание неудовлетворенности и стыд бессилия твоего. Истина, как человек, рождается в боли, страшном усилии всего нашего бренного тела и высоком воспарении души. А скрипка подобна человеку…

— И все-таки я могу не постигнуть этого, — в

смятении сказал Страдивари. — Ведь может так случиться, что я и не научусь делать скрипки!

Никколо Амати сидел на верстаке, выпятив толстый свой живот, с любопытством глядя на него из-под седых клочкастых бровей.

— Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рождают и взращивают. Не сеют хлеб в январе, не мнут виноград в мае, и человек должен созреть, чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще должен зачать в себе и долго вынашивать. Пройдет много времени, и тебе будет казаться, что ничего не меняется. Но незаметно для тебя пальцы твои будут приобретать гибкость и твердость, глаз станет светел и прям, как солнечный луч, а слух изощрен и трепетен. И тогда воображение представит тебе, как в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном, то, что ты ищешь. Эта скрипка будет, как первая женщина в твоей жизни — широкими полными бедрами разойдутся обечайки, тонок и строен будет стан ее грифа, изящно, как поворот шеи любимой, наклонится завиток, а эфы загадочными волнующими складками очертят ее лоно. И она подаст тебе свой голос — нежный, ласковый, поющий, и не будет мига более полного счастья — сколько бы тебе ни

довелось прожить, — чем это мгновенье сладостного обладанья! И тебе будет казаться: ничего прекраснее в мире не может быть и продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности — он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства…

— А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства?

Амати усмехнулся и встал:

— Совершенство — это постоянное блаженство. Сиречь состояние, свойственное только святым и идиотам.

— Значит, поиски эти бессмысленны? — с отчаянием спросил Страдивари.

— Да. Если можно считать бессмысленной самое жизнь. Ибо жизнь — это стремление познать совершенство.

— Познать, чтобы стать идиотом?

— Или святым, — сказал Никколо, зевнул, перекрестил рот. — Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти остается совсем мало. Завтра я хочу сделать еще один шаг к познанию…

Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью.

* * *

Осень перед наступлением зимних холодов сделала глубокий вдох, как пловец перед прыжком в воду. Стекляшками звенел на лужах тонкий резной ледок, и длинные округлые пузыри воздуха под ним лопались с тихим треском, а листва на деревьях, желтая, хрусткая, слабая, освещенная близоруким мягким солнцем, казалась ненастоящей. Тени на тротуар ложились неглубокие, размытым дрожащим силуэтом, как в окуляре неотфокусированного бинокля. И воздух — синий, холодный, свежий, кипящий в крови нарзановыми капельками.

От Красных ворот я прошел вниз по Басманной, и здесь листья на деревьях тоже висели сгустками застывшей смальты, а дымки из выхлопных труб проносящихся машин скручивались маленькими синими смерчами, замирали в воздухе неподвижно и в следующее мгновение бесследно исчезали… Около храма Петра и Павла была небольшая столовая, а времени у меня оставалось предостаточно, и я решил там позавтракать. В столовой — бывшей монастырской трапезной, мрачном сводчатом зале, народу было много, и я подсел к двум пенсионерам, не спеша вкушав-

шим капустные котлеты, которые они запивали кефиром. Один из них сердито говорил другому:

— Мудрят все!.. Вон вчера в газете написали, что умники какие-то воду варили до тех пор, пока не получилась вода, да совсем на воду не похожая — клейкая, тягучая, на морозе не замерзает, и вкус кислый. Вот ты мне и скажи — на кой она нужна мне, вода такая, чтоб ни напиться, ни умыться! Глупости одни да деньгам народным сплошной перевод…

Я доел свою яичницу, вышел на улицу и направился к Разгуляю, и все думал, что хорошо бы посмотреть на воду, которая хоть и вода, да не мерзнет на морозе, тянется, клейкая, а на вкус кислая.

За окном приемного покоя желтел неподвижно сад, прозрачный туман голубел в дальнем конце, у высокого дощатого забора, обтянутого поверху колючей проволокой в несколько рядов. Как в тюрьме. И тишина этого ясного осеннего утра, светлая и чистая, так не вязалась с невеселой колючей проволокой и тихими бледными людьми, бесшумно сновавшими по дорожкам сада в серых мышиных халатах. И жуткий, захлебывающийся, поднимающийся до тонкого пронзительного визга и вновь падающий в звериную тоску вопль

за стеклянной дверью. Иногда сквозь этот рев отравленного животного доносилось тонкое рыдающее причитание: «Доктор, миленькая моя, дорогая, спасите, родная, не буду никогда… а-а-а!!!» И снова дикий нечеловеческий крик. Потом стихло…

Доктор Константинова вышла в приемную и смотрела на меня несколько минут, будто вспоминая, кто я такой, зачем я здесь и что я тут делаю. Потом достала из кармана халата пачку сигарет, закурила, и я видел, как прыгала сигарета у нее в руках. Тонкие губы кривились болезненной гримасой, взмахом руки она откинула со лба прядь пепельных волос, и когда она затягивалась, кожа обтягивала ее выпуклые, красиво прочерченные скулы.

— Ну как, нравится? — спросила она, будто мы прервали разговор только для того, чтобы она закурила. И добавила, уже не обращаясь ко мне: — Сволочь, скотина несчастная. Сколько я на него сил положила!..

Этого парня привезли при мне. Его вкатили на каталке, и лицо у него было запрокинуто, землисто-черное, отекшее, и единственно живыми на лице были глаза — налитые кровью и слезами, они струились нечеловеческим страданием.

Белая липкая пена, как у загнанной лошади, падала у него со рта, конвульсивные судороги сводили тело. И он страшно, ужасно кричал, хрипло, обессиленно. Константинова, забыв обо мне, скомандовала:

— Приготовить реанимационную бригаду… Кордиамин внутримышечно, пантопон… Антигистамин… Кислотные нейтрализаторы… Общее промывание с марганцовкой… Подготовьте переливание крови…

Полтора часа я стоял в приемном покое и рассматривал засыпающий осенний сад, обнесенный колючей проволокой в несколько рядов, и тихих больных в сереньких халатиках, снующих по дорожкам. Больница, где пациенты не вызывают жалости, где страдания принесено не несчастьем, а собственным свинством. Где лечиться заставляют принудительно…

— …Сколько я на него сил положила! — сказала снова Константинова. — Двадцать пять ему, шесть лет он уже алкоголик, ребенок родился дегенерат, жена от него ушла. Семь месяцев я его лечила комплексным методом, выходил отсюда совершенно здоровым человеком. И вот пожалуйста — что мне привезли, вы видели…

— А почему его так корчило? — спросил я.

Она сердито посмотрела на меня.

— Вы что думаете — я их мятными конфетами тут лечу? Для восстановления утраченных функций организма алкоголика применяются сильнейшие химические препараты, которые служат и барьером несовместимости против всех видов спиртов. А он сегодня стакан водки выпил.

— И что теперь будет?

— Не знаю. Может умереть.

Она закурила еще одну сигарету и сказала:

— Господи, обидно-то как! У нас закрытое лечебное учреждение, а я бы лучше сюда водила людей на экскурсии, как в кунсткамеру. Может, кого-нибудь хотя бы остановила. Ведь проходят люди по улице мимо — ну, больница как больница, и все, и ведь кто здесь не был, и представить себе не может, сколько здесь горя нечеловеческого, слез и страданий. Восьмой круг ада — и только!

— А что сделать? — спросил я.

— Да что вы меня спрашиваете? Я же врач, а не социолог, хотя и этому подучиваешься помаленьку на нашей работе. Нет формы зла, которая бы не проложила через нашу больницу свой маршрут. Семьи разваливаются — к нам имеет отношение, дети больные родятся — и это у нас на учете, травмы, увечья на работе — пожалуйста, я вам и об

этом справочку дам, ну а кто по пьянке попадает не к нам, а к вам — это вы лучше меня знаете…

Она помолчала, потом сказала:

— Ладно, чего уж там, вы этого тоже не решите. Вас интересует Обольников?

— Да, я бы хотел, чтобы вы мне о нем рассказали поподробнее.

Константинова вытащила из шкафа папку с надписью «История болезни», и я заметил, что папка толстая, обтертая, старая.

— Он у нас второй раз лежит, — сказала Константинова. — Рецидивировал год назад, но без серьезных осложнений, пил не слишком… На этот раз явился для лечения сам, с направлением райпсихиатра. Говорит, что хочет полностью излечиться.

— А ваши пациенты часто сами являются?

— К сожалению, они нас не радуют такой сознательностью, как Обольников.

— Я хотел бы с ним поговорить.

— Пожалуйста. Он сейчас на прогулке в саду. Пригласить его сюда или поговорите на воздухе?

— Давайте лучше на воздухе. Уравняем шансы, — усмехнулся я. — А то в этих стенах Обольников чувствует себя привычнее и увереннее, чем я.

Сергей Семенович Обольников гулял по дорожкам, задумчивый и меланхоличный, как Гамлет. Засунув руки за веревочный пояс теплого байкового халата, в кедах и вязаной женской шапочке, он не спеша вышагивал по утрамбованной красным толченым кирпичом тропке, снисходительно поглядывал на дерущихся из-за корок воробьев, и я слышал, как он сказал им осуждающе-снисходительно:

— Эть, птица, какая ты паскудная…

Он обернулся на наши шаги, вынул руки из-за пояса-веревки, стал «смирно», чем удивил меня немало, и сказал очень серьезно:

— Доброго вам здоровья, Галина Владимировна, желаю. И вы, товарищ, тоже здравствуйте.

Константинова усмехнулась, зло она усмехнулась, и сказала:

— Здравствуйте, Обольников. Часть бы вашей вежливости да в семью переадресовать — цены бы вам не было.

Обольников серьезно кивнул:

— Семья недаром очагом зовется. Там ведь и добро и зло — все вместе перегорит и золой, прахом выйдет, а тепло все одно останется. Люди промеж себя плохо еще потому живут, что уважению друг другу заслуженную оказать не хотят.

Вежливость — она что — слова, звук, воздуха одно колебание, а все-таки всем приятно.

— Вам бы, Обольников, такую рассудительность в смысле выпивки, — мечтательно сказала Константинова. — А то водочка всю вашу прелестную философию подмачивает.

— Водочку не употребляю, — гордо сказал Обольников. — Я «красноту», портвейн уважал до того, как под «автобус» попал, — и засмеялся, залился тонко, сипло заперхал.

— Это они так лекарство «антабус» называют, — пояснила мне Константинова. — Шуточки ваши, Обольников, на слезах родных замешаны. Им-то не до смеха…

Он успокаивающе протянул к ней руки:

— Да вы, Галина Владимировна, не тужитесь за них. Ничего, дело семейное, а жизнь — штука долгая, не одни пряники да вафлики, и горя через отца немного на укрепу дому идет, — и смотрел на нее он своими блекло-голубыми, водяными глазами ласково, спокойно, добро.

— Какие же это они от вас пряники в жизни видели? — спросила Константинова.

Обольников горестно развел руками:

— Даже странно мне слышать такие вопросы от вас, Галина Владимировна, как я знаю вас жен-

щиной очень умной и начитанной. А кормил-то их кто, одежу покупал, образованию кто им дал? Пушкин? Тридцать лет баранку открутить — это вам не фунт изюму!

Константинова сложила руки на груди и костяшки пальцев побелели:

— А то, что дочка ваша до пяти лет не говорила — это фунт? И до сих пор состоит на учете в нервно-психиатрическом диспансере — это фунт? А сын убежал в пятнадцать лет из дому, с милицией его разыскивали — это фунт? А жена ваша — инвалид — это фунт? А когда мальчик ваш принес домой деньги, ребятами собранные на подарок учительнице, а вы их нашли и пропили, и парень бросил из-за этого школу — это как — фунт изюму?

Обольников натянул свою нелепую шапку до бровей, посмотрел на врача, и глаза у него были хоть и водяные, но не ласковые и не спокойные. Вода в них была стылая, тягучая и кислая от ненависти.

— Так я ведь не ученый там педагог какой, воспитывал, растил, как умел, последнее отдавал, все силушки из себя вытянул. Вы мне вот, Галина Владимировна, обещали душ Шарко назначить, так вы скажите, а то няньки без вашего-то слова

не дают. А мне он очень полезный, в ослабленном моем состоянии здоровья все жилочки оживляет, кровь мою усталую сильнее гонит…

Константинова долго смотрела на него, вздохнула, сказала:

— Я скажу насчет душа. А этот товарищ с вами хочет поговорить. Он из уголовного розыска.

Обольников повернулся ко мне мгновенно, будто его развернули на шарнире, и сказал снова ласково и добро:

— С большим моим удовольствием побеседую с вами, гражданин начальник. Галина Владимировна ведь без сердца на меня говорит, она ведь переживает за меня…

Константинова сморщилась, как от зубной боли, и, пробормотав «эх, Обольников, Обольников…», пошла к лечебному корпусу.

Глядя ей вслед, Обольников сказал грустно:

— Хороший человек Галина Владимировна и врач душевный. Но горяча, ух горяча без меры! Попадись ей некстати, и напраслину наговорит, не подумав. А потом ведь и сама жалеть будет.

— А она что, неправду про вас сказала?

Обольников сдвинул вязаный чепец на затылок, вновь засунул руки за веревочную перевязь.

— Так что правда? Правда не рупь, она по виду,

может, и монета чистая, а на самом деле — сплошная фальша. И на зуб ее не возьмешь. Семейство я свое люблю, а недуг меня, как кобеля бездомного, все на помойку тянет. Так что уж мне самому тяжело, ну и им претерпеть маленько придется. Да и немного-то осталось…

— Это почему? — поинтересовался я.

— А вот подлечуся я здесь, выйду, до пенсии мне работать совсем чуть. А там, глядишь, к пенсии-то моей трудовой, кровной, заработанной и детишки кое-чего подбросят. Они мне подбросят. Они меня любят, уважают меня. Чего им меня не любить? Это только Галина Владимировна расписала так, будто и есть я распоследний кровопиец. Сгоряча, конечно, да-да… Ну а как неблагодарные поросятки окажутся они, детишки мои, Аня-то с Геной, так ведь и закон есть, чтобы престарелым старичкам своим помочь по немощи их трудовой. Закон у нас старого человека бережет…

И хотя стоял он прямо, засунув за пояс-веревку ладони с посиневшими ногтями, а голову в шапке-вязанке закинул вверх, вроде присматривался ко мне пристальнее — понимаю я его правоту или нет, — вид у него все равно был как у серого жука-носорога, которого перевернули палочкой на спину, и лежит он себе и судорожно

сучит клешневатыми лапками — отбивается от всех обидчиков, плохих людей, наговорщиков и захватчиков его прав, законом обеспеченных и оговоренных. Лицо у него было худое, длинное, и нос, волнистый, длинный, воинственно торчал вперед, как у реликтовой рыбы на красных консервных баночках «Севрюга в томате».

— Так вы не смущайтесь, вы меня спрашивайте, если нужда вас какая ко мне привела, — сказал он мне. — Я ведь завсегда готов помочь любому человеку, если на то есть только возможность. Эх, сколько людей добротой моей безвозвратно попользовались!..

Он вздохнул сокрушенно, утомленный человеческой неблагодарностью и бездушием. Я недобро усмехнулся:

— Вот я как раз из-за доброты вашей и пришел сюда. Вы ключики от квартиры Полякова передавали кому-нибудь? По доброте душевной, на время попользоваться?

Обольников смотрел на меня внимательно, и ничто в его лице не дрогнуло, будто он не понял меня или был готов к этому вопросу. Нос только вытянулся еще больше и глаза стали такими же, какими он давеча смотрел на Константинову.

— Это мне как же надо понимать ваши слова,

гражданин хороший? — спросил он медленно, и я уловил, что в его сиплом, чуть гнусавом голосе появились звенящие стальные ноты. Он уже не отмахивался клешнястыми лапками — он занял атакующую боевую стойку. Хрящеватый тонкий нос побелел у ноздрей, и на мгновенье мне показалось, будто это и не нос никакой, а острый — копьем — клюв, тюкнет раз — и разлетится голова тонкими яичными скорлупками.

— Вот как спросил, так и понимать — буквально! Вы кому-нибудь ключи от квартиры Полякова давали? — спросил я холодно и, еще не докончив фразы, увидел, как боксер, не успевший вернуться в стойку, что Обольников ринулся в атаку.

— А вы так думаете, что сунули мне в нос свою книжечку красную — и любое беззаконие вам дозволено? Ну, это уж вы погодьте! Являетесь в лечебницу к человеку больному, которому и жить-то неизвестно сколько осталось, и начинаете фигурировать правами своими, допросы мне оскорбительные учинять?

В этот момент я понял, что Обольников имеет какое-то отношение ко всей этой истории. Существуют строго определенные закономерности разговора дознавателя и допрашиваемого, и Обольников их сразу нарушил. Не дождав-

шись очередных моих вопросов, он высказал возмущение по поводу факта, который мы еще не обсуждали, и он не мог быть ему известен. И от этого я сразу успокоился. Я сел на скамейку и сказал ему:

— Ну-ну! Я вас слушаю дальше…

Обольников прижал руки к лицу и горестным шепотом сказал:

— Вы сами-то понимаете, что вам сделают на службе, когда узнают, что вы здесь с больным человеком вытворяете?

Я посмотрел на часы:

— Слушайте меня, Обольников, внимательно. Сейчас половина первого. В два часа я должен быть на работе. Время для ваших двухкопеечных фокусов исчерпано. Поэтому давайте сразу условимся: или вы будете со мной говорить как серьезный человек, или я вас заберу с собой и водворю в камеру предварительного заключения. Душа Шарко не обещаю, а вся антиалкогольная терапия будет обеспечена.

— Меня-я? — спросил он с придыханием. — Больного человека?

Я уселся на скамейке поудобнее.

— Ну, а кого же еще? Конечно, вас. Вы, на мой взгляд, жертва гуманизма и повышенной тер-

пимости нашего общества. Я подчеркиваю, что это только моя личная точка зрения, но вместо этого прелестного осеннего парка я бы вывел вас на лесоповал, а душ Шарко заменил земляными работами.

— То есть как это? — спросил он с испугом.

— А так. Вы хотите, чтобы вас считали больным, несчастным человеком. Чтобы в силу нравственных норм нашего общества вам помогали, тратили на вас время, средства, человеческие усилия. Вот если бы вы болели сифилисом, вы бы, наверное, меньше рекламировали свое несчастье. Потому что, с вашей точки зрения, это еще и позор. А алкоголик — что? Подумаешь, выпивал, выпивал человек, а теперь стал негоден ни к чертям собачьим. Пусть уж государство позаботится о нем. А с моей точки зрения сифилитик вызывает гораздо больше сочувствия, чем вы, потому что его болезнь могла стать следствием несчастного случая. А вот с вами другой разговор. Всем своим существованием вы уже много лет отравляете жизнь людям вокруг вас — и родные ваши несчастны, и на работе не знают, как избавиться от вас. Поэтому вы свои штучки со мной бросьте, а то я с вами по-другому поговорю…

Он грустно покачал головой, и нос его описал

фигуру замысловатую, как скрипичный ключ.

— Вот и верь тому, что в газетах пишут — «новая милиция стала», — сказал он. — Форму-то вам, видать, новую дали, а замашки старые остались.

— А вы бы хотели, чтобы я новым мундиром за вами блевотину пьяную подтирал и еще стаканчик на блюдечке подносил? Не знаю уж, я не врач — больной вы человек или здоровый, — но в обществе нашем вы — явление болезненное. Тем не менее общественные порядки и на вас распространяются. Они ведь существуют не только для тех, кто в алкоголических клиниках пребывает — тут у вас, между прочим, не центр мироздания.

— Ладно, пануйте, издевайтесь над больным человеком, коли говорите, что власть вам на это дана, — сказал он с горестным смирением. — Я человек маленький, трудовой, в начальство не вышел, так надо мной чего угодно вытворять можно. А если от трудов своих, усталости сил и принимал лишнюю рюмку, так и у вас как детей убийца Неосисян…

— А я и не говорю, что вы убийца Ионесян. Я вас спрашиваю, вы зачем у жены брали ключи от квартиры Полякова?

— А Вы видели, что я брал? — спросил он, став руки в боки и очертя голову бросаясь в волны ис-

пуганной запальчивости. — Видели, как я ключи эти брал? Вы еще докажите, что я брал…

— Докажу. Но я хочу с вами решить этот вопрос по-хорошему. В квартире у Полякова совершена крупная кража. Вы об этом знаете?

— Нет, нет, нет, — повторил он быстро. — Ничего я не знаю про это… Не знаю я ни про какую кражу… Не был я даже дома… Здесь я… в больнице лежал… Не знаю я ничего…

И я увидел, что он очень сильно, по-настоящему испугался. Это не было взволнованным напряжением, которое он испытывал с самого начала нашего разговора, это был настоящий испуг, который ударил под ложечку и тяжелой леденящей волной поднялся к горлу, залив его щеки графитной серостью. Я окончательно уверился, что ключи побывали у него в руках.

— Я знаю, что вас не было в эту ночь дома. Поэтому я хочу узнать, кому вы давали ключи.

Он заговорил быстро, давясь словами, заглатывая конец фраз!

— Не видел ключей… Не знаю… Говорил жене, чтобы не ходила туда… Они себе сами там пускай живут… Мы простые… Нам не надо… Они там на скрыпке пофыцкают — тысячу рублей на тебе… А мне ничего не надо… Пропадет чего — конечно,

на меня скажут… Мне бы чекушку-то всего — и все в порядке… и порядок… и порядок… А мне до всех этих симфониев — как до лампочки… И не видел я ключей этих сроду…

— Слушайте, Обольников, перестаньте дурака валять. Мне Поляков говорил, что на прошлой неделе вашей жены дома не было, так вы ему сами ключи отдавали.

— Они, Лев Осипович-то, человек большой умственности, рассеянный он. Перепутал он, жена ему отдавала. А он-то с представления возвращается, все в мозгах у него там еще кружение происходит — напутал он от этого, жена ему отдавала ключики, ужинал я сам, а она отдавала ключики с колесиком…

— При всей его рассеянности вряд ли перепутал Поляков вас с Евдокией Петровной. Но допустим. А ключи с колесиком значит вы все-таки видели?

— Ну, пускай видел. И чего? И чего с того, что видел? А брать мне их ни к чему! Что я у него, пианинов не видел?

— А вы в квартире у Полякова бывали? — спросил я не спеша.

— Там без меня гостей хватало. И как на скрыпке играть — он без моих советов обходился.

Я посидел, помолчал, потом сказал:

— Неправду вы мне говорите, Обольников. Бывали в квартире у Полякова. Прошлой весной бывали…

— Конечно, пьяного человека обвиноватить, как два пальца оплевать, — то-то вы про меня больше меня самого знаете. Может, и заходил по хмельному делу, да не помню, а вы мне все теперя в строку.

— У вас, Обольников, пьянка, как палочка-выручалочка: на все случаи жизни оправдание — не помню, не виноват, не мог, не знаю. А вот жена Полякова — Надежда Александровна, так она вообще не пьет, может, поэтому память у нее лучше. Весной вы антресоли им сбивали для книг. И помнит она, что вы вместе с ней по всей квартире ходили — место для антресолей выбирали. Не припоминаете?

— Может, и так было. Память у меня от болезни слабая стала.

— Ну ладно, оставим это пока. У меня к вам вот какой вопрос — будь у вас их ключи, вы сумели бы по ним сделать дубликаты?

Обольников испуганно попятился от меня, замахал руками:

— Зачем мене это! Конешно, не сумел. Не делал

я ничего такого никогда.

— Так вы же раньше, до работы в такси, были слесарем-лекальщиком? Неужто такой пустяковой работы сделать не смогли бы? Это даже я, наверное, смастерил бы после некоторой тренировки…

— Вот вы и тренируйтесь! А я не пробовал и не собираюсь! Ни к чему мне это совсем…

Я достал из кармана ключ от английского замка, обычный никелированный ключ, уже облезший кое-где, и в этих местах проступали рыжие медные пятна, ключ как ключ, на зеленой шелковой тесемочке с растрепавшейся в бахрому нитью на месте завязки в узелок. И показал его Обольникову:

— Вам этот ключ знаком?

Он заерзал, задергал носом и взгляд его пилил ключ, как драчевый напильник.

— Ключ как ключ, — сказал он, дернув плечом. — Все они одинаковые.

— Не думаю, — сказал я. — Все ключи разные. Просто разными ключами можно иногда открывать одни и те же замки. Так что, не узнаете ключ?

— Нет, — мотнул он головой.

— Да, с памятью у вас совсем неважно. Этот

ключ мы изъяли сегодня у вашей дочери Анны Сергеевны Медведевой. Она пояснила, что этот ключ от вашей, Сергей Семенович, квартиры, изготовленный по ее просьбе вами после того, как она вышла замуж и переехала на квартиру своего мужа.

— А-а-а… М-ммм… — замычал он.

Я опередил его:

— И не вздумайте мне рассказывать сказки о том, что вы как добрый, любящий папа побежали в мастерскую металлоремонта и заказали ключ. Понятно?

— Это еще почему? — спросил он затравленно.

— Потому что на допросе Медведева показала: болванку ключа она купила в палатке на Палашевском рынке, принесла ее домой, и вы, достав инструменты, сделали ключ за десять минут, забрали у дочери 40 копеек и две пустые бутылки, ушли из дому, а вернулись уже сильно пьяным. Итак, можем считать, что вы забыли о своем умении в течение десяти минут сделать дубликат ключа. Сойдемся на этом?

Обольников молча кивнул.

— Тогда что вы мне можете сообщить о ключах от квартиры Полякова?

— Ничего. Не был я там. Не воровал я ничего.

— Я тоже думаю, что вы — лично вы — ничего там не воровали.

— Чего же вы от меня хотите?! — в голос завопил он. — Все против меня — жена, змеюка подлая, уголовку на меня наводит, доченька, кровь родимая, пропади она пропадом, вором меня выставляет! Почему не верите? Чего хотите?

— Чтобы вы рассказали правду. На все мои вопросы вы даете лживые ответы, опровергаете общеизвестные факты — как я вам могу верить?

— И не скажу ничего — вы, чтобы в тюрьму посадить, доказать еще должны, что я украл. И сажайте — мне что здесь за проволокой, что в лесу на повале!

— И это врете. Вы хорошо знаете, что в тюрьме усиленного питания и душа Шарко не дадут…

Тогда он заплакал, всерьез или нарочно — не знаю, но слезы у него были — обычная вода, мутная, бегучая, и капля повисла на длинном, остром, как у севрюги, носу.

Когда я вошел в кабинет, Лаврова говорила лохматому человеку в телогрейке:

— Подпишите вот здесь, здесь… и здесь…

В левой руке человек держал замасленную танкистскую фуражку, прижимая ее к груди нежно, но твердо как гусарский кивер. Правой рукой

щепотью он ухватил ручку и водил ею по бумаге осторожно, с явной опаской, будто царапал старую, выкопанную из земли гранату.

— Станислав Палыч, это слесарь из ЖЭКа, Силкин, — сказала Лаврова, — он говорит, что в квартире Полякова не бывал.

Слесарь Силкин положил ручку на место, поднял на меня глаза и сказал:

— Как есть, точно вам доложили — не бывал я в пятнадцатой квартире. И, конечное дело, как следствие — замков чинить там не мог. Да и на кой мне замки их — у меня сщас совместительство в бойлерной, в доме семь, да в «Гастрономе» у меня полставки. А тут тетка женина дом нам передать хочет — а на кой мне дом этот, когда в нем ремонту на больше денег будет, чем новый ставить, один смысл — участок там ничего себе, хоть коз пускай на выпас…

— А как же так получилось, что вы ни разу в пятнадцатой квартире не бывали? — спросил я.

— Так я всего три месяца как работаю тут, на участке. И не знаю их поэтому. Да вы, пожалуйста, не сумневайтесь — вы хоть их самих, хозяев, спросите, они меня ни в жисть на личность не опознают…

Я посмотрел на Лаврову, она отрицательно

покачала головой:

— Поляковы по фотографии не опознали его. Категорически утверждают, что не тот.

— Ну и отлично, товарищ Силкин. Давайте ваш пропуск, а то в бойлерной вода остынет, пока мы тут попусту толкуем. И заодно в «Гастрономе» узнайте, может, для меня полставки найдется. Мне до получки каждый раз полставки не хватает…

Силкин серьезно спросил:

— А вы по слесарному делу как… того?

— Нет, к сожалению, не того, — засмеялся я. — Но я потренируюсь, а там, глядишь, тетка дом мне с участком откажет. Вот только жены у меня нет…

— Это дело наживное, — покровительственно сказал он. — Я тоже…

— Я тоже, — перебил я, — хотел спросить вас, книга заявочного ремонта и явки на работу ведется?

Он обескураженно посмотрел на меня:

— Имеется книга такая. А что?

— Слесарь приходил к Полякову чинить водопровод, а заодно уж и замки шестнадцатого октября. Вы чем занимались а этот день? Ну-ка, припомните, пожалуйста.

Силкин надел зачем-то свою замечательную фуражку, нахлобучил ее поглубже, и треснутый козырек заходил от напряженного движения морщин на лбу.

— Шестнадцатого? Так… шестнадцатого… шестнадцатого. А простите, день какой это будет, шестнадцатое?

— Вторник, — сказала Лаврова.

— Вторник? — удивился Силкин так, будто вторник приходился на тридцать третье октября. — Вторник? Шестнадцатого — во вторник?

— Да, шестнадцатого, во вторник, — терпеливо повторила Лаврова.

— Сейчас, сейчас, сейчас вспомню, чего там было шестнадцатого во вторник, — мучил несильную память слесарь. Наконец лицо его озарилось радостью откровения: — Вспомнил — вторник, шестнадцатого! Как же это я забыл-то!

— И что? — спросила Лаврова.

— Ничего не делал, — с большим облегчением сообщил Силкин. — На больничном я был еще, бюллетень у меня был. Я как раз письмо от тетки получил, хотел в деревню в субботу ехать, да отработать пришлось в две смены, сменщику с пятницы отгулы дали, а я как раз вышел в первый день — пятница была…

Мы посидели с Лавровой некоторое время молча, потом она сказала:

— Я думаю, что надо съездить в деревню допросить тетку, и если все подтвердится — эту линию разработки закрывать. Тут ничего не светит.

— Да, просто щелей не надо оставлять. А что с телеграммой?

— Ничего. Телеграмма отправлена из 245-го отделения связи, и девушка-телеграфистка запомнила, что этот Таратута человек средних лет, особых примет не заметила. Опознать его с уверенностью не берется.

— А где находится это отделение?

— На Беговой, против магазина тканей, — сказала Лаврова, посмотрела на меня и спросила: — Вы чего усмехаетесь?..

— Да-а, ерунда. Просто подумал о том, как избирательны ассоциации у разных людей. Если нужен ориентир, женщина скажет — против магазина «Ткани», пожилой человек — рядом с Боткинской больницей, мальчишка — наискось от стадиона Юных пионеров. Ну а человек, одолеваемый страстями, — что он скажет?

Лаврова засмеялась:

— Наверное, скажет — рядом с ипподромом.

— Вот именно. Ну, это я так, к слову. Что будем

делать с троллейбусным билетом, обнаруженным в прихожей Полякова? Поколдуем с ним чего-нибудь? Как говорит наш шеф, «идеи есть?».

Лаврова пожала плечами:

— Мои соображения рядом с вашими всегда так незначительны, что не заслуживают права называться идеями. Так, мыслишки пустяковые…

— В борьбе это называется «двойной нельсон», — сказал я ухмыляясь, — ручки за голову заворачивают и тебя же за шею душат.

— Вас подушишь, пожалуй. Лучше всего из вас было бы сделать циркулярную пилу. А что касается билета, я попробую выяснить о нем все возможное…

— Изумительно. Давайте помозгуем вместе насчет выяснения круга знакомых Полякова. Мне не очень ясно, как мы будем разбираться с такой массой людей.

Лаврова сказала:

— Если мы их будем прорабатывать каждого по очереди, нам до второго пришествия не кончить. Надо их по группам разбить.

— Не понял?

— Надо разделить этих людей по какому-то групповому признаку: личные друзья, коллеги по консерватории, студенты-ученики и так далее…

— А что? Это мысль. Не просто мысль, а целая идеища!

Лаврова взглянула чуть прищурившись:

— Слава богу, вот и я дожила до признания!..

Глава 4
Свои Минотавры

— Я попробую? — спросил Антонио.

— Попробуй, — усмехнулся Амати.

В вопросе Антонио — надежда на помощь, поддержку, совет. Но мастер Никколо только усмехается, хитрость таится в толстых складках его багрового лица, белый хохолок издевательским крючком-вопросом торчит на макушке.

Плеснуло пламя голубыми языками под бронзовым дном ковша, пузырится, булькает, растекается янтарь мастики, и от острого запаха, аромата фисташкового дерева, с которого стекает она тяжелыми каплями, вязкими и горькими, как пот и слезы, першит в горле, и по щекам текут капли, падают в котел, смешиваясь со смолой. В реторте рядом закипает сандарак — серый грязный дым встал отвесно над сосудом. Бежит, бежит, завихряясь струей, песок океанский в колбе часов. В нижней стекляшке уже вырос холмик, и кажется, будто это время движется вспять, выбрасывая наверх белую струйку песка.

Антонио натягивает кожаные рукавицы, хва-

тает клещами раскаленную реторту и начинает быстро болтать ее — кругами, кругами, круг становится уже, быстрей, быстрей, осадок сел на дно — теперь еще быстрее! Он рывком скидывает крышку с ковша, из бронзового чрева ударил рвущий ноздри чистый яростный аромат мастики. Плюх! Плеск! Коричневой волной пошел сандарак через мастику, плавными уступами расписал желтую толщу ее, завихрились причудливые фигуры в глубине, и смола стала поглощать цвет, густеть, успокаиваться.

— Терпентин! Терпентин давай! — заорал над ухом Амати. — Да быстрее же! Боже, какой идиот, остынет ведь, загустеет, пропадет! Огня добавь! Огня!

Антонио изо всех сил раскачивает рычаг ножного горна, пламя хрипит и срывается с углей красными злыми лентами, трясущимися пальцами развязывает Антонио мешочек с терпентином, завязка затянулась, не отпускает, зубами молодыми злющими с хрустом рвет он ткань, сыплет в колдовское варево прозрачные до голубизны кристаллы, а в голове пасхальным колоколом бьется, кричит, ликует — я делаю правильно! Пра-а-а-вильно!

Тают кристаллы, желтеют, тонут, и снова бур-

лит, бушует в ковше смола, черные сгустки с пеной идут наверх, клубочки дыма ядовитого стелются над булькающей рябью. Серебряной лопаткой, перуанской, резной, узорной, с захватом и сеточкой, подхватывает Антонио пену и накипь, сбрасывает на глиняный пол и смотрит на часы песочные — а там уже снова крупицами время пересыпается, течет, падает в пропасть ушедшего навсегда. Антонио оглядывается — мастер Никколо сидит на столе, прижав к сердцу руки, и на лице его — страдание.

— Пора? — спрашивает Антонио и удивляется голосу своему — сиплому, тонкому, петушиному.

Амати кивает молча, и Страдивари наливает в колбу семь гран масла розы пендераклийской, спирт, из тростника сахарного выгнанный, вытяжку из дерева красного сафирус опускает в стеклянный сосуд, взбалтывает и оборачивается вновь к учителю. Амати молчит.

— Господи, и ты, святая всепрощающая заступница наша, дева Мария, благословите! — выкрикивает Страдивари и крестится перед почерневшим распятием на стене мастерской.

Он опускает колбу в тигель, и стекло сначала тускнеет, потом начинает наливаться вишневой краснотой. Антонио подхватывает колбу за узкое

горло и осторожно переливает раствор в ковш на горне-бурбарте. Золотистая пленка, как волшебная амальгама, заливает поверхность смолы, она проседает вглубь, постепенно окрашивая все содержимое ковша этим призрачным мерцающим светом.

Антонио легко, рывком хватает трехпудовый ковш — стенки его толщиною в пядь — и бежит с ним в угол, плавно, ласково опускает ковш в дубовую бадью с холодной хвойной водой, и лицо его скрывается в клубах ватного фиолетового пара. Шипит вода в бадье, стынет медленно ковш, улетает в окна обессилевший пар, глохнет в горне огонь, синие искры беззвучно прыгают на углях в тигле. Тихо. Совсем тихо становится в мастерской.

Антонио осторожно вынимает ковш из воды, медленно несет к верстаку. Отчетливо звякают об пол капли, срываясь с округлого брюха ковша. Ковш установлен на верстак, и Антонио ощущает тонкий пронзительный звон уходящего напряжения в каждой клеточке своих обожженных, изъеденных растворителями, изрезанных усталых рук…

Долго молчали оба, затем старый Никколо сказал:

— Не медлит господь исполнением обетования… Но испытует долготерпение наше…

И снова замолчал.

Антонио поднял голову и спросил тихо:

— Мастер, это и есть заветный лак?

Никколо молчал, и Антонио показалось, что учитель не знает, как ответить ему.

— Тебе сколько лет сейчас, мальчик? — спросил Амати.

— Двадцать один.

— Я такой лак сварил впервые, когда мне было сорок три. Но это не тот лак. Он только может сохранить скрипку навеки и подарить ей необычайную красоту. Настоящий лак заставит ее неповторимо звучать. Этот не может.

В мастерской снова стало очень тихо, и шорохом камешков в воде прозвучали слова Антонио:

— Как же это так?..

Глазки Амати совсем исчезли в жирных складках-щелочках.

— Я знаю еще две добавки. Ты их должен найти сам. Тогда, может быть, ты еще найдешь и какие-то другие, которых я не знаю. И тогда свои скрипки ты сделаешь лучше, чем я…

— Но…

— Никаких «но». Ты можешь стать гением, если

захочешь, конечно. И мешать тебе я не намерен… Запомни только, что гения всегда ждут на пути, как дорожные грабители, три врага…

— Кто они? — безразлично спросил Антонио.

— Праздность, богатство и слава. Как сирены, подстерегают они гения, и всякий раз набрасываются на главную его добродетель — трудолюбие.

— Но ведь вы, учитель, богаты и прославлены? — сердито спросил Страдивари.

Амати встал, вытер шелковым платком лицо, грустно усмехнулся:

— Эти сирены особенно обольстительны в юности. Ко мне они пришли слишком поздно…

* * *

«Расследовать дело в этом направлении, по-моему, бессмысленно, поскольку мы все — студенты и аспиранты Л. О. Полякова — просто обожаем его…»

Я положил ручку и посмотрел на Марину Колесникову внимательно. Она усмехнулась:

— Я понимаю, что в протоколе такие слова вам кажутся смешными. Но вы меня предупредили, чтобы я говорила только правду. А это правда — мы его обожаем…

— И вы исключаете вероятность причастности кого-либо из его студентов к преступлению? — спросил я осторожно.

— Категорически…

На листе бумаги Лаврова нарисовала маленький кружок, внутри которого написала — «Поляков». Из кружка исходили, пружинисто разворачиваясь, четыре спиральных кривых: линия родственников и близких друзей, линия коллег и учеников, затем линия людей, которые когда-то были близки Полякову, но сейчас утратили или ослабили с ним связи, и, наконец, линия людей, к чисто хозяйственным услугам которых прибегала семья скрипача. На первой кривой было одиннадцать точек. На второй — шестьдесят три. На третьей было сейчас тридцать две, но цифра эта по мере развития розыска все время вырастала. На четвертой — семнадцать. Получилась этакая четыреххвостая комета, уродливое пространственное зеркало человеческой коммуникабельности, где каждая людская связь была только точкой, и по мере того, как папка уголовного дела заполнялась допросами, справками и объяснениями, эти точки набухали, росли, обретали объем, как надуваемый аэростат, и наполнялись они любовью и вероломством,

поклонением и завистью, верностью и грустью, смешным и тягостным, всем тем, что постепенно заполняет жизнь людей, и гениев тоже — потому что гении становятся монументальными только после смерти, а при жизни радуются и огорчаются всему тому же, что и мы, грешные. Просто масштаб смещен…

Аспирантка Марина Колесникова из класса профессора Полякова в нашем списке шла двадцать седьмой во второй линии. Красивая белая девушка, неспешная в движениях, ленивая в словах, а глаза — карие, веселые, и вообще ее было очень много, она заполняла и освещала мой кабинет всей своей плавной округлостью, подсолнечными волосами, небрежно затянутыми в тяжелый пучок, она источала тепло белизной кожи и ласковостью длинных сильных пальцев. Не девушка, а прямо душевное утоление. И выражалась она очень интеллигентно, и от этого хотелось поговорить с ней о чем-нибудь неслужебном, к делу не относящемся, просто так, как говорится, о цветах и пряниках. Ее просто невозможно было представить серьезным человеком, занятым трудным искусством, если бы не коричневая с краснотой мучительная мозоль под левой скулой на сливочно-нежной шее.

— …Категорически, — сказала она. — Наше отношение к Льву Осиповичу, наше обожание — не экстатический восторг девчонок-меломанок. Это закономерный результат многолетнего общения с ним.

— То есть?

— Вы помните миф о том, как Тезей спустился в лабиринт Минотавра?

— Да, мы это еще в школе проходили, — усмехнулся я.

— Вот если переложить этот миф в музыкальную композицию, то по смыслу она состояла бы из трех частей — аллегро, модерато, престо, отражая смысловое триединство подвига Тезея: он отправился в неведомое — вошел в лабиринт, откуда никто до него не вышел; затем вступил в бой с чудовищем Минотавром и победил его, и третье, что определяет смысл его поступка: он спас жизнь и красоту тех, кого отдавали Минотавру. Вот наш худенький Лев Осипович часто представляется мне Тезеем в лабиринте…

Я прикрыл ладонью глаза и вообще сделал вид, что усиленно тру лоб — чтобы она не заметила, как мне смешно.

— Но у Тезея, помните, был этакий сыскной атрибут — ниточка? Ниточка. Которую ему дала

эта дама…

— Ариадна… Некоторые считают, что нитью в путешествии Полякова по неизвестному является его скрипка, хотя я и не верю в это…

— Тогда поясните мне смысл триединства подвига Льва Осиповича, — попросил я.

— Это же так понятно! — удивилась Марина. — Он знал, что звуковые возможности скрипичных партитур не использованы, и он нашел к ним дорогу. Но чтобы овладеть этими возможностями, ему пришлось победить Минотавра, который всегда — в большей или меньшей степени — сидит глубоко в нас самих…

— Да-а? — на этот раз удивился я.

— Ну конечно же! Каждый человек — хозяин маленького или большого собственного Минотавра — косного, ленивого, традиционалистского, прожорливого и жадного. И не дай бог поддаться ему — тогда он обязательно сожрет своего хозяина…

Мне было ужасно смешно слушать, как она не спеша, спокойно и раздумчиво говорит об этом, будто рассказывает известную только ей сказку, и если бы она не была такая большая, достойная, величаво-спокойная, то все ее разговоры выглядели бы жеманством, но она поведала мне об

этом, будто мы с ней оба все давно знаем, и оба согласны во всех вопросах, да и быть по-другому не может, и она вправе говорить мне про «этот гнусный структурализм в искусстве», не вызывая усмешки, ей это можно было — она вся была естественной, рассудительной, душеутоляющей, хотя я и не мог себе представить, как это она — вся такая домашняя, уютная и ленивая — может лихо срывать смычком со струн ноты концерта Брамса, в листе похожие на индийские письмена, и непонятные для меня в записи так же, как бугорчатый текст Брайля.

— И вы, мол, все обожаете Полякова как Тезея в лабиринте музыки? — спросил я, изо всех сил скрывая улыбку.

— Нет, — спокойно качнула головой Марина. — Мы его любим несколько эгоистически. Он наш педагог.

— И что?

Она посмотрела мне в глаза и откровенно улыбнулась:

— Судя по вашему вопросу, вы, как и большинство людей, полагаете, что педагог — это профессия. Я думаю, что это призвание, дар, долгое озарение. Слушатели, обычная музыкальная аудитория, — те твердо знают, что Поляков

— гениальный солист-исполнитель. А вот специалисты до сих пор не уверены, в чем полнее выразилось дарование Полякова: как исполнителя или педагога…

Говори она все это чуть-чуть с выражением, интонационными паузами и ударениями, хоть с самой незначительной аффектацией, я бы наверняка засмеялся. Но она говорила медленно, лениво, даже чуть монотонно, как о вещи самоочевидной. И я не усмехнулся, я ей верил.

— … Существуют какие-то ходячие установки, принятые за догмы и претендующие на роль истин, хотя истинами они ни в коей мере не являются, — говорила не спеша Марина. — Утверждают, что талант обязательно щедр. Я знаю много талантов — одни щедрее, другие скупее — все это очень неодинаково. Про многих я вообще бы сказала, что это полностью замкнутые на себя таланты. Что касается Полякова, то про щедрость его таланта говорить просто неуместно, как мне всегда противны сравнения с щедростью земли. Земля — это природа, и Поляков — часть этой природы, а природа имеет потребность постоянно отдавать накопленное. Без этого он не мог бы жить…

— Ну, так уж и не мог бы, — сказал я. — Концер-

тировал бы себе на здоровье, больше времени для репетиций…

Я сказал это нарочно, мне интересно было «подзавести» ее. Но она посмотрела на меня задумчиво, потом отрицательно качнула головой:

— Нет. Был такой скрипач Иконников. Я его, правда, никогда не слышала, но знатоки утверждают, что по масштабу своего дарования он превосходил Полякова, они учились вместе. Его звезда очень быстро взошла и почти так же стремительно сгорела. Вот Иконников учеников не любил и никогда их у него не было.

— Звезда-то, наверное, сгорела не оттого, что учеников не было? — спросил я и подумал, что фамилия эта для меня новая — в нашем списке она отсутствовала.

— Конечно. Он не вынес, образно говоря, испытания мгновенной и ослепляющей славы. Но ученики для педагога как дети — они требуют от него повышенной ответственности.

— А что с ним стало?

— Не знаю. Он очень враждебно относится к Полякову, не знаю почему, и на все попытки Льва Осиповича помочь ему, поддержать как-то, отвечает злобными выходками. Поляков не любит говорить о нем…

Так. Вот это уже нечто совсем новое. Ну-ка, ну-ка…

— А в чем выражаются эти выходки?

— Да глупости все какие-то, но просто неприятно. Он, например, демонстративно не здоровается с Поляковым. Я помню, что, когда я была на втором или на третьем курсе, в общем, года четыре назад, Поляков узнал, что Иконников ушел из дома, где-то слоняется, пьет. Тогда Лев Осипович разыскал Иконникова и предложил ему денег на кооперативную квартиру, чтобы тот жил хотя бы пристойно, но Иконников его грубо обругал, короче, тогда их отношения прервались совсем.

— А чем занимается сейчас Иконников, вы не знаете случайно?

— Я точно не помню. Мне как-то Поляков говорил с удивлением и возмущением, что тот стал не то укротителем, не то дрессировщиком зверей — не помню я точно.

Я тоже удивился — впервые слышу, чтобы бывший музыкант становился дрессировщиком. Впрочем, чего в жизни не бывает. Ладно, проверим, чего в жизни не бывает.

— Непонятно, — сказал я.

— Да, — кивнула она. — Как в пьесах Беккета…

Я ей и Беккета простил, очень уж ей можно бы-

ло все говорить, тут никуда не денешься — есть люди, которые могут говорить что угодно и не вызывает это протеста, хотя скажи то же самое кто другой — и смех, и грусть, и зло вызвал бы. А вот ей можно…

Я подписал ей пропуск, и когда она, огибая стол, прошла мимо, показалось мне на одно мгновенье, будто рядом в зеленой стоячей воде тишины проплыл фрегат под белыми парусами, я даже плеск волн у высоких округлых бортов слышал, и тихо звучал, постепенно замирая, ее невыразительный голос:

— Нитью в путешествии по неизвестному является его скрипка, хотя я не верю… Ему пришлось победить Минотавра… Каждый человек хозяин маленького или большого Минотавра… Это призвание, дар, долгое озарение… Есть полностью замкнутые на себя таланты… Его звезда очень быстро взошла и почти так же быстро сгорела… Он очень враждебно относится к Полякову… Стал не то укротителем, не то дрессировщиком… Как в пьесах Беккета…

Я встал, походил по кабинету, бормоча себе под нос: «Как в пьесах Беккета, как в пьесах Беккета, как в…» А как там, действительно, в пьесах-то Беккета? Вот уж не знаю. Чего не знаю, того не

знаю.

Вот меня-то Лаврова наверняка не обожает как своего педагога. Это, конечно, пережить можно, но все-таки приятно, когда тебя кто-то обожает как педагога. Как педагога, который спустился в лабиринт Минотавра, а это ведь рядом — и на остров Крит не надо ехать, где вместо свирепого чудовища бесчинствует хунта «черных полковников», а просто заглянуть в лабиринт души своей и шепнуть: «Эй, Минотавр, вылезай, потолкуем, ты как там ведешь себя во мне?» А он сразу скажет: «Старичок, почудилось тебе, глупая белая баба наговорила, что я живу в тебе и мечтаю тебя сожрать. А ты же ведь парень умный, сам понимаешь — какие там Минотавры, вообще о чем может идти речь, когда давно известно, что все мифы — это байки для детей младшего школьного возраста. Кроме того, ты человек отзывчивый, чуткий, добрый, с тонким душевным настроем, вот тебе и наклепали на меня, а ты сразу поверил, будто я есть в тебе. А меня в тебе нету…»

Ох, Миня-Минотавр, врешь ты мне все, сукин сын. Есть ты, есть, гад лохматый, скользкий, ползаешь, прячешься. Ладно, черт с тобой! Наверное, пока не прожить мне без тебя, живи, поганый, во мне. Был бы я белой девушкой, скрипачкой, ас-

пиранткой, читал бы по вечерам пьесы Беккета, безыдейные и запутанные, возмущаясь прущим структурализмом, и была бы у меня душа — не запутанный темный лабиринт, где сидишь ты, чудище, в каком-то мерзком закоулке, а райский сад с геометрическими красными дорожками, как в алкоголической клинике, и негде было бы спрятаться тебе, и выволок бы я тогда тебя за ушко на солнышко, и выкинул на свалку моей жизненной истории. Но для того чтобы найти скрипку Страдивари, вернуть людям красоту их и радость, мне нужно шастать по переулкам и тупикам чужих душ, где все непонятно, как в нечитанных мною пьесах Беккета, а ты, мой собственный, индивидуального пользования Минотавр, нацелен все это время мне на глотку, чтобы прыгнуть, разорвать, задушить, как только я поскользнусь, зашатаюсь. А ведь скользко как в тупиках этих и переулках! Ну ничего, жди, жди, Миня. Мы с тобой заложники друг у друга, еще посмотрим, чья возьмет…

Я сел за стол и набрал телефонный номер:

— Подготовьте справку на гражданина по фамилии Иконников, бывший скрипач-солист, лет около шестидесяти. Имя не знаю. Ну спасибо. Я позвоню…

Положил трубку и сразу раздался звонок — объявился Халецкий. Экспертиза установила, что в замок, который ремонтировали у Полякова, был засунут кусок металла, на рабочих плоскостях механизма — отчетливые царапины.

— И что вы теперь думаете? — спросил Халецкий.

— Я думаю, что там был такой же слесарь, как я — певец.

Халецкий засмеялся:

— Почему же? Слесарь он, возможно, хороший. Теперь надо установить, чем он занимался а свободное от слесарного дела время. Я уверен, что это именно он сломал накануне замок, а утром пришел как слесарь из ЖЭКа.

— Я тоже так думаю. Что с отпечатками пальцев?

— Завтра спецотдел даст конкретное заключение по всем представленным нами образцам…

> «…Отпечатки пальцев на хрустальном бокале идентичны с отпечатками большого, указательного и среднего пальцев левой руки гр-на Обольникова С. С., 1914 г. р., дактоформула 47536/37424, проживает в г. Москве, привлекался к отв. за хули-

ганство».

— Но ведь, по нашим расчетам, он не мог быть той ночью в квартире Полякова? — обескураженно спросил я Халецкого. — У него ведь железное алиби!

— Мы стоим перед альтернативой, — спокойно улыбнулся Халецкий, — или надо признать, что факты сильнее наших расчетов — дактилоскопия не ошибается. Или…

— Что «или»? — спросил я, мне было не до смешков.

— Или он был там накануне кражи, — пожал плечами Халецкий. — Следы свеженькие совсем…

— Зачем? — спросила Лаврова. — Если он передал вору ключи, ему там делать нечего было…

— Резонно, — согласился Халецкий. — Но если рассуждать по академической логике, он ведь мог вора проводить в квартиру накануне — оглядеться, посмотреть, где что лежит, разобраться вместе с ним в планировке квартиры… Разведка на войне — дело не последнее.

— Нет, — не согласился я. — Насколько я знаю воровскую психологию, это слишком сложно — разведка, подготовка. Если бы они вдвоем

попали в пустую квартиру — очистили бы ее как миленькие и смылись…

— Оставив на глазах у розыска Обольникова в ключами от квартиры и безо всякого алиби? — саркастически спросил Халецкий.

— Хорошо, объясните тогда, зачем приходил слесарь? Ведь у Обольникова были ключи? — спросила Лаврова. — Вряд ли этому пьянчуге отводилась роль больше, чем наводчика!

Халецкий потрогал дужку очков и сказал:

— Леночка, вы спрашиваете меня так, будто я присутствовал при их сговоре, а теперь по рассеянности все забыл… Я только рассматриваю вместе с вами возможные варианты.

— Если они накануне осмотрели квартиру, то какой смысл был отправлять телеграмму? — подумал я вслух.

Халецкий резко повернулся ко мне:

— А вы тоже думаете, что это пробный камень?

— Не знаю, — развел я руками, — не могу придумать другого объяснения. Поляков ни в какой связи не может вспомнить фамилию Таратута.

— Давайте вместе поедем к Обольникову, — предложила мне Лаврова.

Обольников завтракал. Мы стояли у дверей

больничной столовой и смотрели на него, а он, ничего не замечая вокруг, ел. С какой-то болезненной остротой я вдруг уловил в нем сходство с жрущей добычу крысой — он наклонял низко к столу длинный костистый нос, и при каждом глотке будто нырял в тарелку, на горле прыгал костяной мячик кадыка, а нос контроллером проходил по окружности тарелки, будто принюхивался, проверяя — все ли на месте, не упер ли кто чего из тарелки, пока он глотал предыдущий кусок. И все время шевелились на голове уши, и я только сейчас заметил, как не соответствуют всей его хрящеватой голове уши — кругленькие, мясистые, заросшие рыжим пухом.

Лаврова повернулась ко мне:

— Старый доктор Чезаре Ломброзо с ходу дал бы ему пожизненную превентивку…

Я ухмыльнулся:

— К счастью, у нас нет превентивного заключения, а идеи доктора Чезаре не в ходу.

— А может быть, применительно к Обольникову это и не такое уж счастье?

— Не-а, — покачал я головой. — Я этих теорий вообще опасаюсь. По секрету могу сообщить: мне ребята из научно-технического отдела в два счета доказали, что я сам классический

ломброзианский тип грабителя с садистскими наклонностями.

Обольников закончил завтрак, корочкой хлеба вытер тарелку и, быстро прожевав, сказал няне:

— Так на обед не забудьте мне суп мясной, а то снова дадите рыбу. А мне сейчас организм укреплять надо. Аппетит, слава богу, хороший начался, — и, повернувшись к дверям, увидел нас.

Одернул серый халат, расправил пояс-веревку и быстро, мелко зашагал к нам, и протягивал он руки ко мне, будто сынок его отпуск из армии получил и примчался срочно на самолетах, поездах и пароходах из-за тридевяти земель проведать заболевшего родного папку.

От неожиданности я тоже протянул ему руку, и со стороны мы выглядели, наверное, очень умилительно. Только поцелуев не было. Я выдернул руку из его влажной, горячей ладошки и с удивлением подумал о том, как же он мог всю семью много лет лупить такими маленькими слабыми ладошками. А он приговаривал:

— Ну, слава богу, хоть знакомое лицо увидал, а то никто сюда ко мне и глаз не кажет, а человек-то, он ведь в обществе нуждается, ему бы со знакомым о близких делах поговорить, вестью приятной согреть изъязвленную тяготами

да горечами душу. А родные-то мои, женушка дорогая да доченька, паскуда, оговорщица родителя своего, и не приходят ко мне, передачку не дадут — отца своего порадовать чем-либо вкусным, потому что здесь еда-то известно какая — больница, да нянечки, да сестрички-ласточки, и доктор дежурный тоже не прочь — все норовят из больничного котла унести чего-нибудь для себя, своровать себе на еду, а больному-то человеку питание нужно усиленное. Это не по вашей части, товарищ инспектор, проверять — как здесь хищают из корма больных людей? Много бы интересного для себя обнаружили… Да вам, правда, недосуг, скрыпача обворовали — с его бебехами у вас сейчас морока. А здесь люди тихие, сирые, они потерпят, бедные люди — они вообще к терпежу привычнее, и мало им надо сейчас. Это только те, кто богаче, те и жаднее. Скрыпач-то из-за барахла своего шум до небес, наверное, поднял. Их брат вообще до имущества и денег ох как лют! Человека живого не пожалеют за грош… А дама, простите, женой вам доводится?

Лаврова смотрела на него с изумлением. По-моему, она просто потеряла дар речи. Я-то к его фокусам уже привык несколько. Я посмотрел на желтое пятнышко яичницы, застрявшее в углу

рта, водяные, налитые злобой глаза, прыгающий жестяной нос и мягко сказал:

— Да, женой. В прошлый раз, Сергей Семенович, вы вызвали в моей душе такое сочувствие, что мы решили навещать вас вместе, семейно. Она мне даже пообещала, если вы понравитесь ей, забрать вас отсюда и усыновить. Вернуть вам незаслуженно утерянное тепло семейного очага, так сказать…

И я услышал, как радостно, весело захохотал, ликующими воплями заголосил во мне мой Минотавр. Но мне было наплевать на это, потому что в сравнении с Минотавром Обольникова мой был сущим щенком. Обольникова же его чудовище уже сожрало полностью. И сухая жаркая злость целиком овладела мной.

— Как, Лена, нравится? Подойдет вам такой воспитанник? Вы его возьмете или оставите пока здесь?

Мы все еще стояли в коридоре, и мимо нас неслышно сновали в мягких шлепанцах, как большие беззубые мыши, тихие больные в серых халатах.

Лаврова сказала:

— Я думаю, его надо обязательно взять. Идемте в канцелярию…

Обольников будто очнулся из мгновенного забытья и заговорил быстро, сбивающимся бормочущим шепотом:

— Не надо… не надо меня брать отсюда… я ничего не сделал… не воровал я… меня не надо… не надо меня в тюрьму… не брал я… ничего ведь мне и не надо…

И вдруг в голос, пронзительно-тонко, в тоске и ужасе заверещал:

— Не трогайте меня!.. Я не вор!.. Я ничего не сделал! Я не хочу в тюрьму!..

Он упал на колени, и к нам с разных концов коридора уже бежали санитарки и больные, а он кричал, быстро отползая от нас на коленях:

— Помилосердствуйте!.. Не хочу в тюрьму!.. Мне там нечего делать…

Я остолбенел и вдруг услышал голос Лавровой: негромкий, спокойный, но прозвучал он так, будто разрезал весь гам в коридоре ножом:

— Встать! Встать, я сказала! — И все вокруг замерли, как в немой сцене у Н. В. Гоголя.

Лаврова подошла к Обольникову и сказала совсем тихо:

— Если вы не прекратите сейчас же это безобразие, я вас действительно арестую. Встать!

Минотавр Обольникова был похож сейчас

на грязного избитого пса. Дрожа и всхлипывая, Обольников бормотал:

— Честью клянусь, не воровал я ничего…

Тяжелая железная дверь захлопнулась за нами, и мы пошли по улице Радио к Разгуляю. Осень все-таки, наверное, забыла, что ее время на исходе, и день был ласково-солнечный, тихий, теплый. Лаврова наколола на острие своего длинного элегантного зонтика опавший лист и сказала:

— Дожди зарядят скоро…

— Наверное.

— Не люблю я осень…

— А я — ничего, мне осень подходит.

— У нас с вами вообще вкусы противоположные.

— Это не страшно, — сказал я. — Поскольку противоречия наши не антагонистические, мы охватываем больший диапазон мира.

Лаврова грустно усмехнулась:

— Мы с вами вообще классическая детективная пара: молодой, но горячий работник говорит — «надо брать». А старший, опытный и рассудительный, отвечает — «пока рано».

— Аналогия чисто формальная. Старший-то ведь всегда руководствуется соображениями высшей человечности — нельзя сажать человека

в тюрьму, не доказав его вины наверняка…

— А вы чем руководствуетесь? — прищурилась Лаврова.

— Сухим эгоистическим рационализмом. Я бы этого субчика мгновенно в КПЗ окунул. Но с того момента, как по делу появляется заключенный, помимо розыскных хлопот, из меня начальство и прокуратура начнут каждый день кишки выворачивать — сроки ареста текут…

— А так?

— А так он себя сам определил на изоляцию. Сбежать отсюда ему невозможно, да и куда он побежит? Пусть сидит на антабусе и дозревает…

Мы дошли до угла, и я вспомнил, как здорово Лаврова справилась с Обольниковым.

— Слушайте, Лена, а ловко вы укротили этого барбоса. Просто молодец, я и то растерялся…

Она ничего не сказала, и мы дальше шли молча, потом она будто вспомнила:

— Знаю я их, сволочей этих. Насмотрелась. Мать меня одна вырастила.

Из будки автомата я позвонил на Петровку. Дежурный сказал, что для меня прислали справку.

— Прочитайте, — попросил я.

— «Иконников Павел Петрович, уроженец Харькова, 1911 года рождения, проживает на

Вспольном переулке… — монотонно читал дежурный, — работает лаборантом-герпетологом в серпентарии Института токсикологии…»

Я положил трубку и спросил у Лавровой:

— Вы не знаете, что такое герпетолог?

— По-моему, это что-то связанное со змеями… Если я не ошибаюсь, герпетология — это наука о змеях.

— О змеях? — спросил я с сомнением. — А что такое серпентарии?

— Это змеевник. Ну, вроде террариума, где содержат змей.

— Однако! — хмыкнул я. — Первый раз слышу о таком…

Лаврова сказала:

— Как это ни прискорбно, но в мире есть масса всякого, о чем вы не слышали.

— Так чего же в этом прискорбного! Один мой знакомый регулярно читал на ночь энциклопедию. И запоминал, главное, все, собака. Общаться с ним было невыносимо — все знал, даже противно становилось. Представляете, если бы я на ночь энциклопедию читал, а утром вам все выкладывал?

— У нас и так хватает о чем потолковать. Так вы в серпентарий?

— Да. Он в Сокольниках, на Шестом Лучевом просеке расположен.

— Ну и прелестно. А я в троллейбусный парк — насчет билета.

— Если бы вы были не в мини, а в длинном, до земли кринолине, я бы уговорил вас ехать со мной, — сказал я.

— Это почему еще? — подозрительно посмотрела на меня Лаврова.

— Зонтик у вас есть, и мы бы вписались в осенний пейзаж парка, как на левитановской картине.

Лаврова засмеялась:

— Не больно-то далеко вы ушли от своего приятеля-энциклопедиста…

Не знаю почему, но так уж получилось, что я много лет не был в Сокольническом парке. Когда-то я очень любил его и мы часто с ребятами ездили сюда в детский городок. Больше всего нас привлекал стоявший здесь подбитый трофейный «мессершмитт-109». На карусели и игрушечные самолетики «иммельмана» денег у нас, естественно, не было, а в «мессершмитте» можно было играть сколько угодно, и, конечно, очень приятно было, что «мессершмитт» хоть и сломанный, но настоящий трофейный самолет. О нем,

наверное, забыли, и мы исподволь раскручивали его до мельчайших винтов. Под конец самолет имел такой вид, будто в него прямым попаданием угодил крупный зенитный снаряд. Нас это не смущало, потому что разбитый вид самолета не мешал чувствовать себя в кабине Чкаловым, Кожедубом или Маресьевым. А потом самолет куда-то увезли, наверное, на переплавку, и, погорчавшись немного, мы стали ходить купаться на Оленьи пруды, и парк тогда был еще совсем дикий — настоящий лес. Не было асфальтовых дорожек и модерновых павильонов-выставок, стеклянных кубиков кафе и шашлычных. Только в самом начале, у входа, стояло невообразимое деревянное сооружение, похожее на языческий храм — кинотеатр, куда мы с переменным успехом, но с неизменной настойчивостью ходили «на протырку» — без билетов то есть. Здесь я видел «Подводную лодку Т-9», «Небесный тихоход», «Три мушкетера», «Александра Матросова» и «Робин Гуда». Я помню, когда показывали «Остров сокровищ» и Билли Бонс говорил, что он человек простой и ему нужна только грудинка, яйца и ром, мы — голодные дети войны — поднимали оглушительный хохот, полагая, что это такая нахальная шутка. Кинотеатр был частью моего

детства, волшебным окошком, через которое я заглянул в большой мир вокруг себя. Потом, много лет спустя, когда я уже учился в университете, однажды ночью кинотеатр сгорел, и мне было ужасно жалко это нелепое, дорогое моему сердцу капище. На его месте выкопали пруд — красивый, с фонтанами, ночным подсветом, и он был очень здорово расположен — прямо против входа, но мне все равно было жалко, что кинотеатр сгорел, лучше бы пруд в другом месте сделали. И чего-то мне не хватало без моего уродливого дорогого кинотеатра, не хватало мне чего-то в парке, стал он какой-то чужой, и я перестал ходить в него.

А теперь здесь было красиво, тихо и пустовато — осень сама, одна, гуляла по парку. Кругом было полно желтого света, какого-то робкого, вялого, и деревья стояли без теней, а листья громко, как сучья, хрустели под ногами, и деревья — коричнево-черные, с голыми ветками, как на цветных линогравюрах. И в этот будний осенний день было так тихо здесь, что музыка, срываемая ветерком с далеких репродукторов, держала тишину в синеве неподвижного воздуха, как в раме. Я шагал по бурой, уже умершей траве и думал о том, что когда моим детям будет по тридцать лет, если они вообще-то будут, дети, то к тому

времени Сокольники превратятся в такой же вычищенный и выбритый газон, как Александровский сад, и если я надумаю им рассказать, что это Шервудский лес моего детства, то они посмотрят на меня, как на старого дурака. Все меняется очень быстро. Как сказала бы в этом случае Марина Колесникова, «сильно прет структурализм». Я вспомнил о ней потому, что, пока я шел через этот прекрасный, приготовившийся к зимней спячке лес, мой Минотавр почти совсем откинул хвост, он еле дышал, так хорошо и спокойно мне было от свидания со своим детством. И никакие гнусные мысли и чувства не обуревали меня, и очень мне хотелось, чтобы все пришли повидаться со своим детством, очистившись от всей той пакости, что прилипает к нам — волей или неволей — в дни наших нелегких блужданий по коридорам и закоулкам жизни.

Но когда я увидел на двухэтажном кирпичном доме в глубине парка короткую табличку «Институт токсикологии. Лаборатория», Минотавр пробудился и шепнул: давай, иди, спроси у Иконникова, почему он ненавидит Полякова, наверняка ведь плохой человек этот Иконников, и, смотри, спрашивай похитрей, с подковыркой этак…

Я дернул черную, обитую клеенкой дверь и вошел в лабораторию. Не вестибюль и не прихожая — так, сени, в которые выходят две двери. Я постучал в правую дверь и услышал глухой, надтреснутый голос:

— Войдите!

За столом окрашенной белилами комнаты сидел рыжий человек с бородой колом и держал за голову змею. Белый, в палец величиной зуб выпирал у нее из пасти и что-то апельсиново-желтое капало с этого клыка в мензурку. Человек поднял на меня бледное морщинистое лицо и сказал:

— Стойте у двери. Не бойтесь.

И я почему-то сразу понял, что это Иконников, и Минотавр в моей душе бешено заплясал, запрыгал, задергался, будто знал, что так просто с этим человеком нам уж не разойтись…

Глава 5
Каин для кнутобоища

Приказчик пересчитал деньги и сложил их в замшевый мешочек-кошелек.

— Синьор Консолини просил передать, что всегда счастлив работать для вас, синьор Амати. Мы стараемся, чтобы наши футляры были достойным обрамлением ваших несравненных инструментов, — он согнулся в низком поклоне.

Мастер Никколо ехидно засмеялся:

— Еще бы! Вместе с моими скрипками этот прохвост Консолини проносит во дворцы и свое имя. Клеймо на футляре, наверное, не забыл, поставил? А-а?

— Вы так проницательны, маэстро! Конечно, синьора Консолини не интересует выгода от ваших заказов. Он верит, что его скромное имя пребудет где-то поблизости от лучезарной славы Амати, судьба которого — остаться в веках, — пятясь к двери, приказчик от полноты чувств прижимал руки к сердцу.

— Поэтому футляр стоит на два флорина дороже? — поинтересовался Никколо.

— Прошел год, и синьор Консолини надеется, что за это время ваша скрипка стала дороже на тысячу флоринов, — дерзко сказал приказчик.

— Вон отсюда! — рявкнул Никколо, и приказчик словно прошел паром сквозь дверь. Амати засмеялся и сказал: — Дурак твой синьор Консолини. Эта скрипочка стоит уже пять тысяч дукатов. Вот так-то! Что, Антонио, дешевле ведь мы не отдадим ее, а?

— Меня это не касается, — сухо сказал ученик. — Я у вас все равно ничего не получаю. Я работаю за хлеб и науку…

Амати, пританцовывая, прошел по комнате, и живот ему предшествовал, как океанская волна грохоту прибоя. Он открыл крышку черного кожаного футляра — тяжелого, массивного, важного. В открытом сером бархате обивки таинственно темнело углубление для скрипки — сюда в богатые створки пустой еще раковины-жемчужницы ляжет перл, творения Амати, чудо пальцев и слуха его, всплеск памяти его обо всем светлом и горестном, что довелось услышать и увидеть за долгий век. Антонио смотрел в пустой футляр и думал о том, что пустота эта — ожидание перед священным таинством, волнующее неизведанным и тревожащее своей отрешенностью — как

постель новобрачных.

Так радуйтесь, футляры Консолини! Вам доверены прекрасные невесты из дома Амати! В тот день, когда они только задуманы, прекрасные дочери Амати, они уже обручены с лучшими женихами Европы. Ваши женихи, дочери Амати, — пальцы герцогов и банкиров, кардиналов и маркграфов! И никто не спрашивает вас, прелестные маленькие Амати, нравятся ли вам женихи, — они заплатили за вас звенящие флорины и дукаты, цехины и пиастры. Их звон — твердая плата за долгие годы ваших страданий с нелюбимыми мужьями — толстыми, грубыми, бесчувственными и злыми, и голос ваш хрипнет от болезненных вскриков в ярости горьких услад ваших мужей. Но и они знают, что держат вас для любовников, ибо только ненадолго случайный талант может получить вас в объятья — купить ваше счастье талант не может, поскольку за радость обладания вашим волшебным звуком он должен расплатиться злым звоном желтого металла, а таланты всегда бедны. И от сознания временности вашего совместного счастья, от неудовлетворенности всем прожитым доныне, от серой мглы завтрашних тупых неумелых ласк мужа вы, маленькие Амати, сливаясь с талантом

в экстазе, поете так, что про вашего отца-создателя говорят, будто он колдун. И от этого вы становитесь еще завлекательнее. Так пойте же, скрипки Амати! Пойте выше, теплее и сильнее. Сегодня последний день вы дома. Завтра возведут вашу младшую сестру на бархатное ложе футляра Консолини, на тряских мальпостах и в фельдъегерских колясках помчат в унылый сырой замок курфюрста Прусского и там ей придется долго и безропотно сносить жестокие ласки маленького наследника, пока не придет, спустя множество лет наследник, успеет стать монархом и, отцарствовав, умереть от старости, а она все будет юной и прекрасной, — много лет спустя придет талант, о котором мечтали ваш создатель и его молодой неумелый подмастерье, придет и ласковой, но сильною рукою вновь вызовет к жизни ее бессмертную душу — душу дочери Амати!..

Страдивари оторвался от своих размышлений и увидел, что держит в руках скрипку и бессознательно поглаживает ее по деке, как маленького ребенка. Скрипка, маленькая молчащая виолина, золотистая и округлая, как грудь деревенской девушки, светилась теплом и нежностью. Амати сидел в своем резном деревянном кресле, пил прямо из оплетенной фляги белое тосканское вино и

с любопытством смотрел в упор на Антонио.

— Учитель, извините меня за дерзость, но вы же и так богаты! — сказал прерывающимся голосом Страдивари. — Зачем вы продаете свои скрипки этим болванам? Пускай скрипки лежат дома, ведь вы же сами говорите, что с каждым годом они становятся дороже!

Амати развязал на брюхе испанский кушак, облегченно вздохнул, угнездил ноги на маленькой скамеечке.

— Дочь в семье должна выйти замуж, — сказал он. — А творенье мастера должно прийти к людям, иначе он умрет как созидатель. Если бы мои скрипки никто не покупал, я раздавал бы их даром.

— Но люди, к которым они попадают, не отличат ваш инструмент от балаганной виолы. Они платят за ваше имя и футляр Консолини!

— И в этом ты прав, мой мальчик. Но есть одна тонкость, которой ты пока понять не можешь. В твоем возрасте все оценивается меркой сегодняшнего дня, а жизнь твоя кажется бесконечной. И слова: «Начало человека — прах, и конец его — прах: он подобен разбившемуся черепку, засыхающей траве, увядающему цветку, проходящей тени...» — для тебя это только слова.

А для меня это уже завтра. Поэтому я думаю о том, какую тень оставлю, проходя по жизни. И когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты поймешь, что тень жизни нашей — это творение рук наших. Вот это — уже незасыхающая трава и неувядающий цветок. Это инструменты, которые проживут века, принося людям счастье. Еще и не родились композиторы и музыканты, которые оценят по-настоящему скрипку, что ты трепетно сжимаешь в руках. Их слава и музыка впереди. Пройдут века, и мы с тобой не узнаем даже, какие божественные звуки может извлечь из этого обиталища музыки гений. Но скрипки будут жить и тогда, когда умрут эти люди, ибо бессменен круговорот людской жизни, как восход и уход солнца, как прилив и отлив океана, и потребность людей в прекрасном бессмертна. И не дано нам с тобою знать, кто и для кого будет играть на этой маленькой виолине, потому что века — это, мой мальчик, очень много времени…

* * *

Характер человека — это его судьба, говорили древние греки, — сказал спокойно Иконников. — А они, греки, значит, были ребята куда как неглупые…

Я спросил:

— Так вы что, на характер жалуетесь?

Он удивленно посмотрел на меня:

— А почему вы решили, что я недоволен своей судьбой?

Я неопределенно хмыкнул. Иконников достал из стеклянного шкафчика жестянку, не спеша снял крышку и стал насыпать в нее из разных пачек табак. Он насыпал «Капитанского», добавил щепоть «Золотого руна», из стеклянной баночки — зеленого самосада и потом уж — совсем немного, бережно, как приправу, — голландского табака «Амфора», который он очень аккуратно сыпал из нейлонового мешочка с красивыми печатями и рисунками с вензелями. Потом убрал пачки, закрыл крышку и стал трясти жестянку ровными круговыми движениями, как бармены трясут шейкер с особым коктейлем. Взял листок папиросной бумаги, насыпал свой табачный коктейль на одну сторону, мгновенно свернул самокрутку, лизнул край, склеил — получилась удивительно ровная, очень длинная сигарета. И прикурил. А я все время смотрел на его пальцы — длинные, худые, видимо, очень сильные, пожелтевшие от табака и химикатов, и последняя фаланга у ногтей совершенно сплющенная, на

всех пальцах у него была приплюснута последняя фаланга, поэтому казалось, будто он держит свою необычную сигарету широкими захватами пластмассовых плоскогубцев.

Синим облачком пополз по комнате дым, а Иконников сказал:

— Как я понимаю, вы раза в два меня моложе?

— Примерно, — кивнул я, хотя знал, что я моложе его ровно на двадцать восемь лет.

— И при всем уважении к вашей работе я полагаю, что в оставшиеся вам годы жизни быстротекущей вы не подыметесь так высоко, как я, и не падете так низко, — сказал он и быстро добавил: — Я имею в виду, конечно, вопросы творчества в работе. Поэтому вы не можете судить, насколько удачной была моя судьба…

Я промолчал на всякий случай, а он, глядя в угол, где в клетке веретеном ходила огромная змея, сказал:

— Биологически человеку предопределено стремление побеждать. Это условие — непременное и естественное условие его существования. Поэтому люди ошибочно полагают, что и в сфере моральной залогом счастья является число одержанных ими побед — в обществе, дома, на службе.

— А что является счастьем? — спросил я.

— Познание самого себя. Познать себя можно только в покое. А покой мы обретаем, проходя сквозь боль и стенания. И познав покой, уже никогда не жалеешь о том, что было, не волнуешься о том, что будет, а просто живешь в настоящем, и ощущение этой осени, выгоревшего огромного неба над тобой, простора, воздуха, моря золотых листьев, всего прекрасного и ужасного мира вокруг — вот счастье.

— У вас идеалистическое мироощущение, — сказал я нравоучительно.

— Да как там ни называйте, — усмехнулся Иконников, — а для меня это так…

— И змеи — тоже счастье? — спросил я ехидно.

— А что змеи? Змеи — это прекрасное творение природы, грациозное, смелое, полезное. И незаслуженно оклеветанное человеком из слабости и страха.

— Н-да? — неуверенно бормотнул я.

— Им даже разряд придумали оскорбительный — «гады». Это же надо — гады? — сказал он с недоумением.

— Но они же и есть гады, — сказал я, — жалятся ведь, проклятые.

Он с сожалением взглянул на меня:

— Тогда давайте запретим автомобили. Людей ведь давят, проклятые, — передразнил он меня.

— Ну, это не сравнение, — не согласился я.

— Почему? Вполне правомерное сравнение, — твердо сказал он. — Количество пострадавших от змеиных укусов по отношению к исцеленным их ядом гораздо меньше числа автомобильных жертв. Вот взгляните…

Иконников отдернул со стены занавеску, и зрелище я увидел кошмарное. Только теперь я понял, откуда идет все время беспокоивший меня шорох и еле слышное шипение — стена за занавеской сплошь состояла из змеиных клеток.

— Взгляните, какие красавицы, — сказал Иконников, — это королевская кобра…

Змея подняла расплющенную морду с черными обводами вокруг мертвых пуговиц-глаз и посмотрела на нас сонно, прожорливо-тупо.

— А это южноамериканская змея фер-де-ланс, — этот гад был похож на модные лет пятнадцать назад коричневые плетеные брючные ремни, только изо рта все время вылетал и мгновенно исчезал в пасти, будто ощупывал дорогу, раздвоенный, как рыбная вилка, язычок. — Ее укус поражает человека, как выстрел в висок… — продолжал Иконников. — А это египетская кобра. Я

ее называю «Нюся», старая моя приятельница…

— Почему?

— Укусила она меня как-то случаем…

— И что?

— Как видите — отходили. Это зеленая мамба, очень полезная животина. Это австралийская тигровая змея. Никак я ее не приручу. Вот если она цапнет — то все, пиши пропало. А это мой любимец — крайт голубой…

Полутораметровое полено, серое, с еле заметным голубым отливом, как сгнивший ольховый ствол, валялось в клетке. Набрести на такого в лесу — обязательно наступишь. От этой мысли у меня прошел холодок по спине.

— Вот наши среднеазиатские обитатели — гюрзы и эфы, а это коралловый аспид…

Ничего омерзительнее этого аспида в жизни я не видел. Бледно-розовый, с коричневыми и золотыми разводами, гладкий, он свернулся пожарной кишкой, подняв над этим противным клубком заостренную синюю головку с невыносимо красными злобными глазами, тускло мерцавшими, как сигнал жуткой опасности — безжалостными, ледяными, спокойными. Змея была мне противна, но я не мог оторвать от нее взгляда, а она смотрела на меня, будто звала —

иди сюда, иди…

Я тряхнул головой, чтобы сбросить это наваждение, и увидел в последней клетке несколько ежей и большую рогатую жабу, и обрадовался им, будто где-то на полпути через Сахару встретил живого человека. Ежи суетливо топотали лапками, бегали по клетке, как по карусельному кругу, а жаба, добродушная, безобидная, старая, сидела в середине и дремала.

— Не понравились, я вижу, вам мои питомцы? — спросил с насмешкой Иконников.

— А что же в них может понравиться? — спросил я угрюмо.

Иконников засмеялся:

— Эх, люди, люди, как же закоснели вы в своих предрассудках. А то, что ядом этих гадов лечат от лихорадки, оспы, проказы, артритов, ишиаса, радикулита, эпилепсии, ревматизма — это как?

— Так если я от гриппа сульфадимизином лечусь, мне что — формальдегид любить, что ли?

Он махнул рукой:

— Не в этом дело. Просто отношение к змеям характеризует общую человеческую тенденцию слагать на других ответственность за свой страх, невежество, беспомощность…

— Ну, не такие уж они плохие, люди-то. Нет

смысла обобщать. Я хоть вас и моложе, но плохих людей повидал достаточно, и то…

— Что «и то…»? Мол, лучше к людям относитесь? Так вы служитель закона, вам и полагается быть бесстрастным. Хотя бесстрастие закона — одни пустые словеса.

— Это почему?

— Потому что закон претендует на роль высшей правды. А такой общей высшей правды, приемлемой для всех людей, по-моему, не существует. У каждого человека свои интересы, своя правда…

— Закон наш является высшей правдой нашего общества и охраняет солидарные интересы большинства людей.

— А! Большинство, меньшинство — это категории не нравственности, а арифметики…

— Но здесь арифметика неизбежно переходит в мораль…

— А что такое мораль? Мы же с вами говорили про высшую правду. Она не может меняться как прогноз погоды, а каждое общество порождает свою мораль. И доведенная до каждого отдельного члена общества, эта мораль всякий раз деформируется. Так было, так и будет.

— Отчего же у вас такой пессимизм?

— Потому что я точно знаю, что общество

нуждается в негодяях. Не будь их, не возникла бы разность нравственных потенциалов — не появился бы ток общественной морали. И мораль отсчитывают не от высот добродетели, а от глубин негодяйства! Это как абсолютный нуль — минус 273…

Я перебил его:

— Абсолютный нуль — это новорожденный младенец, не обладающий ни пороками, ни добродетелями. Общество и мораль формируют из этой психобиологической конструкции человека…

— Правильно! Если взять вашу систему отсчета, он идет после этого вниз, выступая чистым потребителем и целиком завися — всей жизнью своей — от воли и морали общества. А оно прививает ему потребности, и у вылупившегося человечка появляется своя правда, и он сразу же вступает в постепенно нарастающий конфликт с обществом…

— А почему обязательно в конфликт? — разозлился я.

— Потому что природой заложена в человеке потребность — побеждать — почитайте у Дарвина про естественный отбор. И мудрые люди — попы, кострами и плахой два тысячелетия

вбивавшие людям свой высший закон, декретировали для людей существование негодяйства, отыскав первого в мире козла отпущения…

— Это кого же? — поинтересовался я.

— Каина.

Иконников свернул себе новую самокрутку, прикурил, а я смотрел на его бледное морщинистое лицо, красную бороду колом, расширенные — во весь глаз — зрачки и думал, что, наверное, так выглядели упорствующие еретики.

— Если хотите, то в писаной истории Каин был первой жертвой необоснованных репрессий. Вчитайтесь внимательно в Ветхий завет, и вам, следователю, станет ясно, что Каин не убивал брата своего. Гордым и работящим землепашцем, честным трудягой был Каин. И политые его соленым потом хлеба, господу поднесенные, не понравились вседержителю. Ему больше по вкусу пришлись шашлыки прасола Авеля. И с пренебрежением, свойственным всем тиранам, он не скрыл этого от братьев, чем, естественно, обидел человека, вложившего в хлеба эти треклятые все свои силы. И Каин показал богу, что он обижен этим. А когда Авеля зарезали, скорее всего кочевники, которым его стада тоже были по вкусу, то появился «казус белли». Наконец,

возник момент, когда можно было показать людям, что на бога нельзя обижаться, даже если он не прав. Нашлась условная точка отсчета негодяйства — безвинный братоубийца. И объявился Каин, наказанный дважды, ибо богу было необходимо долгое существование живого жупела, и распорядился он, чтобы отмщен был всемерно, кто убьет Каина, поэтому даже в смерти бедолага не мог найти приют и успокоение… И для каждого здравомыслящего человека Каинова печать — не позорный знак, а сигнал о бдительности: осторожно! Кому-то нужен для публичного кнутобоища Каин…

Вот здесь в нашем разговоре возник контрапункт. Зря, конечно, он так четко, прямо в лоб отбил мне обратно вопрос, с которым я пришел сюда. И он это тоже почувствовал, мы одновременно поняли это. Пока он заманивал меня в мрачный извилистый туннель своей логики, извивающейся устрашающими причудливыми петлями, как лежащий в углу аспид, я невольно шел за ним, потому что там — в самой глубине, в конце этого непонятного узкого лаза — могло быть понимание его личности, причин конфликта с Поляковым и его роли в похищении «Страдивари». И тут тон и направление задавал

он, потому что это я пришел к нему в душу, мне очень хотелось поглядеть на его Минотавра. Но он допустил неточность, как увлекшийся маркшейдер, и штрек неожиданно вышел наверх, к поверхности, рухнул тонкий слой грунта, и мы оказались оба на свету, ослепительно ярком, режущем глаза нерешенностью стоявшего между нами вопроса. И очередь на слово была за мной.

— Я вас понял. Но мне не нужен Каин для кнутобоища. Мне нужен в первую очередь вор для того, чтобы отобрать скрипку…

Иконников сухо, скрипуче засмеялся:

— Вот, наконец, все и стало на свои места. Я во всем ясность люблю. Допрос так допрос, а промывание мозгов — эти процедуры не для меня. Итак, что вас интересует?

Я взглянул на него, и мне вдруг ужасно захотелось закурить такую же, как у него, длиннющую самокрутку, набитую необычным табачным коктейлем, от которой слоился, оседал к полу пластами густой ароматный дым.

— Я не настолько глуп, чтобы агитировать вас за проявление общественной сознательности…

— Смешно бы было, — усмехнулся он.

— …но мне надо, чтобы вы ответили на несколько неофициальных вопросов. Можно?

— А вы попробуйте.

— Почему вы враждуете с Поляковым? — Задавая этот вопрос, я был уверен, что он не станет отвечать на него.

— А я с ним не враждую. Это обывательские сплетни, — спокойно сказал Иконников. — Мелкие люди компенсируют пустоту своей жизни сплетнями о страстях знаменитостей.

— Эти сплетни имеют фактическое подтверждение. В виде свидетельских показаний.

— А вы плюньте на эти показания. Те, кто давал их, и не представляют, что существуют эпохи, разделенные, как галактики, барьерами времени: Вчера, Сегодня, Завтра. Что будет Завтра, того еще нет, и говорить об этом нечего, а что было Вчера — того уже нет. Вчера, когда оно еще существовало, я не любил Леву, это правда. А сейчас — нет. Нет его для меня, и дела его — радости и горести — не интересуют…

— А не любили за что?

— За что? — задумался Иконников. — Трудно сказать. Зависть? Нет, наверное — я ведь был способнее его. Не знаю, короче говоря. А скорее всего потому, что в нем было все то, чего мне не хватало, чтобы гением скрипки стал не он, а я. Вам это непонятно?

— Честно говоря, не очень.

— Как говорил наш добрый старик педагог, о-бя-сня-й-ю. Это было лет сорок назад, мы еще совсем молодые были. Дебют в Москве — шутка ли! Я был тогда немного не в форме, а Лев играл труднейший концерт Пуньяни и сыграл его с блеском. Приняли его великолепно. Возвращаюсь ночью в гостиницу, веселый, с гулянья и слышу, из номера Льва раздается мелодия каденции, вторая часть, и снова, и снова — раз за разом, раз за разом. Я прислушался и понял, что он один заметил ошибку при исполнении — брал слишком низкие ноты, и сейчас после триумфа один, в гостиничном номере, наверное и не поужинав, отрабатывает этот кусок. Которого и не заметил-то никто! Раз за разом, раз за разом, снова, снова, снова… Тогда, в коридоре, эта жалкая, не замеченная никем ошибка в каденции Пуньяни прозвучала для меня колоколом судьбы. Но я не услышал его — очень был силен шум оваций. А он все набирал полет, тихенький, застенчивый, добрый, а я все был уверен — ерунда, я ведь много способнее его, это же всем известно. Пока однажды не понял, что он от меня оторвался навсегда — мне его уже было не догнать. Он ведь мог после овации один в пустом гостиничном номере раз за

разом, снова и снова играть кусок из всеми забытого Пуньяни… Вот он и определил мою судьбу…

— Не вытекает из вашего рассказа, — сказал я.

— Почему же не вытекает? — раздраженно заметил он. — Это ведь сыщиком можно быть вторым, четвертым или восемнадцатым — все пригодятся. А скрипач, если он только не перед киносеансом в фойе играет, может быть только первым. Быть вторым уже нет смысла. Неинтересно, да и некрасиво…

— Да, — кивнул я, — если характер человека — его судьба.

— Конечно. У каждого судьба своя и своя правда.

— Но ведь правда Полякова, вот та правда, что ковалась смычком в одиноких гостиничных номерах на каденциях Пуньяни, вашей жизненной правде никак не противостоит! В крайнем случае они, ваши жизненные правды, могли сосуществовать параллельно!

— Думаете, не противостоит? — прищурился Иконников и отогнал рукой дым от глаз. — Тогда ответьте мне: что заставляет его — признанного миром гения, окруженного восторгом и поклонением, искать дружбы со мной, нелепым, взбалмошным человеком, которого многие по-

просту считают сумасшедшим?

Я помолчал, стараясь точнее подобрать слова, но он, не дождавшись, спросил:

— Молчите? А вот мне Гриша Белаш рассказывал недавно, что Лева снова собирается ко мне приехать, говорить о наших неправильных отношениях. А какие у нас отношения? Так, пар, воспоминания…

— А вам не кажется, что Поляков просто добрый, хороший человек, что он, возможно, мучится от мысли, что весь этот ваш змеевник — шутовской колпак, который вы добровольно, назло людям натянули на себя!

Иконников тихо, почти шепотом засмеялся:

— До-о-брый? Ха-ха! Он мучится от комплекса вины, от того, что незаконно занял чужое место, и его снедают стыд и мысли об обворованном им человеке. Вот теперь у него украли только инструмент — пусть узнает, каково было человеку, у которого украли дело его жизни!

Мы посидели молча, и я думал о том, что ничего не может распрямить его безобразно искривленную убежденность в том, что ответственность за его крах несет кто угодно, только не он сам.

Иконников бросил в пепельницу окурок, встал и подошел к клетке с коралловым аспидом. Змея

медленно повернула к нему острую голову, завораживающе впилась в него мерцающим красным взглядом. Иконников приоткрыл окошечко в пластмассовой стенке, и гад начал плавно, незаметно вытягиваться, распрямляться, он весь струился розовым гладким телом, будто ночной подсвеченный фонтан, но струя его не падала, а все тянулась, медленно росла вверх, пока эта противная острая головка с белыми ровными обводами глаз не вылезла наружу. И в тот же миг, это произошло молниеносно, Иконников схватил сильной, точной, длинной кистью змею чуть ниже головы, за шею и поволок ее наружу, из клетки.

Он сделал два шага к столу, и я увидел совсем рядом — только руку протянуть — маленькую змеиную пасть с белым крючком ядовитого клыка. Трехметровая змея вилась по полу, сворачивалась кольцами, с шумом и шелестом ударялась по кафелю, обвивала серпантином ноги Иконникова. Он был похож в этот момент на пожарного со взбесившимся шлангом в руке.

— Вы не видели, как змеи атакуют? — донесся до меня откуда-то издалека голос Иконникова.

Мелькнула бесполезная мысль о бессильном пистолете на поясе — пока я дотянусь до кобуры,

змея вопьется в меня, как дротик.

Вдруг пальцы Иконникова на шее аспида чуть-чуть ослабли — я видел это, я готов поклясться, что он разжал кисть, и змея рванулась ко мне, как будто он выбросил из рукава клинок. Переливающийся корпус аспида висел в воздухе совершенно горизонтально, а пасть с рубиновыми пуговками глаз замерла в полуметре от меня.

Иконников с любопытством взглянул на меня — видимо, я сильно побледнел, и засмеялся:

— Не бойтесь. Она у меня почти ручная…

Он взял со стола мензурку, затянутую поверху нейлоновой пленкой, и поднес ее к пасти аспида, и сразу же змея сделала рывок, удар, тихий треск — клык пронзил пленку, и я увидел, как из него цевкой брызнула тоненькая струйка желтой жидкости…

Честно говоря, я плохо помню, как он запихивал змею обратно в клетку, долго мыл под краном руки, потом подошел к столу и сел как ни в чем не бывало.

— Это вы сделали, чтобы попугать меня? — спросил я, и голос мой звучал хрипло, а по лицу стекали капли пота.

— Зачем же? — почти весело сказал Иконников. — Вам так не понравился аспид, а я вам

сберегу эту порцию яда…

— А для чего?

— У вас, у сыщиков и гениев, работа очень нервная, сердце быстро изнашивается. Наверное, как свое сработается, захотите на новое сменить. Операции по пересадке теперь в моде. Вот без яда аспида организм ваш отторгнет новое сердце. А яд этот сделает ваш организм спокойнее, сговорчивее, подавит он его, обломает, и заживете вы себе второй, новой жизнью, которая будет краше предыдущей…

— А себе вы припасли такой?

— Мне не надо, у меня сердце хорошее, спокойное. Я ведь узнал покой. Кроме того, мне и одной жизни много. Это только гении нужны человечеству вечно…

Я встал и сказал ему:

— Все это ложь, вся жизнь ваша и философия — ложь и змеевник — ложь, потому что вы устроили из него для себя заменитель острых переживаний, страхов, радостей и страстей, которые переживает настоящий артист. Вы и змей-то своих наверняка боитесь, так же как и я, но они вам необходимы для внутреннего самоутверждения. Ладно, если вы мне понадобитесь еще, я вас вызову. До свидания…

Я вышел на улицу, вдохнул полной грудью студеный чистый воздух осени и подумал, что прошедшие два часа были похожи на какой-то нелепый вздорный сон, фантасмагорию еще дремлющего сознания. И только одно ощущение осталось четким: он меня пугал. Зачем ему надо было меня пугать?..

Я шел не спеша через парк и пытался привести хоть в какой-нибудь порядок свои впечатления, сделать выводы, принять решения. Но ничего из этого не получалось — Иконников не влезал ни в одну из понятных мне человеческих категорий. Интеллигентность, позерство, обиженность, острый ум и злая ограниченность, поиски счастья и покоя в змеевнике, борьба за какую-то микроскопическую воображаемую правду, Каин, концерт Пуньяни, аспид, вылетающий из его руки, как клинок, — все перемешалось у меня в голове в невероятный калейдоскопический хаос, мелькало, прыгало, не давало собраться с мыслями…

Потом всплыло в памяти имя, засыпанное обвалом искореженных мыслей, оседающих после взрыва иконниковского покоя. Гриша Белаш… Гриша Белаш… Я уже слышал это имя, но не мог вспомнить, в какой связи. Я остановился у автоматной будки и позвонил Лавровой. Никто не

отвечал по ее номеру, и я уже собрался положить трубку, но в аппарате вдруг щелкнуло, и я услышал запыхавшийся голос Лены:

— Инспектор Лаврова у аппарата.

— Добрый вечер, это я…

Она отдышалась и сказала:

— Я из коридора услышала звонки и пока добежала…

— И мировой рекорд в спринте остался незафиксированным, — сказал я.

— Ничего, стоит вам позвонить, и я повторю его, — сказала она. — А вы откуда?

— Из парка. Я прогуливаю себя в пустом вечернем парке. Красиво здесь очень…

Лаврова помолчала, затем спросила:

— Вас в это настроение вверг дрессировщик змей?

— В какой-то мере. Скажите, Лена, вам имя Григорий Белаш не знакомо?

— Знакомо. Я с ним уже разговаривала. Это настройщик роялей, он проходил у нас по четвертой линии. Так сказать, сфера обслуживания… Вы читали протокол его допроса.

Я вспомнил. Григорий Петрович Белаш, настройщик, регулярно бывает у Полякова, характеризуется с наилучшей стороны, во время кражи

находился в командировке, алиби проверялось — результат положительный.

— А личное впечатление какое у вас осталось? — спросил я.

Лаврова подумала мгновение, будто вспоминала, и я представил, как она пожимает плечами, и ей это неудобно делать, потому что телефонная трубка прижата плечом к уху — руки-то заняты, — она наверняка уже достает из пачки сигарету, и зажигалка только чиркает, но не горит. Она не то вздохнула, не то затянулась, сказала:

— Приятное впечатление. Человек умный, наблюдательный, по-моему, весьма искренний, держится достойно. Ну и как пишут в ориентировках: «Рост — высокий, телосложение — худощавый, лицо — белое, привлекательное, глаза — карие…» А может быть, и не карие. Это я так, к примеру сказала…

— А вы не можете ему так, к примеру, позвонить и пригласить снова к нам?

— Могу, конечно. А что — интересует он вас?

— Он нет. Меня Иконников интересует.

— Но-о? — удивилась Лаврова. Этот странный возглас выражал у нее крайнее удивление. — Что-нибудь серьезное?

— Да, у нас с Иконниковым серьезно, — улыбнулся я. — Он меня или пугал, или хотел укусить…

— Укусить? — удивилась Лаврова. — В каком смысле?

— Это я так, к примеру. В фигуральном смысле. Значит, насчет Белаша договорились? Завтра, к десяти.

— Договорились.

— А что у вас слышно? С билетом? — поинтересовался я.

Лаврова снова помолчала, потом не очень уверенно сказала:

— Я думаю, у Обольникова надо обыск сделать. Билет скорее всего был его…

— Это так в парке считают? — спросил я.

Лаврова разозлилась:

— Нет, это я так считаю!

— Расскажите мне тоже, — попросил я.

— Пожалуйста. Но я боюсь, пока мы будем вести все эти переговоры, зональный прокурор уйдет домой. А нам санкция понадобится…

— Вы уверены, что понадобится? — спросил я осторожно.

— Абсолютно, — сказала твердо Лаврова.

— Я, правда, не представляю себе, что мы там

можем найти, — продолжал тянуть я.

— Между прочим, я тоже не рассчитываю найти у него скрипку под диваном…

— А что рассчитываете?

— Не знаю, — сердито сказала Лаврова. — Но отрицательный результат — это тоже результат.

— Трудно спорить. Ну что ж, валяйте. Встретимся через час на Маяковской…

Привалившись спиной к стене, я стоял у входа в метро и ждал Лену. Мимо шли люди, очень много людей, и каждый из них, наверное, нес груз забот, не меньший, чем я. Миры, целые миры потоком шли мимо меня. Господи, сколько же может вместить в себя один человек! Миры, прекрасные и унылые, ликующие и мрачные, высокоорганизованные и почти умершие, шли плотной толпой — через двери метро «Маяковская» в часы «пик» протекает Млечный Путь, целая вселенная. Люди казались мне громадными непостижимыми, таинственными планетарными системами, и познать все уголки их природы было невозможно даже с помощью фотонных ракет, которые не знают времени, а подчинены только пространству. Стучит турникет на входе, дверь — вперед, дверь — назад, люди — вверх, люди — вниз. Благодушные Моцарты, обиженные Сальери, усталые

трудяги, кипучие лентяи, одинокие красотки, а уродки — нарасхват, смелые воры и осторожные сыщики. Только почему осторожные? Говори уж попросту — испуганный сыщик. Он ведь здорово напугал меня. Ах, как окреп и вырос сегодня мой Минотавр! Он налился моим испугом, как волшебной силой. Сегодня он ведет в счете и потому молчит, довольный, сытый моим стыдом и горечью…

— Купите своей девушке свежие цветочки…

Передо мной стояла цыганка, на левой руке у нее мальчуган, а в правой — целая охапка астр. Астры были фиолетовые, поздние, грустные и остро пахли землей.

— Сколько стоит? — спросил я осмотрительно.

— Всего рубель букетик, — ответила она снисходительно.

— И по старому рубль букетик стоил…

— Вот ты на старый рубль и купи тех астр, что тогда продавались, — сказала она весело.

Я протянул ей монету, и моя милицейская душа все-таки не выдержала, и я ворчливо сказал ей:

— Лучше работать шла бы…

— А ты спроси у ненаглядной своей, которой цветочки купил: лучше будет, если я работать пойду?

— Та, которой купил, думает, наверное, что лучше, — усмехнулся я и вспомнил, что мы с ненаглядной моей, той, которой цветочки купил, идем делать обыск, и коловращение миров вокруг сделало новый вираж. Елки-палки, глупость-то какая — на обыск с цветочками! Цыганка уцепилась за какого-то толстого дядю, а я стал оглядываться по сторонам в поисках урны, куда можно бросить цветочки, те, которые своей ненаглядной купил, и увидел на первом столбе колоннады Концертного зала Чайковского афишу: «Лев Поляков. Сольный концерт. В программе — Вивальди, Паганини, Боккерини, Сен-Санс…» А Гаэтано Пуньяни не было. Видимо, крепко запоминаются ошибки, которые долгими ночными часами исправляются после оваций в пустом гостиничном номере.

И может быть поэтому — трудно узреть причинную цепь во взаимодействии людей-миров, — но возможно поэтому через афишу поперек размазалась розовая, как аспид, полоска с черными жирными буквами — «ОТМЕНЯЕТСЯ»… Билеты можно вернуть в кассу, но они остаются действительными, поскольку «о новом сроке концерта будет сообщено дополнительно».

Придется подождать, товарищи зрители. Ге-

нии-скрипачи ведь тоже люди — они могут в день концерта заболеть, у них могут возникнуть «семейные обстоятельства». У них могут украсть инструмент…

— Вы кого-нибудь ждете еще?

Лаврова, засунув руки в карманы плаща, сердито смотрела на меня.

— Только вас, Леночка…

— А что это?.. — она показала на букет.

— Цветы, — сказал я. — Вам.

Она небрежно кивнула головой — спасибо, будто я каждый день подносил ей букеты. Особенно когда мы отправлялись на обыск. Наверное, это было написано на моем лице, потому что она засмеялась:

— Как все злые люди, вы сентиментальны. Вы хотели бы, чтобы я бросилась к вам в объятья?

— А почему вы так уверены, что я злой человек?

— Не знаю. Мне так кажется.

— А может быть, наоборот? Это у меня маска такая, а на самом деле я тонкий и легкоранимый человек? Где-то даже чувствительный и нежный? И воспитываю семь усыновленных сирот?

— Так ведь не воспитываете же! — махнула она рукой.

— Тоже верно, — согласился я. — А что с Обольниковым?

Она взглянула на меня с сожалением — ей, видимо, хотелось продолжить беседу о моих недостатках. Я бы, может, и не возражал, если бы нам не идти на обыск. А я уже и так сильно устал, спать сильно хотелось.

— На билете есть серия и номер, — сказала Лаврова. — В Управлении пассажирского транспорта мне сказали, что это серия 1-го троллейбусного парка…

— Это я уже знаю…

— Тогда не перебивайте, — сердито остановила она. — В парке, в отделе движения значится, что серия ЩЭ-42… выдана на 20-й маршрут. Разряд билетов 423… выдавался в машине номер 14–76. Водители троллейбусов на конечных остановках маршрута записывают в блокнот движения номеров билетов в кассах. На билете, найденном нами, номер 4237592. 16 октября водитель Ксенофонтов записал на станции «Серебряный бор» в 22.48 номер билета — 4237528. Через 64 номера оторвал билет его хозяин. По расчетам Ксенофонтова, это могло произойти на перегоне от остановки «Холодильник» до остановки «Бега». А таксомоторный парк, в котором работает Обольников, находится

как раз на этом перегона.

— Это интересно, — сказал я. — Но 16 октября он уже…

— …был в больнице, — закончила Лаврова. — Я помню. Тем не менее пренебрегать этим раскладом мы не можем…

— Не можем. Нам бы для этого кнута еще лошадь подыскать, — сказал я. — Некуда нам этот расклад приложить.

— Так что, обыск не будем делать?

Я подумал минуту, потом сказал:

— Не знаю. Давайте пока просто поговорим с его женой.

— В каком смысле?

— В том, что Обольников сидит себе преспокойно вместе с остальными алкашами в клинике, а обыск мы будем делать у его жены. Ему-то плевать, такие стыда не знают, а ей позор на весь дом — понятых ведь надо звать, соседей. А он и так ее в гроб раньше срока загонит…

Лаврова пожала плечами:

— Вулканический всплеск сентиментальности. Я же говорила…

— Ага, — кивнул я. — Это у меня от злобности. Но тут ничего не поделаешь. Как сказал мне сегодня Иконников, у каждого своя правда.

Мы вошли в подъезд.

— Давайте выкинем цветы, — предложил я.

— Зачем? — Лаврова потянулась на цыпочках и положила букет на какой-то электрический ящик с нарисованным черепом. — Назад пойдем, тогда заберем. А пока их черепушка постережет…

— Вроде и грехов я таких не совершала, чтобы так строго взыскивалось, — устало говорила Евдокия Петровна Обольникова. Руки ее, тяжелые, натруженные, бессильно лежали на столе.

— Евдокия Петровна, мы же вас тоже расспрашиваем не потому, что нам другого занятия не найти, — сказала Лаврова. — Но ваш муж ходил в квартиру к Поляковым…

— Не касаюсь я его, — сказала женщина. — Пропади он пропадом, мерзкий. Все, что мог, отравил, испоганил.

В комнате было удивительно пусто, необжито. Евдокия Петровна подняла на меня глаза и перехватила, видимо, мой взгляд.

— Смотрите? Сарай наш пустой оглядываете? А что делать? Гена перед самой армией себе куртку кожаную купил, радовался, молодой ведь, — ему, понятное дело, приодеться хочется. Недоглядела я, так этот проклятый унес ее и пропил. Все, что осталось, к дочке перенесла…

— А где же вещи вашего мужа? — спросила Лаврова.

— А какие же вещи у него? — удивилась Обольникова. — Что на нем — вот и все его вещи. Дочка мне в кредит холодильник купила, так я к ней на неделю как уехала — внучок прихворал, он и холодильник вытащил из дому. Так опился тогда, что чуть не помер. Одно жаль, что чуть не считается… Стыд ведь какой — у человека внуки, а я за получкой его на работу езжу.

— А как вы к нему на работу добираетесь? — спросила Лаврова. — Я имею в виду, транспортом каким?

— Троллейбусом двадцатым, не на такси же. Ох, горе мое горькое. За что мне только причитается такое? И за душегубство каторгу на срок дают. А мне — пожизненно.

Так мы и ушли, не узнав того, что знала и видела эта усталая, замученная женщина, истерзанная страхом и ожиданием позора.

Глава 6
Фаза испепеления

Каноник Пьезелло провел ладонью по шантрели, погладил изогнутым смычком басок, и протяжный, неслышно замирающий звук надолго повис солнечной ниткой в мягком сумраке мастерской.

— Предай господу путь свой и уповай на него, и он совершит… — сказал каноник, и слова писания неожиданно прозвучали в этой длинной тишине угрозой.

Неловко завозился в углу Антонио. Амати бросил быстрый взгляд на ученика, прошелся по комнате, задумчиво посмотрел в окно, где уже дотлевали огни позднего летнего заката. Негромко щелкали кипарисовые четки в сухих пальцах монаха, его острый профиль со срезанным пятном тонзуры ясно прорисовывался на фоне белой стены. Беззащитная и беспомощная, будто обнаженная, лежала на верстаке скрипка, и когда жесткая рука монаха касалась ее, у Антонио возникало чувство непереносимой боли, словно монах прикасался к его возлюбленной. А мастер

Никколо молчал.

— Ты же сам говоришь, Амати, что скрипка — как живой человек… — говорил тихим добрым голосом каноник. — И если дух твой чист и господь сам идет перед тобой, то святое омовение в купели только сделает ее голос чище и сильнее, ибо вдохнет в нее промысел божий. Отчего же ты упорствуешь?

Амати вновь медленно прошелся по мастерской, и Антонио заметил, что его учитель очень стар. Старик тяжело шаркал толстыми, распухшими ногами по полу, он грузно уселся в свое деревянное резное кресло, взял в руки скрипку, прижал ее к щеке, будто слушал долго ее нежное сонное дыхание, провел пальцами по струнам, и скрипка сразу ожила, и плач и смех, веселье и грусть предстоящего расставания рванулись в этом коротком случайном пиццикато, и в верхней комнате еще долго была слышна дрожь ее испуга.

— Я делаю доброе дело, — устало сказал Амати. — И чтобы проверить, угодно ли оно богу, не надо портить скрипку…

— Я не понял тебя, сын мой, — быстро сказал каноник Пьезелло. — Разве что-либо доброе можно испортить омовением в святой воде?

Амати медвежьими, глубоко спрятанными глазками посмотрел на монаха, и Страдивари показалось, что учитель усмехнулся.

— Она хоть и святая, но все-таки вода, — сказал Амати.

— Что? — беззвучно шевельнул губами Пьезелло.

— Скрипка, говорю, размокнет. Пропадет инструмент…

Монах перегнулся через стол, сжав на груди руки так, что побелели костяшки.

— А может быть, ты совсем другого боишься? Может быть, ты боишься, что святое причастие изгонит голоса бесовские из твоей скрипки? Голос чрева диаволова пропадет? Этого испугался? Вельзевула кары боишься? А суда господнего не боишься?

Амати положил скрипку на стол, встал, лысина его покрылась плитами тяжелой темной красноты, и Страдивари испугался, что учителя хватит удар. Или что он монаха убьет.

— Тьма невежества затмила ваш разум, святой отец, — хрипло проговорил Амати. — Мои скрипки играют в папской капелле в храме святого Петра!

Он хотел сказать еще что-то, но острая звенящая

боль в сердце пронзила его, визгливо резанула в висках, захлюпала толчками у горла. Монах сказал тихо, но каждое слово будто приклеивалось к стенкам:

— Его преосвященство, епископ Мантуанский повелел тебе явиться к святой исповеди, а до этого пусть скрипки будут неприкосновенны…

— Эта скрипка заказана для инфанта испанского, — подал голос Антонио.

Монах, даже не повернувшись к Страдивари, сказал:

— И обещано тебе за нее одиннадцать тысяч пиастров…

Амати протянул скрипку канонику:

— Возьмите! Мне не нужно за нее ни одного байокко! Вручите этот дар епископу, пусть в своем доме он убедится, что греха в ней не более, чем в любом дереве, а ясной души…

Он не кончил фразы, ему было больно говорить, он сел и подпер голову кулаками. Только бы не догадался проклятый поп, как болит сердце. Пьезелло прижал к грязной сутане светло мерцающий инструмент, пожал плечами, задумчиво сказал:

— Я думаю, что его преосвященство согласится только на окропление скрипки святой водой.

Ритуал омовения будет совершен и так…

— Хорошо! Хорошо! Кропите! Омывайте! Делайте что хотите, только оставьте в покое! — с мукой закричал Амати.

— Гордыня овладевает твоим сердцем, сын мой, — сказал монах.

— Уйдите, святой отец, — синеющими губами пробормотал Амати. — Я вам и так отдал самое дорогое. Больше у меня все равно ничего нет…

Когда стало совсем темно, Антонио зажег свечу, притащил сверху из столовой фьяску тосканского кьянти, круг овечьего сыра и белого хлеба, разложил все это на верстаке и сказал:

— Поешьте, учитель. Когда я волнуюсь, мне всегда хочется есть…

Амати усмехнулся:

— Не ври. Ты всегда хочешь есть, даже если ты веселишься, а не волнуешься…

Старик окунул кусок хлеба в вино, нехотя пожевал, потом сказал:

— Страх — самое невыносимое, самое ужасное испытание, которому подвергает нас господь. Сильно испуганный человек — почти труп.

— А зачем вы отдали им эту несравненную скрипку?

Амати сильно потер ладонью красный склад-

чатый затылок — голова гудела надсадно, глухо, больно.

— Мальчик мой, запомни: когда за человеком бежит пес, надо бросить ему кость…

— Но они вам ничего не могут сделать! Ваши скрипки освящены признанием папы!

— Да, я, наверное, мог бы добиться у папы охранной грамоты.

— А в чем же дело?

— У меня нет времени воевать с ними. В молодости есть время для всего — можно воевать, учиться, любить, работать. А у меня осталось время только для работы, и его становится все меньше. Мои уши не слышат ничего более на свете, кроме двух звуков — моих скрипок и шума колес времени. Когда-нибудь, спустя десятилетия, тебя ждет открытие — ты тоже смертен, ты услышишь шум незримых колес, которые вращают мир, и с каждым их поворотом твоих дней становится все меньше, и тогда тебе надо будет ответить себе — все ли ты сделал, что мог, доволен ли ты прожитой жизнью?

— А вы все сделали? — спросил Страдивари.

Амати засмеялся:

— Мои дни еще не истекли, поэтому я еще не все сделал. И поэтому я не могу тратить время на

войну с епископом Мантуанским. Я хотел бы умереть вот здесь, за этим верстаком, умереть легко, быстро, без унизительных мук телесных, и тогда душа моя быстро придет в рай — я ведь совсем не имел времени грешить, я все время работал…

— Но ведь грех сладостен? — спросил Антонио. — И в искуплении прощается, а тайная радость памяти остается? Неужели вы ни о чем ушедшем не жалеете?

— Не знаю, — Амати задумчиво смотрел на пляшущий язычок пламени. — Человеку для познания счастья, говорят, надо пройти через нищету, любовь и войну. Я никогда не знал нищеты — Амати были богаты уже тогда, когда я в незапамятные времена появился на свет. И огромная любовь — та, что освещает всю жизнь, — меня обошла. И ни с кем и никогда я не воевал. Вместо этого я шестьдесят лет делал скрипки. И все-таки я счастлив, потому что моя работа провела меня через все ипостаси человеческого счастья.

— Каким образом? — спросил недоверчиво Антонио.

— Когда я пришел в мастерскую деда, я был беден, как бродяги на таррантских причалах, я не знал совсем ничего. А дед, как мне тогда казалось, знал все, и от этого постыдность моей нищеты

была особенно наглядна. Прошли долгие годы, пока я набрался богатства знания, и это богатство согревает мою старость, дает мне спокойствие и уверенность, каких не могут дать деньги, и это богатство я всегда ношу в себе…

— А любовь?

— Когда я сделал свою первую скрипку, ее голос был пронзителен и вульгарен, как крики продажных генуэзских девок в Пассо ди Гатто. Я испытывал от нее восторг и омерзение одновременно. Она магнитом тянула меня к себе, а через мгновенье я отбрасывал ее с ненавистью, в ней сталкивались вожделение и детская мечта о красоте, которые жить вместе не могут. Я слушал голоса птиц и песни детей, шипение волн и шорох дождя, тихий плач женщин и тоскливый крик гепарда, которого показывали в Падуе на ярмарке бродячие балаганщики. На танцах я смотрел, как девушки и юноши пляшут бешеную сальтареллу, и чеканную ломбарду, и зазывно-томную форлану, и пытался уловить ритм колебания, который мне надо было навсегда поселить в скрипке. Наверное, мне это удалось, потому что скрипки мои стали петь мягче, глубже, в них была настоящая страсть и непродажное волнение, и первыми это, конечно, заметили попы, потому что, слушая

звуки моих скрипок, люди плакали, и это были слезы радости и грусти — в инструментах была моя большая любовь. Я любил их, как отец и как муж, как любовник, в них была тоска отвергнутого и радость обладателя, величие и красота альпийских елей, из которых их делали, крик пленного гепарда и трепет форланы, звон воды на перекатах Треббии и вся моя благодарность этому миру, давшему мне счастье родиться и создавать в своей мастерской маленькие звучащие деревянные живые миры, способные вместить все это…

— И вы думали об этом, учитель, когда создавали свои скрипки? — спросил Антонио.

— Да, всегда я думал об этом. Я никогда не работал в плохом настроении, чтобы хоть один надрез не получился у меня случайным, непродуманным, непрочувствованным. В этом и была та война, которую я вел всю жизнь, — я давным-давно понял, что звук не получишь колдовством, омовениями и всей этой прочей ерундой. Я много лет назад понял, что все в мире управляется законами, и волшебный звук скрипки — не более чем познанный закон. И законов звучания много, но большинства их мы не знаем, а они от этого не перестают существовать, и мы медленно — тер-

пением, памятью и умом — находим истину, хотя объяснить ее не можем. Ощупью изыскиваем мы правду и как слепые запоминаем ее слабый рельеф, и по звуку знаем — это хорошо! Много лет спустя объяснят, почему это так, а не иначе. Но кто-то должен идти впереди, первым сделать то, что до него было невозможным. И если ему это удается, то свою войну, для познания себя и счастья, он выиграл…

* * *

Григорий Белаш явился ровно в десять. Когда я читал протокол его первого допроса, я не обратил внимания на дату рождения и сильно удивился теперь — лет ему было тридцать с небольшим, в общем, мы с ним были приблизительно ровесники. А я почему-то представлял себе старенького суетливого человечка в замызганном пальто — не знаю уж почему, но именно так я представлял себе настройщика роялей. Он поздоровался и весело спросил:

— Допрос второй степени с пристрастием?

— Нет, — сказал я. — Будет просто допрос с пристрастием второй степени.

— В школе это называется — в квадрате.

— Ага, в квадрате, — подтвердил я.

— За что же вы меня так? — улыбаясь, взмолился он. — В прошлый раз меня тут девушка в такой оборот взяла, что я сразу вспомнил про допровскую корзину Кислярского. Думал, что куковать мне тут, пока скрипку не найдут. Обошлось, однако, отпустила…

Он захохотал, искренне, от души, заразительно, и я сам невольно улыбнулся, представив себе сухой официальный тон Лавровой.

— А вы ей, наоборот, понравились, — сказал я.

— Ну? — воззрился он на меня с интересом. — Не может быть! Если бы я это знал тогда, обязательно попросил бы телефончик. Это, наверное, очень волнует, когда к тебе приходит на свидание девушка, ты ее берешь нежно за талию, а там… а там… Пистолет! Жутко волнует…

Я пожал плечами:

— Не знаю. Не пробовал. Чтобы с пистолетом…

Он, видимо, хотел углубить экскурс в этот вопрос, но я спросил его:

— Так во время кражи вы были в командировке, Григорий Петрович?

— Чтоб мне с места не сойти, — все еще весело сказал он, потом уже серьезно добавил: — Я понимаю, вы меня не перешучиваться пригласили. И на мне, как на человеке, вхожем а дом Полякова,

тоже лежит тень подозрения. Поэтому я готов с максимальной обстоятельностью отвечать на все интересующие вас вопросы…

— Вот и прекрасно. Расскажите мне о вашей командировке.

— Пожалуйста, — он еле заметно пожал плечами, как человек, которого во второй раз спрашивают об одном и том же. — Как вам известно, я работаю настройщиком музыкальных инструментов в филармонии. Если вы наводили обо мне справки, то уже знаете, что специалистов, равных мне по квалификации, в нашей стране еще трое: Исопатов, Гуревич и Косырев. Гуревич уже глубокий старик и почти не работает. А мы обслуживаем уникальные инструменты, которыми пользуются наши крупнейшие музыкальные мастера. Причем мы работаем всегда с инструментами, закрепленными за нами сугубо персонально…

— Почему? — спросил я.

Белаш еле заметно ухмыльнулся, и я понял, что его рассмешила моя неосведомленность.

— Потому что у каждого из инструментов свой голос, и пианист-виртуоз, толкователь и интерпретатор, раз и навсегда привык к этому голосу. Он наизусть знает диапазон его звука, и звук

подчиняется ему, как живой. Если я ошибусь в настройке и звук станет чуть-чуть выше или ниже, то я могу пианисту попросту сорвать концерт. То, чего никто и не заметит, не услышит, музыканту высокого класса режет ухо, как пилой.

— Понятно. Дальше.

— 14 октября, по-моему, это был четверг, я выехал в Ленинград, где пробыл по понедельник включительно, вернувшись в Москву во вторник. Отчет по командировке, счета и билеты мною сданы в бухгалтерию. Можете проверить.

— Уже проверено, — кивнул я. — Все точно. С кем вы виделись в Ленинграде?

— В хронологическом порядке?

— Желательно.

Белаш почесал в затылке:

— Тогда вы меня не торопите. Дайте вспомнить все по порядку…

— А я вас и не тороплю. Вспоминайте.

— Так, значит, с вокзала я поехал в гостиницу, номер мне был заказан в «Европейской». Оттуда пешком — это напротив — в филармонию. Освободился я там, наверное, часа в четыре и поехал на Мойку к Евгению Константиновичу Преображенскому. У него совершенно волшебный «Стейнвей», но жутко капризный. Вы бывали на

его концертах?

— Нет, только по радио слышал.

— Ну, неважно. У Преображенского я пробыл до позднего вечера, хотя рассчитывал управиться в два счета. Группа высоких не строила… И, кажется, в этот день все. Да, точно, я собирался еще зайти к приятелям Медведевым, но было уже поздно, я поехал в гостиницу, позвонил Леше Медведеву, передоговорился на завтра и лег спать. На другой день я работал в консерватории, потом поехал к Медведевым, вернулся часа в три, будучи при этом крупно «под шафе». В воскресенье завтракал поздно, состояние у меня было несколько взвешенное, потом поехал, работал в филармонии, там познакомился с девушкой и вместе с ней ужинал в ресторане «Москва»…

— Координаты девушки сохранились? — безразличным тоном спросил я.

Белаш недоуменно посмотрел на меня:

— Девушки? Конечно. А что?

— Ничего. Я их переписать хотел.

Белаш достал из кармана записную книжку, полистал, открыл страницу:

— «Валя Морозова, Ленинград, ул. Громова, д. 7, кв. 56».

Я записал. Белаш закрыл книжку, растерянно

покачал головой.

— Ну, короче, в понедельник я занимался с инструментами в Малом оперном, поужинал моими любимыми миногами и в полночь сказал: «Арриведерчи, Питер!» Вот и все. А теперь, может быть, перейдем на игру «Спрашивайте — отвечаем»?..

— Хорошо. Спрашиваем: вы Иконникова знаете?

Белаш заулыбался:

— Отвечаем: а кто же его среди музыкантов не знает?

— Вы давно знакомы?

— Лет пять, наверное…

— Дружите?

— Ну как вам сказать — это, конечно, не третье твое плечо, но отношения у нас хорошие.

— Что вас связывает?

— Второй закон диалектики: единство и борьба противоположностей.

— Точнее.

— Точнее? У нас с ним отношения давние, тут одним словом не отделаешься, но в принципе это выглядит так: я считаю его выжившим из ума гением, а он считает меня талантливым недоумком. Вот мы и перевоспитываем друг друга.

— Кроме того, вы канал связи между ним и

Поляковым?

— Если хотите, то да. Не будь меня, мой старый дурак давно бы убил Полякова скалкой. А так я его помаленьку в ум ввожу…

— А на чем основан их конфликт?

— Да ну! История древняя как мир. Зависть талантливого лентяя-неудачника к таланту трудолюбивому, а потому успешному. Да и конфликт у них односторонний. Поляков-то — добрая душа, постоянно носится с идеей спасти и вернуть искусству Иконникова, хотя это так же реально, как из вашего окошка увидеть Нахичевань. Сколько я денег перетаскал от Полякова Иконникову…

— И что — берет Иконников деньги Полякова?

— Да что вы! Если бы он знал, чьи это деньги, он бы в момент устроил какое-нибудь театрализованное представление вроде сожжения этих денег в Доме композиторов. И лучше всего — при большом стечении перепуганных симфонистов…

— Иконников утверждает, что Поляков мучится перед ним чувством вины и поэтому…

— Да слушайте вы этого дурака больше, — перебил Белаш. — Чушь собачья! Слышал я это тысячу раз, вместе с обещаниями, что мир еще заговорит о нем! И еще, мол, как заговорит! По-

ляков просто очень добрый и застенчивый до робости человек. И это он сам поддерживает глупые слухи, будто Иконников когда-то, мол, был много талантливее его. Ерунда это, вздор! Такое дарование, как Поляков, рождается раз в сто лет, А друг мой Иконников — человек несомненно очень способный — обладает редким апломбом, которого начисто лишен Поляков. И пока Поляков не сформировался окончательно, Иконников его попросту заслонял. Ну а потом уж время поставило все на свои места.

— А как вы в целом относитесь к Иконникову?

Белаш задумался, пожал плечами:

— Черт его знает. Каждая наша встреча заканчивается крупной ссорой, а потом я все-таки с ним снова мирюсь — человек он, конечно, незаурядный, хотя и есть в нем масса просто отвратительных черт…

— А именно?

— Ну как вам сказать? Вот если бы создали общество защиты Геростратов, он бы по праву занял там председательское место…

У меня мелькнула чудовищная мысль, и я не удержался:

— Ему нравится разрушать?

Белаш внимательно посмотрел на меня, пока-

чал головой:

— Нет, вы меня не поняли. Он не считает действия Герострата правильными. Он утверждает, что этих действий в принципе не было. Ну, как если бы храм Артемиды сгорел от окурка, а потом обвинили во всем Герострата. Вот в последний раз, например, он двинул мне собственного изготовления теорию о неправосудности приговора Каину…

— Я уже знаком с этой теорией, — кивнул я.

— Ну, тогда вы имеете представление о его образе мышления. И все-таки мне его очень жалко. Очень способный, потерянный для людей человек.

— Почему потерянный? Занимается же он там со своими змеями?

— Б-р-р-р! — передернул плечами Белаш. — Совершенно в стиле моего друга — из всех человеческих занятий выискать самое мерзкое. Змеиный яд, эксперименты все эти, конечно, штука полезная. Но я думаю, что таким делом можно заниматься только от великой любви к людям. Иначе это уже где-то на грани извращения…

Некоторое время мы посидели молча, потом я спросил:

— Как вы думаете, мог Иконников соучаство-

вать в краже «Страдивари»?..

Белаш твердо сказал:

— Уверен, что нет. Мужик он противный, но украсть «Страдивари» — не думаю.

— Однако не любите вы своего приятеля, — сказал я.

— А за что же его любить? — удивился Белаш. — Совсем малосимпатичный человечек Иконников. Уважать, презирать, интересоваться — это сколько угодно. Любить его — это не занятие для слабонервных. Что же касается кражи, то я бы мог поручиться за него, но вы же поручительств не принимаете…

— Нет, не принимаем, — подтвердил я. — Такого рода, во всяком случае.

— А жаль. Впрочем, если бы я даже проиграл свое поручительство, у меня было бы одно-единственное объяснение: старческое склерозное хулиганство. Знаете: сам — не гам и тебе не дам!

— Всякое бывает, — сказал я уклончиво. — Давайте, Григорий Петрович, ваш пропуск, я подпишу на выход…

— Отпускаете все-таки? — засмеялся он, доставая и протягивая мне бланк.

— А что с вами остается делать? — Я достал штамп, подышал на него.

— Да, жаль, хороший был «Страдивари», — сказал Белаш. — Просто прекрасный…

— Почему «был»? — поднял я голову.

Белаш развел руками:

— Такие вещи воруют, чтобы не попадаться…

Я оттиснул штамп, расписался, протянул ему пропуск и сказал:

— Рубль из сумочки в трамвае тоже воруют, чтобы не попадаться…

Я все еще раздумывал над рассказом Белаша. Он, конечно, здесь ни при чем, но что-то в его поведении меня настораживало, что-то еще он знал, но сообщить не захотел. Осталось у меня ощущение какой-то недосказанности, хотя я и сам не знал той сферы вопросов, которые надо было задать ему, а там уж по двоичной системе — да-нет — делать для себя выводы. Мне казалось почему-то, что он знает об Иконникове много больше. Нет, как тут ни верти и ни раскладывай, не станут дружить много лет такие разные люди — существуют определенные закономерности в человеческих отношениях. Белаш и Иконников — жизненные антиподы, они, как сказочный двухголовый зверь Тяни-Толкай, должны быть всегда устремлены в разные стороны.

Зазвонил телефон. Трубка тягучим голосом

Халецкого сказала:

— Тихонов? Здравствуйте, это я.

— Здравствуйте, Ной Маркович, — приветливо сказал я. — Чем порадовать можете?

— Этого я сам еще не знаю. Приходите в почерковедческую лабораторию, вместе посмотрим…

— А есть на что смотреть?

— Во всяком случае, интересный эксперимент я вам обещаю.

— Сейчас приду. Подготовьте встречу…

Халецкий засмеялся:

— Тихонов, мне кажется, что под утро, когда сон особенно сладок, вам регулярно должно являться одно и то же видение…

— А именно?

— Солнечное утро, гром фанфар и трепет флагов. На открытой «Чайке» алого цвета подъезжаете вы к воротам Петровки, 38, а сотрудники уже все построены в каре. Вы сходите с подножки и начальник управления, естественно в парадной форме, рапортует: «Товарищ генеральный комиссар милиции…»

— Такого звания нет, — сказал я.

— Было такое звание раньше, я помню.

— Тогда подождем, пока его снова введут специально для меня, — засмеялся я и положил

трубку.

У эксперта-почерковеда Ашукина на столе были разложены обгорелые обрывки листочков, которые мы подобрали в квартире Полякова. Халецкий подготовил их для исследования и теперь наши «халдеи» — эксперты попытаются выжать информацию из ничего. Потому что листочки эти были ничем — горстка обгорелых, с абсолютно неразличимыми надписями, грязных обрывков бумаги. И мне было немного смешно, что Халецкий называет их «документами для исследования»…

— На документах есть поперечная линовка — это затрудняет задачу, — сказал озабоченно Халецкий. Я промолчал, хотя был уверен, что затруднять там нечего — пустое дело, никто еще не получил из ничего что-то.

Пинцетами с мягкими губками они удивительно сноровисто и точно брали горелые обрывки и укладывали на столик микроосветителя ОИ-18. Я уже видел однажды такую машину в работе — невероятная комбинация из бинокулярного микроскопа и прожектора, бросающего тонкую — спицей — струю света.

— Графитовый давленый штрих… повреждение… еще штрих… следовоспринимающий

объект здесь уничтожен… идет анилиновая длинная запись… продольный ряд штрихов… давленые, глубокие… след шариковой авторучки… текст неразборчивый… — Ашукин вперился в прибор и со стороны казался марсианским пришельцем с длинными трубчатыми глазами окуляров. Халецкий томился рядом — ему тоже хотелось посмотреть, но здесь первое слово было за Ашукиным. А я сидел верхом на стуле и спокойно дожидался, я-то все равно в этом ничего не понимал. Да и не очень я верил в эту затею.

Ашукин поднял голову и спросил:

— Есть такой музыкант — Салерно?

— Есть, — быстро сказал Халецкий. — Пианист Салерно, по-моему, его зовут Василий.

— Тогда это листочек из книжки на букву «С», — уверенно сказал Ашукин. — Посмотрите…

Его место занял Халецкий. Он смотрел в бинокль прибора, и верхняя часть лица была будто закрыта такой чудной тяжелой маской, и я видел лишь его медленно, беззвучно шевелящиеся губы. Острый лучик, белый, пронзительный, бешено метался по обгорелому листку, потом замирал, полз по нему еле заметно, вроде он прощупывал его, чуть быстрее, быстрее, и снова начинал метаться по коричнево-черному клочку.

— Я тоже хочу посмотреть, — сказал я.

Халецкий, не отрывая глаз от прибора, твердо вывел меня из игры:

— Вы здесь все равно ничего не разберете. Так, вот следующая фамилия — Ситковецкий…

Похоже, что Халецкий может сейчас крупно посрамить меня с моими скептическими прогнозами. Он встал и сказал Ашукину:

— Я думаю, надо документы испепелить.

Ашукин согласно кивнул, а я заорал:

— Да вы что? Только что какой-то текст появился, а вы уже отказываетесь?

Они с недоумением посмотрели на меня, потом громко от души захохотали. Вытирая слезу с глаза, Халецкий сквозь смех сказал:

— Я ведь давно вам говорил, Тихонов, что дилетантство ваше до добра не доведет… — И, отсмеявшись, объяснил: — Документы находятся в стадии полусожжения и обугливания. Для исследования на макрорепродукторе их надо перевести в следующую фазу — испепеления…

Ашукин закрепил листок на керамической пластинке, вложил ее в муфельную печь и включил рубильник. Затем они уселись и закурили, вот точно как плотники на перекуре, не спеша стали беседовать. Вернее, беседовал один только Ха-

лецкий, потому что, сколько я знаю Ашукина, он разговаривать не умеет, во всяком случае, очень не любит. Он прирожденный слушатель — добродетель, высоко ценимая Халецким. Говорили о том, что осень теплая, а грибов все равно мало, а плодожорку на даче лучше всего уничтожать трифинилфосфатом, скоро уже зима — это солнышко, конечно, никого уже не обманет, хорошо бы внучку отдать в секцию фигурного катания, но некому водить ее на стадион, а пускать одну по городу боязно, движение на улицах стало совершенно сумасшедшее, а что будет еще, когда на всю мощность пустят автозавод в Тольятти, — подумать страшно... Потом поговорили о том, выведут американцы войска из Вьетнама или переговоры в Париже — это просто так, их обычные штучки.

А я сидел и думал о том, возродится ли истина из пепла, и можно ли получить что-то из ничего, и о том, что, наверное, нельзя никогда отрицать невидимое, вон вчера в «Известиях» писали об умельце, соорудившем замок, который умещается на торце волоса и который разглядеть невозможно, но он все-таки существует, этот замок.

— Готово! — сказал Ашукин и вынул из печи

пластинку.

Листок стал светло-серым и на нем отчетливее проступили какие-то непонятные значки. В комнате плавал ощутимый запах бумажной гари. Ашукин положил на несколько минут пластинку в охладительную камеру.

— Вот это — универсальная макрорепродукционная установка Маслова, — показал мне Халецкий сооружение, похожее на рентгеновский аппарат, только экран был не вертикальный, а горизонтальный.

Включили макрорепродуктор. На лист пал луч апакового освещения. Свет шел прямо из центра объектива, очень яркий, и в то же время я видел, что он совсем не дает тени. Они быстро меняли фильтры, подкручивали ручки настройки, отчего свет стал сине-зеленым, потом темно-красным, просто кровяным, и снова белым. На вакуум-экране изображение постепенно фокусировалось, а Халецкий, глядя в окуляр, командовал:

— Правый подсвет больше, больше, еще пять градусов, еще немного… у штриха сильная тень… еще два градуса левый подсвет… меньше немного… о-то-то!..

Когда Халецкому надо было сказать «как раз», «в самую точку», он говорил «о-то-то». И я понял,

что — «о-то-то» — из пепла поперла информация.

— Взгляните в видоискатель, — сказал мне Халецкий.

Я прижался к резиновой обивке бинокулярного видоискателя, еще теплой от лица Халецкого, и в первый миг ничего не увидел. Потом глаза привыкли к слепящей нереальности бестеневого освещения и на сером, как старый алюминий, листе для меня из ничего проступили светящиеся графитовые буквы-борозды:

«СЛЕСАРЬ Д…Я… П…ША ТЕЛ. 157…2».

Цифра 2 была у самого края серого поля, будто специально обогнувшего ее, чтобы сохранить для нас, и дальше обрывалась — пустой матовый отсвет пластины, на которой был укреплен листок, и все.

— Не хватает в номере трех цифр, — сказал я Халецкому. — Это тысяча абонентов. Проверить их невозможно…

— Здесь мы бессильны, — развел он руками. — Этот кусочек листа потерян безвозвратно…

И я понял, что ничего — это то, что уничтожено, исчезло необратимо и навсегда. А если есть хоть малейшая зацепка, глубиной в микрон, можно

карабкаться дальше.

Поляков был дома. У него начинался сильный грипп. Покраснел нос, припухли веки и каждый раз он по-кошачьи вкрадчиво чихал — п-сь-с-т! И при этом смущался, отворачивался, чтобы утереться платком, и говорил мне виновато: «Ах, это все так некстати!», будто иногда кстати воруют скрипки «Страдивари» или простужаются кстати. Я спросил его об Иконникове, и он сразу погрустнел еще больше.

— Несчастный, обиженный жизнью человек, — тяжело вздохнул Поляков. — Про него легче всего сказать — сам виноват. Но это ведь не совсем так…

— Почему не совсем?

— Не так это все линейно и не так явно, как кажется со стороны. Здесь всегда надо принимать во внимание личность Паши…

В комнате было сухо и жарко, остро пахло бороментолом и каким-то еще лекарством, по-моему, валидолом. На столе лежал раскрытый футляр, и в нем тускло светилось темное дерево скрипки. Я невольно покосился на нее. Поляков встал с дивана, запахнул длинный халат, который висел на нем, как на плечиках, подошел к столу, достал из футляра скрипку.

— Это «Вильом», — сказал он. — Очень хороший инструмент…

Прошел смычком по напряженным сухожилиям струн, и жаркий стоялый воздух в комнате рванулся тонким быстрым смерчем. Поляков прикрыл глаза, и голова у него была наклонена к скрипке, будто он чутко слушал одному ему известные звуки дыхания маленькой деревянной груди с красивыми, нервно изогнувшимися прорезями под названиями эфы. Я не знаю, что играл Поляков, кажется, это называется рондо-каприччиозо, но звучало это поразительно, и я подумал о причудливых сплетениях судьбы, когда отменяется концерт, на который рвались сотни любителей и ценителей его таланта, а слушаю его я один — ничего не понимающий в музыке сыщик…

И глядя на него сейчас, худого, в длиннополом халате, с припухшим желтым лицом и закрытыми глазами, я необычайно легко представил его молодым, почти сорок лет назад, когда я еще не родился, играющего в пустом гостиничном номере, ночью, после триумфа на концерте, в котором он сделал никем не замеченную ошибку во второй части композиции Гаэтано Пуньяни. А Иконников стоял за дверью и слушал, но не

слышал колокола судьбы…

Поляков неожиданно перестал играть, положил скрипку в футляр.

— Вильом был прекрасный мастер, — сказал он. — И всю жизнь мечтал сделать скрипку лучше Страдивари. В отдельных инструментах он почти достиг уровня кремонца, но обойти его так и не смог…

Мне очень хотелось задать вопрос, но перебивать я не решился, и Поляков сказал сам:

— Есть люди, способные почти сразу раскрыть отпущенное им дарование. И тогда слушатели, критика, все окружающие присваивают ему титул гения, поскольку показанный им уровень рассматривают как аванс — мол, все еще впереди, раз он так играет сейчас. Паша раскрылся мгновенно, и если бы он много работал, то еще некоторое время количественно рос. Но, во-первых, он мало работал, а во-вторых, он первым понял, что качественных сдвигов у него не будет. Все, что мог, он показал сразу.

— Но он же сильный человек? — спросил я.

— Паша? — удивился Поляков. — Полжизни Павел затратил на то, чтобы казаться не тем, кто он есть на самом деле. Он слабый и добрый человек. А все остальное — так, позы, причудливые

маски…

Я набрался духу и спросил:

— Вы исключаете его причастность к краже?

Поляков смотрел на меня некоторое время с недоумением, будто я вдруг обратился к нему по-китайски, затем протяжно, медленно сказал:

— Да вы что, молодой человек?! Павел Иконников участвовал в краже? Да вы что? — И сразу же заговорил со мной официальным тоном: — Я категорически протестую даже против предположений подобного толка!

И мгновенно преобразился из могучего, всепокоряющего таланта в беззащитного, наивного человека, отвлеченного от всей мирской грязи и подлости, доверчивого и естественного как ребенок.

— Лев Осипович, у нас предположения называются версиями, и мой служебный долг состоит в том, чтобы проверить их все.

— Но не такими же средствами! — воскликнул он возмущенно.

— А какими? — рассердился я. — Есть человек, о котором весьма плохо говорят, а он, в свою очередь, враждебно настроен к вам. Должен я проверить его отношение к факту кражи?

— Ну почему же враждебно? — жалобно ска-

зал Поляков. — Он немного сердится на меня и по-своему прав — я мог бы уделять ему больше внимания…

— Это подробность ваших давних взаимоотношений. А меня интересует положение вещей на сегодняшний день. И пройти мимо Иконникова я не могу!

— Я понимаю, — извиняющимся тоном сказал Поляков. — Но это предположение так нелепо, извините меня…

— Ладно, аллах с ним, с Иконниковым, — сказал я. — Мы расшифровали четыре цифры из телефона, который вам оставил слесарь. Вы не можете постараться припомнить остальное?

— Я очень плохо запоминаю любые цифры, — сказал он беспомощно.

— Ну а как же вы обходитесь в городе без телефонной книги? У вас есть карманная книжка?

— Нет. Нужные мне телефоны я запоминаю… — он сконфузился и, застенчиво улыбаясь, закончил: — …по нотам.

— Как? — не понял я.

Он почему-то еще больше сконфузился:

— Ну, можно же по нотному счету: до — один, ре — два, ми — три, фа — четыре и так далее… Мне так гораздо легче запоминать.

Я мгновение подумал, потом спросил:

— И вместо цифрового сочетания у вас в памяти фиксируется нотная фраза?

Поляков кивнул:

— Да. А какие вы расшифровали цифры? Может, мне это напомнит что-то? Я ведь своей рукой записывал номер.

— Три первых — 157 и последняя — 2. Три цифры в середине утеряны.

Поляков что-то быстро промычал под нос, задумчиво сказал:

— До-соль-си… ре. До-соль-си… ре. Мне помнится, это был какой-то ужасный набор звуков, он просто резал ухо. До-соль-си… ре…

Он встал, подошел к роялю, и начал наигрывать какие-то музыкальные фразы, и начало в них во всех было одинаковое, а потом он что-то импровизировал, подбирал, как неопытный музыкант подбирает нужную ему мелодию. Маленькая безобразная мелодия, которая была мне сейчас важнее всех симфоний на свете.

— Да, я просто уверен — до-соль-си-си-фа-ля-ре, — сказал Поляков. — Я не думаю, что ошибся. Это было до-соль-си-си-фа-ля-ре!

— Переведите, — попросил я. — Я боюсь ошибиться.

— 157-74-62.

Глава 7
Гениален, как Роде, и так же несчастен

Антонио Страдивари учился у Никколо Амати тысячу дней — без малого три года. Была весна, река Треббия, напоенная голубыми снегами ломбардских Альп, с шумом и шелестом несла свои серые воды мимо маленького, залитого солнцем городка, сиреневыми цветами дымились персиковые сады, и Антонио не покидало ощущение, что все это ликование природы — только декорация на празднике его жизни. Он был счастлив.

Ахиллино Парелли, контрабандист, спекулянт и вор, привез наконец из Специи, где он водил делишки с приходящими на галерах трапезундскими турками, глиняный сосуд с густым, чуть-чуть желтоватым молоком — ядовитым соком растения эуфорбия маршаллиана, цветущего в высоких горах, отделяющих Европу от Азии. Это был вожделенный кавказский молочай.

Молоко эуфорбии клеилось к рукам, сразу застывая грязными, черными струпьями — трижды растворял его Антонио, перегонял, чистил, отстаивая в колбе прозрачный экстракт. Это была

последняя добавка в секрете сокровенного лака. Антонио уже давно понял, что ядовитый сок молочая необходим для получения лака Амати, но десятки перепробованных им видов молочая, давая нужный звуковой эффект, уничтожали цвет и красоту лака. И вот, наконец, эуфорбия маршаллиана дала и звук, и окончательный цвет лака — бледно-желтый, с легким блеском, подобный старому левантийскому золоту…

Никколо Амати окунал пальцы в горячий лак, растягивал на руке его тугую тягучую пленку, нюхал, кисточкой наносил его на дощечки грушевого дерева и быстро водил ими над пляшущим огоньком каганца, а затем тер дощечку полой суконного камзола — согретое лаком, ласково переливалось живым цветом дерево, каждое волокно было видно на просвет.

Антонио, внимательно следивший за действиями старика, захохотал, подбежал к нему и обнял Никколо за плечи:

— Учитель, ваши сомнения напрасны! Это лак рода Амати!

Мастер осторожно снял руки ученика со своих плеч, бросил дощечку на верстак, устало потянулся и сказал:

— Пора обедать. Скажи, чтобы нам подали еду

сюда…

Они с аппетитом поедали говядину со сливами, сыр, макароны, запивали прошлогодним джинцано, и Антонио, захмелевший от сытости, хорошего вина и счастья, объяснял мастеру, почему он догадался, что именно эуфорбия маршал-лиана нужна для лака Амати.

Никколо Амати поднял тяжелую голову, посмотрел на радостного Антонио и грустно сказал:

— Люди никогда не занимались бы землепашеством, если бы столько же снимали в урожай, сколько засеяли…

Антонио удивленно воззрился на учителя.

— Добрый урожай — только плата за труд человека. Дело в том, что ни я, Никколо Амати, ни отец мой, ни дядя, ни дед Андреа никогда не использовали в своем лаке эуфорбия маршаллиана…

Страдивари начал стремительно бледнеть, а Никколо сказал торжественно и грустно:

— Сегодня самый счастливый день моей жизни. И самый горестный, потому что является он знамением моего конца. Ты ведь сварил вовсе не лак Амати…

Антонио так рванулся из-за стола, что деревянная резная скамейка упала на пол. Амати так же

неспешно закончил:

— Это лак Страдивари. И он… лучше знаменитого лака Амати…

Антонио хрипло сказал:

— Учитель…

Амати перебил его:

— Не называй так больше меня, сынок. Ты больше не ученик. Ты мастер, и сейчас я счастлив, что спустя века люди будут вспоминать обо мне хотя бы потому, что я смог многому научить тебя. Ты сделаешь гораздо больше, чем я.

— Больше нельзя, — искренне сказал Антонио. — Больше — это бессмертие…

Амати засмеялся:

— Разве тебе никто не рассказывал о бессмертии моего деда?

Страдивари покачал головой.

— Все наши скрипки вырезаны из грушевого дерева. Может быть, это потому, что из-за груши дед Андреа претерпел будучи еще совсем маленьким. Произошло это более ста лет назад. Их сосед был скрипичным мастером, и дед целые дни проводил у него в мастерской, глядя на работу мастера. Однажды соседу понадобилось грушевое полено для верхней деки, и тогда дед, зная, что его отец в отъезде, велел слугам спилить в

саду все грушевые деревья для мастера. Прадед был, видать по всему, крутой человек, потому что, вернувшись, он пришел в такой гнев от самоуправства мальчишки, что просто-напросто посадил его в тюрьму.

Глупые и злые люди рассказывали потом, что от испуга у мальчишки помутился разум. Выйдя из тюрьмы, он не вернулся домой, а стал подмастерьем у соседа и с тех пор всю жизнь строил скрипки. Когда он создал первую виолу да гамбу, ему было семнадцать лет. В этот день в мастерскую забрел сумасшедший музыкант Маурицио — оборванный грязный старик с клочковатой нечесаной бородой. Он ходил по улицам Кремоны и играл около всех домов по очереди, и никогда не брал ни одного байокко платы. Никто не знал, где он ночует и что он ест. О нем говорили, будто он колдун, потому что он умел играть на всех инструментах и играл блестяще, а жил всегда бесприютным, нищим бродягой. Вот этот Маурицио послушал, как звучит виола да гамба моего деда, и предложил ему обмен: дед отдаст ему инструмент, а Маурицио откроет ему тайну жизни. Дед согласился — каждый человек в семнадцать лет хочет заранее узнать тайну бытия. И тогда Маурицио сказал деду, что тот должен сделать

еще триста девяносто девять инструментов — на четырехсотой скрипке его ждет бессмертие.

С тех пор в деда Андреа будто вселился демон. Он работал как галерник, дни и ночи, случалось, что по трое суток он не выходил из мастерской, руки его были изъедены кислотами и растворителями, в мозолях, порезах и ссадинах, с трех пальцев были сорваны ногти, и больше они не выросли.

Он сделал около пятисот инструментов, и когда перед смертью от него ушел исповедник, я спросил деда, а было мне тогда девять лет:

— Этот противный сумасшедший колдун Маурицио обманул вас, синьор?

Дед был совсем старый, просто усохший от времени, весь пергаментно-желтый, только глаза и руки жили еще в нем. Он засмеялся и сказал мне:

— Никколо, мой мальчик, когда ты вырастешь, ты поймешь, что Маурицио не колдун и не сумасшедший. Он добрый и мудрый музыкант. Когда мне было семнадцать лет, он никак не смог бы заставить меня работать так всю жизнь, как я работал, посулив мне за это меньше, чем бессмертие. Маурицио знал, в чем истинное бессмертие человеческое, и я умираю с благодарностью ему

и надеждой, что он выполнил хоть частично свое обещание…

Старый мастер Никколо Амати и молодой мастер Антонио Страдивари долго сидели молча, погруженные в свои думы, пока учитель не сказал ученику:

— Только природа легко и просто создает прекрасное. Все прекрасное, что сотворяется руками человеческими, рождается в муках, кровавом поту, тоске неудовлетворенности, боли телесной и страданиях душевных. Если у тебя достанет сил пройти через это, то — так же, как обещал Маурицио деду моему — я обещаю тебе бессмертие познания истины. И всегда помни: истину обретают в боли…

* * *

Телефон 157-74-62 был установлен в трехкомнатной коммунальной квартире на Беломорской улице. До закрытия ЖЭКа оставалось двадцать минут, и техник-смотритель явно торопился. С удивлением, в котором сквозил едва скрытый намек, он говорил мне в третий раз: «А вы сегодня хоккей по ящику смотреть не будете?» Трансляция матча ЦСКА — «Спартак» по телевизору уже началась, а я все просматривал домовую книгу и

не мог принять решения. В квартире проживали шесть человек. Игнатьев А. С., механик-наладчик лаборатории оснастки и автоматических приспособлений, Игнатьева Н. П., плановик-экономист Управления бытового и коммунального обслуживания, Бабайцев П. К., участковый инспектор 28-го отделения милиции, Бабайцева Г. И., секретарь-машинистка треста «Стройдормеханизация», Филонова Р. Н., капельдинер Большого зала Московской консерватории. Телефон общий, и кто из жильцов мог иметь отношение к краже скрипки — пускай самое косвенное — решить было затруднительно. Бабайцева я сразу вывел за скобки. Конечно, среди милиционеров тоже встречаются нечестные люди, а порой просто преступники, но это такой экстраординарный факт, что принимать его в свои расчеты, и без того достаточно сложные, я не пожелал. Ну, если честно говорить, мои представления о корпоративной чести просто не допускали такой возможности. Поэтому всерьез меня заинтересовали Игнатьев Алексей Сергеевич и Филонова Раиса Никоновна…

Дверь открыла молодая женщина в ситцевом халатике. На ее полном розовом лице прозрачно светились капельки пота, на руках она держала

завернутого в махровую банную простыню мальчонку. Видимо, только что закончилось купание.

— Дверь! Дверь закрывайте скорее! — крикнула она, закрывая собой от ветра ребенка.

— Здравствуйте! Вы — Нина Петровна Игнатьева, — сказал я.

— Да, — кивнула женщина. — А вы кто?

Я вспомнил висевший в подъезде плакат и уверенно представился:

— Я — ваш агитатор. Меня зовут Станислав Павлович.

Мальчонка выпростал из-под простыни ручку и, показав на меня пальцем, важно сказал:

— Дядя…

Нина Игнатьевна засунула его руку обратно под простыню:

— Дядя, дядя, правильно. Дядя — агитатор.

— Дядя… ата-тор… — повторил ребенок.

— Проходите, пожалуйста, — сказала Нина, — я вот только его положу, и поговорим.

— Знаете что, — предложил я, — вы укладывайте малыша, а я пока начну с Бабайцева — по алфавиту.

— Хорошо, — охотно согласилась она. — Сейчас я позову его — они с мужем хоккей смотрят.

Игнатьева отворила дверь в комнату и крик-

нула:

— Петр! С вещами на выход — к тебе агитатор пришел, — и голос ее погас в волне рева, который донесся из телевизора. Видимо, там забили шайбу. Отчетливо чертыхнулся мужской голос, и в коридор выскочил белобрысый курносый паренек…

У Бабайцева губы были пухлые, чуть выпяченные вперед, будто он держал во рту конфету или собирался кого-то поцеловать, а говорил он быстро, очень четко, как из автомата выкидывая пригоршни звонких слов-монеток. И тогда были видны его зубы — очень белые, крупные, редко поставленные — точь-в-точь как у кролика.

— …Это недоразумение, товарищ старший инспектор, — доказывал мне горячо Бабайцев. — Мы с Лешей Игнатьевым три года вместе живем. Квартира-то у нас коммунальная, стены папиросные, никаких секретов нет — все друг про друга знаем…

— А друзей вы его знаете? — спросил я.

— Да у него из друзей — я один. Ведь как дело было — в квартире нашей дали по комнате трем одиночкам: Филоновой, Нине и мне. Потом я женился, а немного погодя Нина вышла замуж за Алексея, он сюда переехал. Парень он тихий, да

и шумный бы у Нинки не шибко разгулялся. Вот она ему запрещает с дружками водиться. Да и сам он не очень общительный человек, тихий очень, можно сказать, даже робкий.

— Со слесарным делом ему по работе приходится сталкиваться?

— Конечно. Он же мастер по оснастке и оборудованию. Но только это все равно не имеет значения. Подумаешь, ключ подогнать. Я бы тоже мог, наверное, если бы понадобилось…

— А Филонова? Что о ней можно сказать?

Бабайцев чмокнул пухлыми губами — не то удивился, не то выразил так свое недоумение:

— А что про нее скажешь? Культурная старушенция, начитанная. Образ жизни пристойный, ведет себя вежливо, живет по средствам…

— Сколько лет старушенции-то вашей?

— Много, — покачал головой Бабайцев. — Наверное, к пятидесяти тянет…

Он неожиданно засмеялся:

— Смехота! Ухажер у нее… Раз в месяц заходит, так она вот уж к этому событию готовится!.. Прическу в парикмахерской накручивает, разносолов всяких наготовит, наворотит на стол угощений разных…

— Да-а? — заинтересовался я. — А кто он та-

кой?

Бабайцев мгновение удивленно смотрел на меня, потом махнул рукой:

— Да вы не думайте даже! Этот не то что слесарить, он, по всему видать, напильник на витрине только и видал. Такой дядя чистоплюистый…

— Лет? Лет сколько? — спросил я.

— Кому? — показал белые кроличьи зубы Бабайцев.

— Ну, не мне же! Дяде сколько лет?

— Лет шестьдесят, думаю, с хвостиком, — неуверенно сказал Бабайцев. — Я к нему не присматривался… Сутулый он, помню, с острой бородкой…

— Рыжий, очень бледный? Еле заметная седина, глаза светлые, крупные? Нос прямой, длинный? Так выглядит дядя? — спросил я.

— Так, — настороженно кивнул Бабайцев. — А у вас в розыске фигурант такой есть?

— Похожий на него, — уклончиво сказал я.

В прихожей хлопнула входная дверь, мы оба замолкли, и я услышал неспешные, усталые шаги — паркет скрипел медленно, тяжело, ритмично. Звяканье ключей, щелчок замка, шорох двери, тишина.

— Это Филонова пришла, — почему-то шепотом

сказал Бабайцев, будто она могла услышать наш разговор из своей комнаты.

Мы посидели некоторое время молча, потом я сказал ему:

— Запомните, что для ваших соседей я агитатор. Пока не надо давать лишних поводов для разговоров. Кроме того, я не хочу, чтобы рыжий дядя знал о моем визите сюда. Понятно?

— Так точно. Вы с ней будете разговаривать?

— Да. Но сначала я коротко переговорю с Игнатьевым — агитаторы, в отличие от сыщиков, уделяют внимание всем…

Может быть, у нас с Бабайцевым были разные представления о возрасте или рядом с его девочкой-женой Филонова ему и впрямь казалась старушенцией, но я увидел интересную женщину средних лет. Конечно, она была уже немолода, но оттого, что не пыталась этого скрыть теми тщетными ухищрениями, к которым прибегают женщины в пору своей поздней осени, добиваясь обычно обратного результата, Филонова никак не могла быть отнесена к старухам. Седая моложавая женщина с ровным персиковым румянцем на добром круглом лице. Через пять минут разговоров про житье-бытье я убедился в ее огромном, просто глобальном доброжелательстве ко всему

сущему и прямо-таки неправдоподобной, вулканической разговорчивости. Она исходила из нее широкой неиссякаемой полноводной рекой, причем речь Филоновой напоминала песню степного чабана: что вижу — о том и пою. Раиса Никоновна Филонова говорила обо всем, что попадалось ей на глаза, и обо всем неизменно добро, ласково, тепло. А поскольку в течение всего разговора я, не отрываясь, рассматривал портрет на стене, она в конце концов перехватила мой взгляд. Она сделала паузу и сказала торжественно, с придыханием:

— Это великий музыкант…

— Да? — еле заметно «отметился» я. Этого было вполне достаточно.

— Павел Петрович Иконников. Он разделил судьбу великого Роде.

— В каком смысле?

— Он гениален, как Роде, так же неуверен в себе и так же несчастен…

Я сочувствующе покачал головой. Но Раиса Никоновна уже включилась в тему, по-видимому, ей наиболее близкую и волнующую, и моя реакция ее интересовала меньше всего.

… — Пьер Роде был слишком велик и прославлен, чтобы обращать внимание на козни

соперников, и это погубило его. Газеты, рецензенты охаивали его технику, утверждали, что он стал в своем искусстве холоден и труслив, что он упрощает сознательно наиболее трудные места. И он не перенес этого, в полной мере испив горькую чашу зависти и наветов.

— А Иконникова вы лично знали? — перебил я ее.

— Он единственно близкий мне человек, — сказала она спокойно, просто, как о вещи само собой разумеющейся. — Я живу только для того, чтобы хоть в чем-то быть ему полезной…

Я и воспринял это как должное. Иконников, опустившийся, озлобленный на все и на всех, одинокий, пьющий, конечно, должен был найти себе такую женщину, главной жизненной функцией которой является сочувствие и милосердие. Они — два полюса — создавали между собой необходимое жизненное напряжение.

— Конечно, если бы не трагическая судьба Павла Петровича, мы бы никогда и не встретились, — говорила Филонова. — И я понимаю, что никак не могу ему заменить тот мир, что он потерял. Но моя любовь и почитание его — все, что осталось у него из той, прежней жизни…

— А вы давно знаете Павла Петровича?

Она грустно усмехнулась:

— Считайте, что всю жизнь. Мои родители были скромные музыканты, беззаветно любившие искусство. В тринадцать лет они привели меня в концерт, где солировал Павел Петрович. Это было волшебство, и я смотрела на него, как на чародея. Я помню, как они прилетели с Львом Осиповичем Поляковым победителями парижского конкурса — молодые, счастливые, прекрасные, в светлом нимбе славы и таланта. А лично познакомились мы много лет спустя после войны…

Она замолкла, и я испугался, что она сменит тему разговора, поэтому быстро сказал:

— Необычайно интересно…

— Да, интересно, — согласилась она. — Мои родители умерли во время блокады, а я после эвакуации из Ленинграда была очень слаба, и меня временно устроили на легкую работу — в консерваторию, в концертный зал. Но потом я привыкла к этому непрекращающемуся празднику музыки и осталась там на всю жизнь, да и сейчас там работаю.

— Раиса Никоновна, а отчего же Иконников перестал концертировать?

— Я ведь говорила уже, что он повторяет в новой вариации судьбу Роде. К гениям все при-

страстны, все требуют, чтобы он оставался гением всегда, а он человек — у него тоже могут быть неудачи, срывы, что-то не получаться. А от него требуют постоянно быть лучше всех, и то, что прощается среднему исполнителю, никогда не забывают таланту…

— И Павел Петрович сорвался?

— Да, это было во время войны. Они с Поляковым должны были приехать в Ленинград, дать концерт для осажденного города. Это действительно было очень важно — концерт двух выдающихся музыкантов, несмотря на бомбежку, голод, стоящих рядом немцев. И Поляков приехал…

— А Павел Петрович?

Филонова задумалась, будто в тысячный раз решала давным-давно решенную задачу, на которую уже есть ответ в конце учебника, — можно при желании справиться, но все-таки оставалось там что-то неясное, теребящее, волнующее, непонятное во внутреннем механизме решения.

— А Павел Петрович накануне заболел и поехать не смог. Поляков давал концерт один. Стоял в тот день ужасный мороз и слушатели сидели в нетопленном зале филармонии в пальто, в шапках, а Поляков вышел во фраке, в белоснежной

манишке и после каждой пьесы уходил за кулисы хоть немного отогреть закоченевшие руки, а над головой его непрерывно стоял клуб пара от дыхания. Я так надеялась, что случится чудо и на сцену выйдет Павел Петрович! Но он был болен, а я этого даже не знала…

— А дальше? — спросил я, заинтересовавшись всерьез.

— Из-за того, что он не попал в Ленинград, Павел Петрович сильно нервничал, и не знаю, по этой ли причине или почему другому, он сорвал и следующий концерт. Он очень переживал и долго готовился к следующему выступлению, которое его и убило. Во время исполнения концерта Гайдна у его скрипки вдруг пропал голос — такое бывает раз в сто лет, но все-таки случается. Выступление пришлось прервать, Павел Петрович был в совершенном неистовстве, и чем больше он репетировал, тем сильнее охватывал его «страх эстрады». Он подготовил две большие программы, но ни одну из них не показал и неожиданно для всех заявил, что больше играть на скрипке не будет. С тех пор его никогда на сцене не видели… Он очень сильный и смелый человек, — закончила она неожиданным резюме, и мне даже показалось на мгновенье, будто она

сама себя убеждает этой категоричностью.

Задавать какие-нибудь вопросы еще я счел неуместным, даже в чем-то рискованным, поэтому мы побеседовали еще немного, и я попрощался…

В дверях квартиры я шепнул Бабайцеву:

— Появится человек с бородой — сразу звони…

Ночь наступила безветренная, тихая, стылая. По Ленинградскому шоссе я дошел до Речного вокзала, направился к метро и вспомнил, что сегодня еще не ел, а день начался давным-давно — с допроса Белаша. Я подумал мгновенье, потом повернул к длинному, слабо освещенному зданию вокзала. Как окаменевший одномачтовый пароход, возвышался он над водой, тусклые огни окон рваными пятнами света падали на асфальт, гранитные ступени замерли навсегда остановившимися колесными плицами.

Народу в ресторане было много, шум стоял тупой, монотонный. Метрдотель — коренастая блондиночка в песочном смокинге с несвежими атласными лацканами — посадила меня в угол, и сразу джаз загремел так, будто с горы покатили пустую железную бочку. Они проиграли туш, и ударник крикнул в зал — с удалью, надрывом, бесконечным обещанием:

— Солистка ансамбля… Га-алина Яворовска-а-а!

Немолодая женщина, застенчиво улыбаясь, запела совсем маленьким, комнатным голосом грустную песню:

Скоро осень — на улице август,

От дождей потемнели кусты…

Двое сильно поддавших мужиков, видимо командированные, пошли танцевать танго.

Да, такие вот пироги — осень скоро кончается, зима на носу. Я тер озябшие руки и никак не мог согреться. Выпил большую рюмку водки, и в груди, в желудке стало горячо, тепло поползло к плечам, ласково налило руки, влажным душным туманом наполнило голову. Откуда-то издалека, заглушаемый джазом, доносился слабый голос:

— …И я знаю, что я тебе нравлюсь…

Черт побери, как все невероятно перепуталось! Слесарь-взломщик оставляет у Полякова телефон Филоновой, Обольников бывал в обворованной квартире, но тщательно скрывает это, а накануне кражи ложится в больницу. Иконников с его геростратскими теориями и прыгающим из руки, как клинок, аспидом, телеграмма неведомого Таратуты…

Шум вздымался кривыми скользкими волнами и мысли не держались на нем, скатывались по гладким волнам ресторанного гама, расползались по углам, натыкались на тупики неизвестности, собирались вновь в жалкий клубочек и снова пропадали во всей этой суете и гомоне.

На пристани народу не было совсем. Глухо стучал дизелем один-единственный теплоход у стенки, белый-белый теплоход, пустой, пришедший, может быть, последним рейсом по стынущей осенней реке. Узкая полоса света от прожектора шарила по черной гладкой, застывшей, как базальт, воде, и мне казалось, будто я слышу, как сковывает ее незаметно тонкий хрусткий ледок, и пахло здесь остро пожухлой травой и мокрым деревом, прелой листвой, первым снегом, волнующим ароматом предзимника. Мне ужасно захотелось наплевать на все, сесть на такой пустынный последний пароход и поехать на нем куда-нибудь по реке. В Углич или Дмитров он придет туманным серым утром, по реке будет плыть клочьями серый водяной пар, а деревья по берегам будут похожи на старинные выцветшие гравюры — черные, размытые, без листьев. Тихие улицы, белые тротуары, косой штрих дождя за окном, а гостиницы — уютные, старые, в них

топят печи дровами, которые шипят и стреляют в топке и на колосники выкатываются красные, в синеватом дымке угольки. Тишина, тишина — она осязаема и ласкова, как прикосновение кошки. И в одиноком, пустом номере гостиницы будет непрерывно звучать — раз за разом, снова и снова, не давая покоя и отдохновения, концерт Гаэтано Пуньяни, лирически-мягкий, вдохновенно певучий, настойчивый, как колокола судьбы, никогда не слышанный мной и вошедший в мою жизнь символом исполнения обязательств, вошедший без спроса, решительно, бесповоротно…

Из автомата в вестибюле я позвонил дежурному по МУРу, узнать — нет ли каких новостей. Дежурил Кабанов из второго отдела, ленивый флегматичный парень, исключительно способный сыщик. Он специализировался в расследовании убийств, за что наш комиссар называл его шутя «Инспектор Кадавр».

— Тебе, Стас, какая-то женщина раза три звонила, — вяло сказал Кабанов. — Оставила телефон, просила позвонить.

— Как фамилия?

— Погодь, сейчас взгляну. У меня тут записано все, — я слышал, как он пыхтел в трубку — методично, ровно, уверенно, так же, как он

разматывает свои дела. — Вот, нашел. Доктор Константинова. Сказала, что ты знаешь.

— Знаю, знаю. Больше ничего?

— Пока бог миловал от новостей. Ну ничего, к полуночи появятся…

— Давай, старик, держись. Желаю спокойной вахты. Привет.

— Большой привет, — сказал лениво Кабанов и положил трубку.

Я посмотрел на часы — пять минут одиннадцатого. Звонить еще можно. Интересно, зачем это я так срочно понадобился ей? Набрал номер. Сначала никто не снимал трубку, потом подошла девочка и ответила тонким голоском: «А мамы нет дома, она в больнице на дежурстве…» Я набрал номер клиники и сразу же услышал голос Константиновой.

— Здравствуйте, это Тихонов. Вы мне звонили сегодня, я только что узнал.

— Да, я вас разыскивала по поводу Обольникова. Я не знаю, какие у вас планы, но я собираюсь завтра решать вопрос о нем…

— В каком смысле? — удивился я.

— Мы его завтра или выпишем, или будем оформлять принудительное лечение на режиме…

— А что случилось?

— Сегодня совершенно случайно санитарка обнаружила у него пузырек с соляной кислотой…

— С соляной кислотой? — не понял я.

— Да. Опытные алкоголики, попадающие к нам, пьют ее в слабом растворе — действие всех препаратов от этого нейтрализуется.

— Подождите, так ведь весь эффект лечения пропадает? — никак не мог сообразить я.

— Ну конечно! — сказала сердито Константинова. — Чего здесь непонятного — эффект лечения основан на возникновении биологического неприятия организмом алкоголя. А они, видите ли, не хотят лишать себя этого удовольствия…

— Но ведь Обольников сам явился в клинику для прохождения лечения?

— Не знаю, — устало сказала Константинова, — не знаю, зачем он это сделал. Может быть, у него были какие-то иные соображения.

— А как он себя вообще вел последние дни?

— Плохо. Грозился и упрашивал выпустить его из клиники, требовал отдать его одежду и отпустить. Я, естественно, отказала.

— Просил одежду? — переспросил я и вспомнил пустой гардероб в его комнате. — Доктор, если я сейчас приеду к вам, вы сможете показать мне

его одежду?

— Сейчас нет сестры-хозяйки, а ключи от кладовой у нее. Приезжайте завтра с утра — я сменяюсь в десять.

— Хорошо. До свидания…

Наконец закончился этот долгий трудный день.

Глава 8
Человека к благу можно привести и силой

Мастер Страдивари еще триста дней работал у старого Никколо Амати. Амати мучился ногами — они опухли чудовищно, превратившись в бесформенные ватные колонны. Ему стало тяжело работать у верстака, и он заказал себе высокий стульчик, вроде тех, что делают для детей, которые еще не достают до стола. И каждый день, кроме первого дня пасхи и рождества, он медленно, тяжело спускался по лестнице в мастерскую и строгал, пилил, вырезал и клеил скрипки, альты, виолончели.

Накануне страстной пятницы лекарь дон Себастиано пустил ему кровь, и мастер Никколо был слишком слаб, чтобы работать, но в мастерскую спустился и, сидя на своем стуле, смотрел, как Антонио натягивает струны на новую скрипку. Смотрел сердито, неодобрительно, потому что вся затея с этой скрипкой казалась ему глупой, недостойной серьезного мастера. Страдивари потратил на нее много месяцев, а в мире нет та-

кого фокуса, на который великий мастер может тратить столько времени. А эта скрипка — просто фокус, прихоть, пустой каприз таланта.

— Такие штуки уже пытался сделать один мой ученик, — недовольно говорил Амати. — Он пытался построить скрипку из волнистого клена — не получилось, потом он вырезал виолончель из альпийской сосны — ее нельзя было слушать, как колодезный ворот…

Антонио от удивления чуть не выронил скрипку из рук:

— Учитель, у вас были ученики? Я слышу об этом впервые!

Что-то похожее на румянец выступило на бледных отечных щеках Амати — он понял, что проговорился. И острые сердитые глаза покрылись тусклой пленкой старческой бессильной слезы.

— Я не люблю вспоминать об этом, потому что память о нем вызывает в моем сердце горечь.

— Он оказался плохим человеком?

— Нет, скорее я оказался глупым человеком.

Мастер смотрел в растворенное окно, туда, где по ярко-синему небу Ломбардии бежали на север к Альпам причудливые стада облаков. Одуряюще пахли азалии, и одинокая птичка в саду все время

испуганно вскрикивала — чью-итть! И все это так не вязалось со старостью, болезнью, бессилием, когда сам Страдивари чувствовал в своем сухом костистом теле одновременное биение тысячи быстрых, веселых и сильных пульсов…

— Его звали Андреа Гварнери, — сказал мастер Никколо, не заботясь о том, чтобы перекинуть хоть какой-то мост через паузу, наполненную тишиной, запахом цветов, бесследно растворившимися десятилетиями. — Когда он пришел ко мне, ему было столько же, сколько тебе сейчас. Я стар, чтобы лицемерить, поэтому я могу тебе сказать правду — он был талантливее тебя. Опытный садовник может много рассказать о цветке, который еще не раскрылся. А я уже был достаточно опытен, и очень скоро понял, что искусство моего ученика через несколько лет сравняется с моим. Его ждало бессмертие. Но людям останешься ты, а не он.

— Почему? — сердито, обиженно спросил Антонио.

Амати глянул на него искоса и усмехнулся:

— Не обижайся, сынок. Обижаться на правду глупо. Человек должен точно знать, чего он стоит. Андреа Гварнери погубил себя потому, что не знал своей настоящей цены. Он знал о своей та-

лантливости, но не знал или не хотел знать, что при этом он ленив, легкомыслен и духовно слаб.

— Он не любил работать? — спросил Страдивари.

— Как тебе сказать? Очень быстро он придумал лучший, чем у меня, математический формуляр обеих дек, он совершенно волшебно компонировал эфы и дужку. Но он так и не смог найти секрет лака. Понимаешь, везде, где требовалась настойчивость и прилежание, там кончался Гварнери. Он отличался от тебя тем, что ты живешь, чтобы придумывать новые скрипки…

— А он? — настороженно спросил Антонио.

— А для него это была одна из многочисленных забав в жизни. Он строил удивительную скрипку и на другой день исчезал на неделю с какими-нибудь бродягами и блудными девками, пьянствовал, устраивал драки, из озорства взорвал доганьерскую заставу на границе герцогства Веронского, за что его посадили в тюрьму. Андреа скакал на лошади, как кирасир, и дрался на шпагах, как пьяный мушкетер. Он играл в карты и дружил со всеми ливорнскими ворами. Андреа был жуликоват, как генуэзец, весел, как неаполитанец, и зол, как сицилиец. Побожиться на библии в заведомой лжи ему было как вы-

сморкаться. В конце концов я прогнал его — он взял мою скрипку и на деке приписал: «…и Андреа Гварнери» — и продал ее богатому купцу из Павии.

— И были тысячу раз правы! — с сердцем воскликнул Антонио. — Он же самый настоящий вор!

— Да, — задумчиво сказал Амати. — Я был тогда очень сердит. И все-таки моя вина в том, что я не смог из него сделать великого мастера. Тогда я не понимал, что человека к благу можно привести и силой…

— Добро нельзя внушить силой, — сказал Страдивари.

— Но силой можно победить зло, — нахмурился Амати. — Зло жило в нем самом, как демон. И этот демон праздности, жадности и тщеславия оказался сильнее Гварнери… А я — я не сумел помочь ему… С тех пор слоняется по свету пустое обличье человека и утверждает, что его зовут Андреа Гварнери. Но это вранье: я могу присягнуть, что мастера Гварнери сожрал изнутри маленький злой демон, рожденный его алчным и суетным сердцем…

Страдивари уже не слушал учителя — погруженный в раздумья, он мерил широкими шагами

мастерскую, рассеянно бормоча:

— Значит, он тоже искал в этом направлении…

Амати смотрел на новую скрипку, потом сказал:

— Чувствительность ели и клена очень различна. — И с сомнением покачал головой.

— Но в этом же все и дело! — воскликнул Страдивари. — Ель гораздо чувствительнее клена. Поэтому я рассчитал так, что скорость колебания нижней кленовой деки относительно верхней — еловой будет на одну четверть меньше. Каждая из дек будет иметь совершенно самостоятельный звук, но диапазон составит ровно один тон, и они неизбежно должны слиться и родить совершенно новое, доселе неслыханное звучание…

— А в каком положении деки будут давать резонанс? — недоверчиво спросил Амати.

— Вот этого мне и было всего труднее добиться! — со счастливой улыбкой сказал Страдивари. — Я подгонял их восемь недель!

Амати долго молчал, потом пожал плечами и сказал:

— Сынок, ты в этом уже понимаешь больше меня. Я знаю только, что в жизни столкновение двух разных и сильных характеров может породить

взрыв. Может быть, в звуке он родит гармонию…

Великий мастер Никколо Амати был болен, стар и утомлен жизнью. Он не знал, что его ученик Антонио Страдивари открыл новую эпоху в истории музыки…

* * *

На улицу Радио я приехал в девять. У Константиновой было бледное утомленное лицо, синева полукружьями легла под глазами, четче проступили обтянутые прозрачной кожей скулы, губы поблекли, выцвели.

— …А почему вас интересует его одежда? — спросила она.

— Потому что дома у него ничего больше нет…

— Понятно, — кивнула Константинова. — Вот опись его имущества, принятого на сохранение.

Я быстро просмотрел листок, исписанный вкривь и вкось фиолетовыми буквами. Пиджак коричневый, брюки х/б, рубашка синтетическая, майка голубая, кальсоны, полуботинки бежевые, ключи, паспорт, 67 копеек.

Ключи, ключи мне надо было посмотреть!

Кладовая находилась на втором этаже, рядом со столовой, в том коридоре, где Обольников устроил нам с Лавровой «волынку». Мне бы не

хотелось встретить его в этот момент, но поскольку бутерброд всегда падает маслом вниз, то уже на лестничном марше я увидел сияющую рыбью морду. Он мельком поздоровался со мной и сказал Константиновой:

— Доктор, просьба у меня к вам будет полносердечная. Уж не откажите мне в доброте вашей всегдашней…

— Слушаю вас, — сухо сказала она.

— Просился я выписать меня по глупости и моментальной душевной слабости, так как от лечения и всех выпавших на меня переживаний ослаб я организмом и духом. Но понял я в раздумьях своих, что, причиняя некоторые притеснения и ущемления, только добра и здравия желаете вы мне. Поэтому одумался я и прошу не выписывать меня, а лечить с прежним усердием и заботой…

От его ласкового простодушного нахальства у меня закружилась голова. Константинова полезла в карман халата за сигаретой, да, видно, вспомнила, что курить в лечебном корпусе нельзя, потерла зябко ладони, спросила прищурясь:

— Значит, вещи можно не отдавать и вас не выписывать?

— Не надо, не надо, — ласково, весело закивал

Обольников. — Уж потерплю я, помучусь маленько выздоровления ради.

Константинова посмотрела на меня вопросительно. Я сказал:

— Далеко не уходите, Обольников. Вы можете мне понадобиться.

— Хорошо и ладненько, — радостно согласился он, и я готов был поклясться — в мутных бесцветных глазах его сверкнуло злорадство, только понять я все не мог, что это могло его так обрадовать.

Сестра-хозяйка открыла дверь в кладовую — небольшую комнату, уставленную маленькими фанерными шкафиками — точь-в-точь, как в заводской или спортивной раздевалке. На шкафчике с черным жирным номером «63» была приклеена бумажка — «Обольников С. С.». Сестра вставила ключ в висячий замок.

Вот тут-то и произошел один из тех случаев, о которых принято полагать, будто они управляют путями закономерностей. Я так и не понял впоследствии, то ли у Обольникова не выдержали нервы, то ли он стал жертвой своей дурацкой примитивной хитрости, но когда сестра вставила ключ в замок, у нас за спиной раздался резкий скрипучий голос Обольникова:

— Это что такое? Вам кто давал разрешение копаться в моих вещах?

От неожиданности у сестры сильно вздрогнули руки и замок вместе с петлей выпал из дверцы шкафика. Замок повис на второй петле, а на его дужке бессильно моталась, еле слышно позванивая, петля, выскочившая из дверцы…

— Вы зачем туда лезете? Разрешение на такие безобразия имеются у вас? — во всю силу нажимал на голос Обольников.

На сером кафельном полу сиротливо валялся шурупчик. А петля-то на трех должна была крепиться к дверце. Видать, и этот — единственный — был привернут кое-как, держался на соплях. В том-то и дело: Обольников обскакал меня. Я вот ждал прихода сестры-хозяйки, а он ждать не стал. Молодец, Сергей Семенович, ай да молодец!

— Теперь вы понимаете, почему он передумал выписываться? — повернулся я к Константиновой. Но она еще этой конструкции продумать до конца не успела и смотрела на меня с недоумением.

— Что же это деется вокруг такое? — надрывался Обольников. — Земля, что ли, вовсе бессудная стала?

— Замолчите, Обольников, — сказал я злобно. —

Вот предписанное прокурором постановление на обыск в вашей квартире. Оно включает личный обыск.

Он замолк и долго внимательно смотрел мне в лицо неподвижными водянистыми глазами, только кончик носа чуть подрагивал. Потом он спокойно спросил:

— А чего же вы найти у меня хотите, гражданин хороший?

— Сядьте за стол и распишитесь, что постановление вам предъявлено.

— С большим нашим удовольствием, — ответил он почти весело, и я ощутил, что все в нем дрожит от сдерживаемого напряжения. Обольников поставил на бумаге нелепую витиеватую закорючку. — Так что вам от меня-то надобно?

— Я предлагаю вам добровольно выдать дубликаты ключей от квартиры Полякова.

Он глубоко вздохнул, и вздох этот был исполнен душевного облегчения. Ну что же, и мне надо привыкнуть к поражению. Обольников меня здесь переиграл, он успел раньше.

— Нету у меня ключей скрыпача. Напраслину на меня наводите. А коли нет веры простому человеку, работящему, не начальнику, ничем не заслуженному — то ищите, раз у вас права на

беззаконие есть…

Все перечисленное в сохранной описи оказалось в шкафчике на месте. Только ключей не было. Не только ключей Полякова — всей связки ключей, сданной Обольниковым при поступлении в клинику, не оказалось.

— Где же ключи ваши, Обольников? — спросил я. Он горестно развел руками:

— Я, между прочим, гражданин милиционер, еще в прошлый раз вам докладывал, что заняться здесь персоналом не мешало бы. Начинается с дармовой шамовки за счет больного человека, а кончается — и-и-и где — и не усмотришь! Так вам же за простого человека заступиться некогда…

Сестра-хозяйка, незаметная тихая женщина, начала тяжело, мучительно багроветь. Константинова прикусила губу, покачала головой и задумчиво сказала:

— Слушайте, Обольников, какой же вы редкий мерзавец…

— Конечно, раз меня вокруг обвиноватили, то и называть меня можно, как на язык ни попадет. Только не в МУРе власть кончается. И не в вашей больнице тюремной, пропади она пропадом. Я до правды дойду, хоть все ботинки истопчу.

Я достал из кармана перочинный нож, подошел

к двери кладовой и, осторожно засунув лезвие в замочную щель, легонько покрутил. Старый, разбитый английский замок поскрипел, чуть поупирался, потом послушно щелкнул — язычок влез в корпус замка. Я засмеялся:

— Вот она, вся ваша правда, Обольников…

— А че? — настороженно спросил он.

— Пока я собирался да потягивался, вы сегодня ночью открыли замок, вывинтили шурупы, влезли в шкаф и забрали ключи.

— Но мы не даем им ножей в пользование, — вмешалась Константинова.

— Да что вы говорите! — покосился я сердито. — Он же квалифицированный слесарь! Ему подобрать железяку — две минуты. Он и шурупы назад не завернул потому, что очень торопился…

— А вы это докажите еще! — выкрикнул Обольников.

Я усмехнулся:

— Зачем же мне еще раз собственную глупость и нерасторопность доказывать? Я для вас другие доказательства припас.

Я смотрел на его пылающие уши, синюшные изжеванные губы, волнистый прыгающий нос, и все во мне переворачивалось от острой, прямо болезненной антипатии к нему.

— Снимайте халат, надевайте вашу одежду, — сказал я.

Обольников потуже стянул на себе полы халата, будто щитом прикрываясь от меня, сипло спросил:

— Зачем? Зачем одеваться?

— Я забираю вас с собой.

— Почему? Куда с собой? — быстро переспросил он.

— В тюрьму.

Константинова испуганно отступила от меня, а сестра-хозяйка стала снова быстро бледнеть, пока багровый румянец недавнего смущения не застыл у нее на шее и подбородке красными студенистыми каплями. Обольников медленно, беззвучно сел на стул, замер неподвижно и только костистый огромный кадык, как проглоченный шарик от пинг-понга, ритмично прыгал — вверх-вниз, вверх-вниз. В кладовой повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь екающим громким дыханием Обольникова. Это длилось несколько долгих, просто бесконечных мгновений, и тяжесть этой тишины испуга была мне самому невыносима. И чтобы утвердить себя в своем решении, я повторил:

— Собирайтесь, я отвезу вас в МУР и оформлю

арест…

Обольников поднялся со стула, подошел к шкафику, достал одежду и начал снимать с себя халат, и по мере того как он переодевался, он двигался все быстрее и быстрее, пока его движения не стали бессмысленными в суетливой истеричности. При этом он непрерывно бормотал:

— Я сейчас… я сейчас… мигом я соберусь… я не задержу…

«..Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая:

— что для проверки собранных по уголовному делу данных требуется известное время;

— что, находясь на свободе, Обольников — как об этом свидетельствует эпизод похищения ключей из гардероба антиалкогольной лечебницы — может активно воспрепятствовать установлению истины,

— ПОСТАНОВИЛ:

Мерой пресечения в отношении подозреваемого Обольникова С. С. в соответствии со статьей 90 УПК РСФСР до предъявления ему в 10-дневный срок

обвинения избрать заключение под стражу...»

Комиссар дочитал, взял ручку, потом положил ее на стол.

— А почему только на десять дней? Почему ты не хочешь арестовать его до суда? — спросил он.

— Потому что, во-первых, нам еще не ясна его роль в этом деле. А во-вторых, в этом случае надо будет предъявить ему обвинение по всей форме. И тогда он будет точно ориентирован в том, что мы знаем, а где у нас — белые пятна.

Комиссар сказал:

— А как ты теперь это все представляешь?

— Я думаю, что Обольников навел «слесаря» на квартиру Полякова, непосредственно участия в краже не принимая. И скорее всего ключи передал ворам попользоваться.

Комиссар задумчиво-рассеянно смотрел мимо меня в окно, покручивая пальцем ручку на столе. Не оборачиваясь, спросил:

— Ты твердо веришь в такой вариант?

Я помолчал немного, тяжело вздохнув, ответил:

— Нет, почти совсем не верю...

— Почему?

— То, что Обольников побывал в квартире Полякова, сомнений не вызывает. Но если он действовал заодно с ворами, то зачем приходил слесарь? Ведь у Обольникова были ключи!

— Совпадения исключены?

— Полностью. Помните, Поляков говорил, что во время работы слесаря позвонили из школы и попросили выступить?

— Помню, — кивнул комиссар.

— Сказали ему, что это школа для больных детей. Этим вопросом заинтересовалась Лаврова…

— Кстати, как она там у тебя — ничего?..

— Толковая девица. Так вот, она потратила целый день, обзванивая все московские специальные школы…

— Выяснилось, что никто Полякова не приглашал? — спросил-сообщил комиссар.

— Точно. Напарник слесаря отвлекал внимание, чтобы тот мог снять слепки ключей. В этом ракурсе событий роль Обольникова мне совершенно непонятна…

— А Иконников? — спросил комиссар. — Что про него думаешь?

— Не знаю, — покачал я головой. — Человек он, конечно, неприятный…

Комиссар засмеялся:

— Хороший аргумент! Ты вот спроси Обольникова, он тебя как — приятным человеком считает?

— Так я и не говорю ничего. Но самостоятельная версия «Иконников — похититель скрипки» исключает версию с участием Обольникова…

Комиссар посмотрел на меня поверх очков:

— В таких сложных материях я бы не пренебрегал вводными словами: «мне думается» или там «вполне допустимо»…

— Можно и так, — согласился я. — Это по-дипломатичнее будет. Но штука в том, что я действительно уверен — нет между Иконниковым и Обольниковым никакой связи.

— Во всяком случае, внешней никакой связи не видно, — поддакнул мне ехидно комиссар. — А когда Иконников последний раз был у Полякова? Ты не поинтересовался?

— Почему не поинтересовался? Последний раз он был там лет двенадцать назад…

Ответил и понял, что комиссар что-то знает, что-то очень важное, и сознательно скрывает это, «заводит» меня сильнее. Комиссар откинулся в кресле, посмотрел на меня, потом открыл ящик стола и достал оттуда почтовый конверт.

— На, почитай, — протянул конверт с исполнен-

ным шариковой ручкой адресом: «Петровка, 38. Начальнику уголовного розыска». На тетрадном, в линейку, листе бумаги аккуратным почерком было написано:

«Прошу внимательно прочитать мое письмо и подумать над ним всерьез. В случае, если это не относится к вашей компетенции, прошу переправить его в надлежащие органы. В ночь, когда была совершена кража в квартире Л. О. Полякова, я совершенно случайно оказалась около его дома и видела, как П. П. Иконников выходил из ворот его дома с небольшим свертком в руках. Все эти дни я нахожусь в тягостном положении. Дело в том, что мы все — Поляков, Иконников и я — хорошо знакомы между собой, и если Иконников не имеет никакого отношения к краже, то, заявив о том, что я видела его в эту ночь на месте преступления, я бы поставила себя в ужасное положение. Но и судьба Полякова мне слишком дорога, чтобы занять просто нейтральную позицию. Может быть, я не набралась бы мужества и не написала этого письма, но

вчера я видела Иконникова, совершенно пьяного, он много болтал и, между прочим, сказал мне, что ждет какой-то депеши, и тогда, мол, все будет в порядке. Я всерьез обеспокоилась, что речь идет о судьбе бесценного инструмента. Поэтому я приняла решение написать вам, чтобы вы проверили это обстоятельство. Если вы соберете серьезные доказательства вины Иконникова, то я тоже дам соответствующие показания. В силу изложенных мною причин я не могу назвать своего имени, хотя понимаю, что это гадко. И все-таки не судите меня строго — не так легко сказать в лицо хорошо знакомому человеку, что он вор, не испытывая при этом достаточной уверенности в справедливости подобного чудовищного обвинения».

Я сложил лист, спрятал его в конверт, вернул комиссару. Он усмехнулся:

— Чего же ты мне его даешь? Зарегистрируй, подшей в дело и работай…

— Значит, все-таки Иконников? — подумал я вслух. — А вдруг нас наводят?

— Может быть, и наводят. Хотя по настрою письмо выглядит правдоподобно.

— Я себе с этим делом мозги вывихну, — сказал я.

— Ничего, — успокоил комиссар, — мы тебе их обратно вправим. Как ты думаешь, кто бы мог написать это письмо?

Я отрицательно покачал головой.

— Идеи есть? — спросил комиссар.

— Есть. Надо получить у прокурора санкцию на перлюстрацию корреспонденции Иконникова…

— Изумительная идея. По своей находчивости и остроумию. Но допустим. И что тогда?

— Если письмо не липа, настоящее если это письмо, то можно будет перехватить депешу. А если письмо — навет, никакого ущерба от этого Иконникову не будет…

— Резонно. Но безнравственно. Не подходит, — отрезал комиссар.

— Почему?

— Потому что нас с тобой судьба определила в дерьме барахтаться. И есть только одна возможность самому не обмараться — под наши с тобой благородные цели подкладывать только чистые методы.

— Я, между прочим, не любовной перепиской

соседей интересуюсь, — сказал я сердито.

— Еще бы не хватало, — хмыкнул комиссар. — Если бы ты располагал неопровержимыми доказательствами, что Иконников преступник, я бы согласился на такую меру. В целях его изобличения и возвращения похищенного. Но ты хочешь использовать чрезвычайное оперативное средство для того, чтобы проверить — вор Иконников или это нам только кажется. Такие опыты следователя знаешь куда могут завести?..

Комиссар присвистнул, выразительно присвистнул, посмотрел с интересом на меня — что, мол, я ему еще скажу. А я ничего не сказал. Чего мне с ним говорить. Он и понял это, потому что, помолчав некоторое время, сказал не спеша;

— Я вижу, недоволен ты мной, Тихонов. Но ничего не поделаешь, придется тебе смириться с моим решением. Вот сядешь на мой стульчик через сколько-то годков, тогда и покомандуешь в соответствии с законом и своим правосознанием.

Я промолчал, пожал плечами — чего говорить, если разговор получился несерьезный, а комиссар пригладил пухлой ладошкой волосы, сказал, ухмыляясь золотыми зубами, и в этот момент я его сильно не любил:

— У образцового сыщика, Тихонов, лицо должно быть всегда непроницаемым, а у тебя сейчас на лбу, как на крыше «Известий», текст идет аршинными электрическими буквами. Хочешь почитаю? Тебе ведь не видать, что там, на лбу, написано…

— За текст писанный, а не сказанный, на гауптвахту не сажают. Так что можно прочитать…

— Ну, спасибо. А написано у тебя следующее: хорошо начальству свою добродетельность показывать, когда рядовые своими руками жар гребут. Побегал бы ты, начальничек, по этому делу с мое, небось по-другому запел бы. «Висячка»-то нераскрытая за мной числится, а не за комиссаром. И много других мыслей аналогичного содержания… Как, правильно я почитал, а, Тихонов?

— Вам лучше судить, — осторожно сказал я. — Мне ведь не видать, что там на моем лбу написано.

— Вот и отлично, раз мне лучше судить, — оживился комиссар. — Я только напомню тебе, что за последние дни я твой душевный покой ни разу не смутил бестактными вопросами: «Как там ты, Тихонов, поворачиваешься со скрипочкой ворованной?» Потому что ты в розыске восемь лет трубишь, а я двадцать пар сапог здесь износил и

понимаю, что в нашем деле ничего нет хуже, как под руку подталкивать. А вот различные руководители учреждений и ведомств, обеспокоенные судьбой скрипки — люди цивильные, штатские, они-то этого не знают. Не знают и звонят мне по десяти раз на дню. И все спрашивают: когда скрипку подадите?

— У нас здесь не плановое производство, — слабо отбрехнулся я.

— А они этого не знают и знать не хотят. И вполне справедливо не хотят. Ты никогда не задумывался над тем, что, помимо угрозы преступникам, мы выполняем в обществе еще одну серьезную работенку…

— Какую?

— Простой человек засыпает спокойно, зная, что его милиция его бережет. Поэтому, когда мы две недели не можем отыскать скрипку, вокруг начинают подумывать — а если у меня сегодня барахлишко из квартиры ночью вынесут?

— Вот и надо наложить арест на корреспонденцию, чтобы не успели другие напугаться…

— Э нет, друг ты мой ситный! Давай удовлетворять свою любознательность способами, менее болезненными для достоинства интересующих нас людей. Давай условимся, что каждый человек

честен, пока мы не докажем противного.

Я сочувственно покачал головой:

— Это действительно очень приятно так считать. Но в наших делах затруднительно.

— Чай с пряниками пить не затруднительно, — сказал комиссар. — А в МУРе вообще работать затруднительно. И правду умом ищут, а не хитростью…

От комиссара я ушел расстроенный, злой и, хотя время еще не перевалило за полдень, чувствовал себя каким-то усталым, невыспавшимся, разбитым. Твердо полагая теперь, что к краже имеют отношение два человека — Иконников и Обольников, я никак не мог представить себе, что может объединить этих удивительно непохожих людей.

У дверей моего кабинета стояла жена Обольникова — я узнал ее, только когда она поздоровалась со мной. Лицо ее отекло еще больше, запали глаза, вид совсем больной был у нее.

— Меня по телефону вызвали… — сказала она.

— Да, я знаю, заходите, — пропустил я ее в дверь. — Раздевайтесь, присаживайтесь к столу…

Руки, изуродованные, с полопавшейся кожей, в ссадинах и заусенцах, бессильно лежали на

коленях, и смотрела она робко, готовая покорно принять новый удар. Ей-то за что все это достается?

— Евдокия Петровна, сегодня утром я арестовал вашего мужа.

Она кивнула, будто давно ждала этого, готова была узнать еще в прошлый раз, но вот перенесли на сегодня, так ладно, пускай будет сегодня, она к позору приготовилась всей своей тягостной жизнью.

— Мы считаем, что он причастен к краже в квартире Полякова.

Она отрицательно помотала головой, по щеке пробежала и бесследно затерялась в складках морщинистой отечной щеки серая одинокая капля.

— Вы не согласны? У вас есть какие-то другие соображения?

Так же устало, безразлично она снова потрясла головой, из-под платка повисли редкие седые прядки.

— Вы знаете, что он перед самой кражей был в квартире Полякова?

Обольникова кивнула — да, знаю. И на ее бесцветном блеклом лице лежала просто тысячелетняя усталость, будто вся она была присыпана

прахом страдания всех несчастных людей, измельченных колесами времени.

— Когда именно? Какого числа он был в квартире ваших соседей?

Она посмотрела мне в лицо своими светлыми бездонными глазами, и у меня возникло ощущение, будто я сорвался в колодец.

— За день до кражи, — сказала она.

— Как вы об этом узнали?

— Увидела, — сказала она тем же невыразительным стертым голосом. — Ночью проснулась — нет его. Меня как в сердце толкнуло, встала, пальто прямо на рубаху накинула и вышла на лестницу. Смотрю — а он из квартиры Льва Осипыча выходит…

— Что у него в руках было?

— Ничего не было.

— А ключи он ваши взял?

— Нет, — она снова покачала головой. — Я думаю, он не воровал ничего, он ключи, наверное, сделал и кому-то дал…

— Что вы сказали ему, когда увидели его у дверей Полякова?

— А что же тут скажешь? Его уже никаким словом не проймешь.

Я спросил:

— Но ведь он должен был вам как-то объяснить свое поведение?

— Он сказал, что не заходил в квартиру. Мол, ему показалось, что кто-то ходит на лестнице, и он пошел посмотреть. Он так сказал.

— Вы ему верите?

— Нет. Врет он все. Ключи у него свои были.

— Почему же вы все время молчали? Почему вы мне сразу об этом не сказали? — спросил я.

Она долго не отвечала, потом подняла на меня взгляд, медленно, хрипло сказала:

— Не дай вам бог, молодой человек, когда-нибудь в жизни отвечать на такие вопросы…

Она заплакала, и чем быстрее бежали слезы, тем сильнее и сильнее она плакала, пока плач не перешел в судорожные рыдания, почти беззвучные, но все ее разбитое дряблое тело сотрясалось от этих всхлипываний, которые дождем, размывающим земляную плотину, сметали теперь все ее закаменевшее в ужасном двухнедельном ожидании напряжение и страх. Сквозь слезы она бормотала:

— У вас же тоже есть мать… вы поймите меня… я не могу, чтобы у Геночки на службе узнали об этом… он вся жизнь моя… не пишите об этом к нему в часть…

Я протянул ей стакан воды:

— Да почему вы решили, что я собираюсь ему писать в часть? У меня и в мыслях этого не было!

Она пила крупными глотками воду, громко стучали зубы о край стакана, и капли темными пятнами расползались на светлом паркетном полу…

Педагог по вокалу Гнесинского училища Анна Александровна Яблонская торопилась на занятия, и в нашем распоряжении было всего несколько минут. Говорила она быстро, стремительно, четкими законченными периодами, вбивая в меня информацию, как опытный клепальщик загоняет в лист серию заклепок.

— …Мой бывший супруг Павел Петрович Иконников — человек бесконечно и очень разносторонне одаренный. Еще во время нашей совместной жизни я не раз думала о том, какое счастье, что он посвятил себя доброму делу. Потому что личность, подобная ему, обуреваемая злыми страстями, превратилась бы в стихийное бедствие…

— Меня интересует, корыстен ли Павел Петрович, — спросил я.

— Корысть абсолютно чужда ему. Он настоящий бессребреник. Он и славу свою и положение

протратил, как загулявший мот…

— Как же это могло произойти? Он ведь сильный человек?

— Нет, он не сильный человек. Он совсем слабый человек, без внутреннего каркаса…

— Как, как? — не понял я.

— Ну, мне это трудно объяснить. Он распорядился собой как бездарный тщеславный строитель. Понимаете?

— Не совсем, — сказал я осторожно.

Она сердито тряхнула головой, раздосадованная моей непонятливостью. Ну и слава богу. Она, к счастью, не знает, что лучшая собеседническая добродетель сыщика не сообразительность, а терпеливая внимательность. Пока человек говорит сам, его не надо сбивать своими догадками и предположениями.

— Мне кажется, что на сооружение каждого человека, как на дом, отпущен определенный фонд, и использовать его надлежит целесообразно — чтобы хватило на все. Это, так сказать, в оптимальном варианте. А Иконников выстроил роскошный фасад, подъезд с колоннами, портик с лепниной. И тут средства кончились. А жилья за этим шикарным входом не оказалось — и пришлось ему обитать в великолепном беломра-

морном подъезде. Представляете, каково живется человеку в парадном?

— Но он ведь долго не знал, что это парадное? Он же думал, что это жилье?

Она грустно улыбнулась:

— Знал. Как не знал? И мне не мог простить, что я это тоже знаю…

— Но не всегда же так было?

Она беспомощно развела руками:

— Да, не всегда. Но его судьба была предопределена.

— Почему вы так думаете?

— Почему? — переспросила она. — Я много думала над этим, но поняла все только много лет спустя. Дело в том, что Иконников нес в себе зерно своего разрушения. И чем большего он добивался, тем глубже пускало оно корни. Пока не одолело его самого…

Я промолчал. Она задумчиво сказала:

— Не знаю, обладал ли он задатками действительно гениального скрипача, но мне кажется, что обладал. Во всяком случае, он-то полагал о себе, как о состоявшемся гении. И это его погубило, потому что его жизненной философией стал девиз «гению все дозволено». И гению действительно дозволено все, но только в том, в чем он

гений. А во всем остальном ему — нельзя. Нельзя все! Точнее будет — ничего нельзя!

— Ну, не такие уж аскеты все признанные гении, — усомнился я.

— Не в аскетизме дело. Но гений — это просто человек, наделенный каким-то необычайным дарованием. Во всем остальном — по физическим и моральным возможностям, по ресурсу времени — он равен всем остальным людям. И чтобы гениальность его получила должную огранку и становление, ему надо пренебречь очень многим из того, что доступно всем остальным людям. Иначе ему просто не хватит времени и сил…

— А Поляков? — спросил я.

— Поляков? — усмехнулась она. — Левушка и сейчас, не считая концертов, занимается по шесть часов в день. А он уже тридцать лет всемирно признанный музыкант. Он себя сам лишил многих прав, наделив бесчисленными обязанностями…

— Чем вы объясняете неприязнь Иконникова к Полякову?

— Это в двух словах не скажешь. Но мне думается, что причина — в крахе жизненной концепции Иконникова.

— При чем же здесь Поляков?

— При том, что это было столкновение двух мировоззрений. Поляков несет свои обязанности, чтобы служить музыке и людям, а Иконников добивался прав, чтобы музыка и люди служили ему. А поскольку с жизнью не поспоришь, то Иконников свел эту проблему к спору с конкретной личностью.

— У них были и прямые столкновения?

— Насколько я знаю, нет. Но их взаимоотношения испортились давно, еще во время войны.

— А что послужило причиной?

Она задумалась, и мне показалось, что ей не хочется говорить об этом, но она махнула рукой и сказала:

— Я, конечно, не стала бы говорить об этом сейчас снова после стольких лет. Но я расскажу вам эту историю с одной-единственной целью: чтобы вы поняли, что Иконников не имеет никакого отношения к краже скрипки. Он слабый и трусливый человек, и поняла я это, когда ему с Поляковым предложили выступить с концертом в осажденном Ленинграде. Я помню, что он впал тогда в ужас. Это была просто истерика. Он привык ко мне, как к вещи домашнего пользования, и потому даже не стеснялся меня. Его охватила такая паника, что он плакал ночью…

— Но почему? — искренне удивился я.

Она снисходительно посмотрела на меня:

— Вам было тогда пять лет, и сейчас это трудно представить — что такое Ленинград зимой сорок третьего года.

— И что сказал Иконников?

— Мне? Он положил трубку на рычаг после этого звонка и сказал: все, мне пришел конец, они хотят меня угробить.

— Он отказался ехать?

— Нет, он дал согласие. Но всю ночь метался по квартире и кричал: «Я не умею плавать!..» «Каждая десятая машина на озере проваливается под лед!», — истерически кричал он мне, когда я пыталась его успокоить. К утру у него началась лихорадка…

— А Поляков?

— Левушка уехал один.

— Они не ссорились перед отъездом?

Яблонская засмеялась, и я увидел, что в глазах ее стоят слезы:

— Левушка — ребенок. Он перед отъездом носился как угорелый по всей Москве и достал за какие-то сумасшедшие деньги Павлу сульфидин. Тогда его было невозможно добыть нигде…

Она отвернулась, раскрыла сумку, достала пла-

ток, провела им по глазам движением быстрым, еле уловимым.

— С Левушкой поехал наш общий приятель — администратор Марк Соломонович Прицкер. Он рассказывал мне, что перед началом Ледовой дороги Лева попросил остановить машину и накачать запасную шину…

— Камеру?

— Ну да, камеру, наверное, не знаю, как это называется. То, что надевают на колесо. Достал две басовые струны, привязал к камере футляр со «Страдивариусом» и положил это сооружение в кузов едущего за их «эмкой» грузовика. «Кто знает, что может случиться на такой дороге, — сказал он Прицкеру. — А так я буду спокоен за инструмент — его наверняка подберут из воды…»

Она уже не скрывала катившихся из глаз крупных горошин слез и только пыталась улыбнуться, но улыбка получалась у нее застенчивая, робкая, как будто ей сейчас не шестьдесят, а снова двадцать.

— Вот видите, что с нами делает память, — сказала она. — Я-то думала, что все это давно уже умерло, засохло, пропало…

Помолчала и добавила:

— Главный выбор в жизни доводится сделать

один раз. И очень часто мы делаем ошибку, потому что есть только два решения: «да» и «нет». Середины не дано…

И я понял, что за этим глубоко лежит еще один пласт их отношений, куда мне не было ходу, да и, судя по всему, не касалось меня это, потому что говорила она сейчас не только об Иконникове, но и о себе тоже, и Поляков был где-то Между ними, но выбор был сделан давно, и ничего здесь уже не изменится, потому что никто не выбирает себе мужей по степени их гениальности, а слияние таланта и характера — такая же иллюзия, как сомкнувшиеся у горизонта рельсы…

Глава 9
Горький дым страха

Весной 1667 года в Кремону прикатил роскошный дормез, запряженный четверкой сытых белых лошадей. На лакированной дверце кареты сияли вензеля и гербы — лорд Каннинг прибыл к мастеру Амати за заказом Карла II. Виолончель, альт и две скрипки — малый ансамбль — были упакованы. Лорд Каннинг, не скрывая, что он только исполнитель чужой воли в этой глупой затее, выстроил на столе длинный ряд аккуратных столбиков из тускло светящихся соверенов, вручил Амати благодарственный рескрипт короля, отказался от праздничной трапезы и укатил на юг, в Геную, где его уже дожидался сорокапушечный фрегат «Эмпайр» — король не хотел доверять такую уникальную коллекцию инструментов великого мастера превратностям неспокойных дорог Европы, раздираемой войнами, смутами и бунтами.

Амати и Страдивари стояли у окна, глядя, как оседает на дороге белая пыль из-под высоких колес кареты. Алебардщики на заставе лениво

приподняли древки, слабо загромыхал настил на мосту, и яркий экипаж исчез из виду. Амати сказал:

— Ну что ж, сынок, и тебе пора собираться в путь…

— Вы гоните меня, учитель? — удивленно спросил Антонио.

Амати грустно засмеялся, покачал головой.

— Когда ты был слеп, я был твоим поводырем в краях неведомого. Теперь ты прозрел, и моя спина загораживает тебе солнце…

Страдивари хотел что-то возразить, но Амати поднял руку:

— Не перебивай меня, сынок, и не спорь со мной. Эти монеты, — он кивнул на ровные золотые столбики, — дадут тебе возможность купить дом и открыть мастерскую. Тебе надо жениться, иметь верную подругу и добрых детей. У гения мало времени, он не может бродить по свету в поисках любви, ибо творит любовь руками своими для всех.

— Но мне не полагается никакой платы, — растерянно сказал Страдивари. — Ваша наука — плата за мой труд.

Амати отмахнулся:

— Мастера не могут расплачиваться деньгами

между собой. Деньги — ничто в сравнении с тем, что дают они друг другу. Ты расцвел яркой ветвью на усыхающем древе жизни моей, и не нам решать — кто из нас больше обязан…

Страдивари преклонил колено и поцеловал тяжелую и твердую, как дорожный камень, руку Амати.

— Спасибо вам, учитель, за все…

— Перестань, — сердито сказал Никколо. — Не заставляй меня говорить слова, которые украшают наше сознание и повергают в стыдливость, как только мы произносим их вслух…

Молча, торжественно отобедали, и хотя Страдивари, уйдя от Амати, никуда из Кремоны уезжать не собирался, настроение было у обоих грустное, как перед расставанием надолго, а может быть, навсегда. Когда подали сладкое с добрым монастырским ликером бенедиктинцев, Амати сказал:

— Я всю жизнь боялся старости, потому что это какое-то растянутое в десятилетия непрерывное прощание. Все время с кем-то или чем-то расстаешься. Ушли родители, поумирали друзья, женятся и уезжают дети, выходят в люди и покидают ученики, околел пес, в саду пришлось выкопать засохшие яблони, которые я посадил

тоненькими саженцами. Семьдесят лет на одном месте — как это ужасно долго! И как прошло все это быстро — один миг!

— А скрипки? — спросил Антонио.

Амати кинул на него быстрый взгляд из-под тяжелых набрякших век:

— Скрипки? Скрипки остаются. Недавно меня охватил испуг — я пытался вспомнить лицо матери и не мог. Понимаешь? Я забыл лицо матери! Так много лет прошло со времени ее смерти, что я забыл ее лицо. А скрипки — все, все до единой, я помню по голосу, я помню их лица, и руки хранят тепло их прикосновения. Я помню их, как отец, я люблю их нежно и больно, как любит старый муж молодую красавицу жену, и знает, что она наверняка переживет его, и когда он превратится в ничто, кому-то другому она отдаст свое тепло, и это не вызывает горечи, скорби, а тихую светлую надежду, что она и после него будет счастлива и прекрасна… А я уже очень стар…

* * *

Утром, когда я отворил дверь кабинета, Лаврова уже допрашивала Обольникова. В камере предварительного заключения с него сняли брючный ремень и вытащили из обуви шнурки, и оттого,

что он все время поддергивал штаны, а вставая со стула, волочил по полу ботинки, вид у него был еще более жалкий.

— Значит, вы категорически опровергаете показания жены о том, что она застала вас выходящим из квартиры Полякова? — спросила Лаврова.

Обольников прижал руки к сердцу и согласно закивал:

— Опровергаю, опровергаю, гражданка начальник. Не было этого ничего.

— И на лестнице около дверей Полякова она не могла вас видеть?

— Не могла, не могла, — подхватил Обольников. — Я, гражданка начальник, по ночам не имею привычки шемонаться под чужими дверями.

Меня очень рассмешило это нелепое обращение — гражданка начальник, и Лаврова это заметила. Она сердито сказала ему:

— Я вам в третий раз говорю, чтобы вы меня не называли так. Обращайтесь ко мне по фамилии или должности и оставьте себе эту дурацкую «гражданку начальника».

Обольников вздохнул и с обычной нравоучительной нотой, от которой он не мог избавиться,

даже придерживая штаны руками, сказал:

— Так, как бы я вас ни называл, вы мне все равно гражданка начальник. Теперь, когда я безвинно обвиновачен, мне всяк пес на улице начальник. А уж вы-то, гражданка инспектор, тем более…

Я сел за свой стол и стал слушать их разговор. Меня заинтересовало — стелиться будет Обольников или нагличать, ведь другой манеры, поведения я у него не мог предвидеть.

— Надсмеялась надо мной судьба на старости лет, — рассуждал Обольников. — Взрастил детей, семью воспитал, и от них же теперь позор и муку принимаю…

— Тоже мне король Лир отыскался, — усмехнулась Лаврова. — Скажите, какой смысл вашей жене клеветать на вас?

Обольников подумал не спеша, воздел палец, сухой, маленький, злой, и сказал значительно:

— А как же — молчать я, что ли, буду? Конечно, скажу. У вас скажу и во власти превеликие добьюсь со словом правды, коли здесь меня услышать не захотят…

— Захотят, — успокоила его Лаврова. — Говорите, мы слушаем вас.

— Так слушаете с неохотой большой и невери-

ем в слова пострадавшего человека! А ведь вы правду насквозь — на три вершка вглубь должны видеть и бороться за нее, невзирая ни на что — чины там у других и звания или только мозоли да стенания! Он ведь вас чему учил? А-а? — показал Обольников через плечо на большой портрет Дзержинского, висевший над моим столом.

Я даже рот открыл от изумления. Лаврова взбеленилась:

— Вы нас не учите, за что нам бороться! Ишь, педагог нашелся! Вы на мои вопросы отвечайте! Страстотерпец какой, правдолюб из вытрезвителя!

Обольников испугался и, как жук, мгновенно задрал лапки вверх:

— А я разве что? Чего я сказал? Я на любой вопрос отвечать готовный.

— Я спрашивала, почему вы отрицаете правдивость показаний вашей жены!

— Как же не отрицать? — быстро сказал Обольников. — Человек она плохой, в тюрьму меня упечь хочет.

— Вот теперь все понятно, — спокойно сказала Лаврова. — Она человек плохой, а вы хороший. Поэтому она хочет вас упечь в тюрьму?

— Поэтому, поэтому, — согласился Обольников,

и по тому, как он вдруг оживился, я понял, что ему пришла в голову толковая идея. — Еще у нее главный расчет от меня избавиться по аморалке…

— Чего-чего? — переспросила удивленно Лаврова.

— Хахаль у нее есть, любовник значит…

— У кого? — не поняла Лаврова.

— У супружницы моей разлюбезной! У кого же еще! Меня в тюрьму, его — в дом, в постелю мою неостывшую… — он выжидательно помолчал, глядя на нас с интересом и оценивая результаты предпринятого демарша.

А мы молчали. Я-то таких типов уже навидался, а Лаврова от встреч с ними начинала сильно волноваться. На лице ее была написана такая брезгливость и такая мука, будто ее заставили держать голыми руками крысу.

— Эт… это… — от волнения она стала заикаться, и я понял, что мне пора вмешаться.

— Одну минуточку, инспектор Лаврова, — остановил я ее. — Вот смотрю я на вас, Обольников, и думаю, что это неправильно, когда закон и наша мораль начисто исключают возможность телесных наказаний. Вас надо сечь. Не бить, а именно сечь. Розгами солеными. Только страх перед близкой поркой может вас некоторое время

удерживать от негодяйских поступков…

Обольников вскочил, дернул себя за ворот, дернул аккуратно, чтобы не оторвать пуговицу — в камере-то прохладно, крикнул со слезой:

— Бейте! Дойдут мои слезные просьбы до властей справедливых! Не поздоровится вам за угрозы побойные! Вам это битье еще боком выйдет!..

— Сядьте, Обольников, — сказал я тихо. — Вы неэкономно расходуете силы. Поберегите этот заряд для жалоб. И напишите там так же, это будет чистая правда: я с удовольствием выпорол бы вас собственноручно. И сек бы до тех пор, пока не услышал в ваших воплях глас искреннего раскаяния. Ей-богу, нельзя жить таким оголтелым негодяем.

— И за оскорбления моей личности тоже ответите! — крикнул снова Обольников, тонко, с бессильной злой хрипотцой.

Зазвонил телефон. Я снял трубку — вызывали из дежурной части. Обольников что-то говорил, размахивая руками, но я не слышал его, будто оглох от орудийного разрыва.

В радиомастерской на станции Немчиновка обнаружили магнитофон, украденный из квартиры Полякова…

На стеклянной двери радиомастерской висела табличка: «Закрыто на учет». Мы вошли, и я увидел, что инспектор 4-го отдела УБХСС Севастьянов, сидя верхом на стуле, ведет неторопливую беседу с приемщиком.

Приемщик, юркий, веселый парень, ухмылялся. И Севастьянов тоже благодушествовал. Только бутылочки с закуской не хватало им — такая у них протекала душевная дружеская беседа, так все было непринужденно, спокойно, разбавлено юмором и беззаботностью. Но бутылочки не было, а стоял вместо нее на столе портативный кассетный магнитофон, и надо прямо сказать, что приемщику сильно не повезло, когда он попал в мягкие объятия Севастьянова. Года три назад мы совместно раскручивали дело об убийстве председателя артели, совершенно запутавшегося в грязных махинациях, и должен заметить, что хватка у Севастьянова просто бульдожья — мягко так, ласково, с шуточками и прибаутками он так прижал тех жуликов, что они вынуждены были в конце концов признаться во всем.

Увидев меня, Севастьянов сказал:

— А-а, вот и главный наш прибыл!

Я поздоровался и сел в кресло у стойки.

— Вот, товарищ начальник, решил с вами по-

советоваться, как быть. Дело-то пустяковое, но все-таки…

Никакой я ему не начальник — он вовсе в другом управлении работает, причем в той же должности, капитан, — так же, как и я, но раз он ведет такую линию, значит и мне следует ему поддакивать.

— Обнаружил я у приемщика товарища Комова бесквитанционку. Не выписал он, значит, квитанцию и наряд на ремонт магнитофончика…

— Да бросьте вы, товарищ инспектор, шум из-за ерунды поднимать, — перебил его Комов. — Какая это бесквитанционка? Ну, приятель зашел, предохранитель ему надо сменить. Что я с него, восемь копеек получать буду? Давайте я сам за него в кассу их внесу и оформлю заказ, если уж на то дело пошло!

Севастьянов сказал нравоучительно:

— Дружба дружбой, а денежки врозь. Особенно если они через госкассу проходят. Один — восемь копеек, другой — восемь рублей, а третий…

— Что третий? — спросил Комов. — Вы же, кроме этого «Филипса», не нашли ничего. Так зачем обобщать? Вот и давайте говорить про восемь копеек. Хотя, честно говоря, про восемь копеек и говорить-то совестно…

— Вот видите, Комов, какой вы совестливый да широкий человек. Не то что мы — копеечные душонки, крохоборы, — засмеялся Севастьянов. — Только как мне в невежестве моем техническом знать — восемь копеек или восемь рублей?

Комов быстро зыркнул по нему острым глазом, небрежно бросил:

— А вы проверьте….

— Так я ведь не понимаю в этом ничего, — развел Севастьянов руками.

— Тогда и говорить на людей зря не надо, — серьезно сказал Комов.

Севастьянов, прищурившись, посмотрел на него, и я понял, что его тихо веселила гоношня этого парнишки. Он сказал мне:

— Станислав Павлович, вы-то наверняка в этой технике разбираетесь. Поглядите, там что, действительно только предохранитель сгорел?

Взгляд Комова метнулся мне в лицо, как удар, я ощутил, как его взгляд давит на меня, спрашивает, волнуется, боится. И пока он смотрел на меня, в это короткое мгновение Севастьянов быстро, еле заметно подмигнул мне. Я взял в руки магнитофон, маленький, элегантный, в белом пластмассовом футляре. На задней стенке была прикреплена табличка — фирменный знак с дав-

леным номером: НВ-182-974. Это был, несомненно, магнитофон Полякова. Первая встретившаяся нам вещь из всего похищенного.

Я подержал магнитофон в руках, поставил его на прилавок, подвинул к Комову:

— Открывайте крышку, посмотрим…

Вся штука в том, что мне в магнитофон или в синхрофазотрон смотреть можно с одинаковым успехом. Я по этому делу — ни бум-бум. Но ведь Севастьянов что-то имел в виду, предлагая мне смотреть в непостижимое для меня переплетение проводков, конденсаторов и сопротивлений. И когда крышка со щелчком соскочила с пружин, я вспомнил. Вспомнил! Я ведь сам составлял ориентировку для розыска вещей…

Мельком заглянул в нутро магнитофона, положил на него руку и сказал Комову:

— Так что, только сопротивление сгорело?

Он нервно дернул плечом:

— Не знаю. Он говорил только про сопротивление. Я еще сам не смотрел.

— Бьюсь об заклад, что в этом магнитофоне сгорел мотор! — сказал я с вызовом. — И вы собирались перемотать моторчик.

— Ничего я не собирался перематывать, — уныло сказал Комов, и даже блеск его золотой

коронки сильно потускнел. — Попросил взглянуть приятель. Я и оставил до вечера…

— Значит, вечером зайдет приятель? — спросил я.

— Ну, может, сегодня вечером, а может, завтра утром. Срочности-то никакой в этом нет.

— А как зовут приятеля? — подал голос молчавший до этого Севастьянов. — Где живет приятель? Чем занимается? Как говорится, паспортные данные…

— Не знаю, — сгоряча ответил Комов.

— Вот это да! — удивился Севастьянов. — Как приятеля зовут, не знаете?

— Да нет, как зовут знаю. Коля его зовут, а больше ничего не знаю.

— Беда-а! — сказал выразительно Севастьянов. — Плохую вам работенку организовал приятель Коля…

— Ну, хорошо, хорошо! — взорвался Комов. — Застукали с бесквитанционкой, обрадовались! Подумаешь тоже, государство я разорил этой халтуркой! Составляйте протокол — и концы…

— Э, нет. Куда торопиться-то? — сказал лениво Севастьянов. — Начали мы с восьми копеек, теперь тариф поднялся, глядишь, и что-нибудь интересное всплывет. Вы нам про приятеля рас-

скажите поподробнее. Откуда знаете его, как и где познакомились, внешность опишите…

— Да вы что, инспектор, шутите, что ли? Зачем это вам все? — яростно сверкнул зубом приемщик.

— Он вообще большой шутник, — сказал я. — Он сюда специально из Москвы пошутить приехал. Ну-ка, давайте подробнее рассказывайте все про своего приятеля!

— Да? Да? — задохнулся от сердитости Комов. — Тогда я вам вообще ничего не скажу! Можете меня в своем БХСС за бесквитанционную работу оштрафовать или освободить от руководящей должности. Больше мне ничего не полагается! Не боюсь я вас…

— Значит, УБХСС не боитесь, — сказал я с придыханием. — А как в смысле МУРа? За укрывательство краденого не штраф полагается, между прочим…

Я протянул ему свою квадратную красную книжечку:

— Так как, для МУРа не вспомните что-нибудь о приятеле, который сдал вам на ремонт ворованный магнитофон?

Комов плюхнулся на стул, ошарашенно переводя взгляд с меня на Севастьянова, который,

сочувственно качая головой, сказал:

— Вот они, рубли-копеечки. У вас срок исполнения заказов две недели, а приятелю-то без квитанции, наверное, к завтрему обещали маг подготовить?

— Ну так что, Комов, будем вспоминать? — спросил я. — Вы вон собирались за приятеля деньги даже в кассу внести, неужто вспомнить о нем нечего?

Комов сглотнул слюну, у него, видно, сразу во рту пересохло.

— Предлагаю вам, Комов, дать официальные показания о том, как у вас оказался этот магнитофон, — сказал я. — Учтите — это допрос с записью в протокол, и я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. И если вы снова начнете нам врать — смотрите!

Комова наконец прорвало:

— Да я… Да я… Если бы я знал… Я ведь ни сном, ни духом… Хотел подкалымить синенькую, было дело… Ну, думаю, подгорел маленько на бесквитанционке… Не удалось левака сомнуть… Но ворованный?! Я, ей-богу, этого знать не знал…

— Ну, вот теперь знаете, — успокоительно сказал Севастьянов. — И, как говорится, с чистой совестью — на волю…

Комов и впрямь успокоился, потому что он недовольно покосился на Севастьянова.

— Это вы бросьте, я еще, слава богу, не в колонии, чтобы такие лозунги читать. И быть там не собираюсь...

— Вот это хорошо! — проникновенно, с чувством сказал Севастьянов. — Так, значит, как дело было?..

— Вчера принесли эту машину два пацана лет по семнадцать, лохматые такие, нестриженые, под битлов работают. Посмотрел я, говорю — обмотку менять надо, на завод отправим, недельки через две будет готов. А им, видно, невтерпеж танцы свои дикие под него сплясать, они привязались ко мне — нельзя ли побыстрей? Ну, я и этого, значит, того, после работы решил подзадержаться, перемотать им крутилку. За пятерик сговорились — завтра должны прийти забрать. Откуда мне знать, что они его уперли?

— Когда придут битлы-то? — спросил Севастьянов.

— К завтрашнему утру договорились.

Мы посмотрели с Севастьяновым друг на друга, и в глазах его я прочитал мучивший меня вопрос: что теперь делать с Комовым? Оставлять его здесь было нельзя.

— Ох, Комов, Комов, — тяжело вздохнул Севастьянов.

— Чего — Комов? — сказал он угрюмо.

— Вдруг вы снова с нами шутки шутите? А? — взглянул Севастьянов, прижмуривая на приемщика зеленый, в рыжих крапинках глаз.

— Да зачем мне теперь-то врать? — сказал с сердцем Комов.

— Это не вопрос, — сказал я. — Врать вообще некрасиво и по-своему даже невыгодно. А ведь случается еще изредка — врут люди. Бывает…

— Как говорится, мрачное наследие в нашем сознании, — сказал Севастьянов. — Я вот с полчаса назад столкнулся с таким пережитком.

— Так я же не знал, — беспомощно промямлил Комов.

— Что вы не знали? — невозмутимо спросил Севастьянов. — Что врать нельзя? Этому детей в яслях учат.

Комов промолчал. Севастьянов незаметно постучал себя в грудь и покивал головой. Ну, спасибо, Севастьянов, сочтемся службой.

— Вы с кем дома живете? — спросил я Комова.

— Один. А что?

— Так, ничего. Сегодня товарищ Севастьянов будет у вас приемщиком-дублером, до закрытия

мастерской.

Комов пожал плечами:

— Мне-то что? Пожалуйста, хоть до конца года.

— До конца года много. Но вот после закрытия мастерской я вас попрошу отсюда не уходить.

— А как же? — удивился Комов.

— А так же. Придется вам здесь переночевать. А чтобы не было скучно, вам составит компанию товарищ Севастьянов. И еще два наших товарища подъедут. Понятно?

— Понятно, — процедил Комов. — Это что же, арест считается?

— Нет. Это считается засада, — негромко сказал Севастьянов.

Я открыл дверь и услышал, как Обольников говорит Лавровой:

— Ну, конечно, кому свинья нужна, у того в ушах все время хрюканье…

Лаврова спокойно сказала:

— Естественно, каждому свое. Вот вы, например, в квартире у Полякова жар-птицу искали…

Он махнул рукой.

— Да-а, чего там, сейчас уж правды все равно не докажешь…

Лаврова, задумчиво глядя на него, предположила:

— Слушайте, Обольников, может быть, у вас действительно… того, — она покрутила пальцем у виска, — не все дома? Ведь вас с такой пинией защиты обязательно осудят на всю катушку. Вы пытаетесь отрицать совершенно очевидные для всех вещи…

Обольников затравленно посмотрел на меня, будто искал поддержки, хрипло сказал:

— Попить можно?

— Можно.

Придерживая одной рукой штаны, он налил из графина стакан воды, жадно припал к нему, кадык камнем запрыгал по горлу. Стакан он держал фасонно — не как-нибудь. Тремя пальцами — большим, указательным и средним — он держал стакан, безымянный был слегка отодвинут, а мизинец уж совсем был отведен в сторону, этакой птичкой-галочкой торчал его сухой палец. И, глядя на эту нелепо растопыренную кисть, я почувствовал, как в мозгу бьется, дергается, старается вырваться наружу, но не может сформироваться, принять форму не то какое-то воспоминание, или мысль, или догадка, не знаю. Но что-то застучало, мучительно захлопотало в мозгу и, не найдя лазейки, так и угас этот импульс. И вспомнил я о нем не скоро…

Обольникова увели. Лаврова сказала:

— Завтра он признается.

Я усмехнулся:

— В чем причина такого светлого оптимизма?

— Плюгавый он человечишка. Один день под стражей и сегодня полдня уже выспрашивает, что ему будет, если выяснится, будто в квартире он бывал, но не воровал ничего. Ладно, черт с ним. Как дела с магнитофоном?

— Никак пока. Оставили засаду.

Мы посидели молча, потом Лаврова спросила:

— Знаете, что меня пугает в этом деле?

— Ну?

— Мы не имеем даже приблизительной гипотезы, как все это происходило. Наталкиваясь на какие-то факты, предметы или людей, мы ощупываем их как слепые, мучительно пытаясь представить себе, имеет это отношение к краже или случайно попалось нам на дороге.

— А Иконников?

— Что Иконников? — с нажимом сказала Лаврова. — Письмо? Может, нас на него наводят?

— Помимо письма есть телефон Филоновой, есть многолетняя, очень глубокая вражда к Полякову, наконец…

Я хотел сказать ей о том, как прыгал из руки

Иконникова коралловый аспид, о том леденящем чувстве ужаса и беспомощности, которое охватило меня тогда. Но раздумал. Это ведь не доказательство, это только ощущения.

— Что наконец? — спросила Лена.

— Да пустяки. Так, показалось. Если письмо не наводка, то я просто уверен, что это геростратовские дела Иконникова. А если это липа, то мы с вами уже говорили с вором. Говорили и отпустили его домой…

— Почему?

— Автор письма знает, что мы вышли на Иконникова. В письме нет никаких указаний относительно личности Иконникова, однако оно составлено так, что само собой разумеется — Иконников нам хорошо известен. А почему автор письма об этом знает? Если бы он не знал, то хоть двумя словами, но обязательно обмолвился бы — кто такой Иконников, какое он имеет отношение к Полякову…

— Но почему вы думаете, что мы говорили с вором?

— Я это утверждаю только в том случае, если письмо на липовой коре смастерили. Сбивать нас с толку может только вор, и если это он нам подбросил письмецо, то он прекрасно осведомлен

обо всех наших делах.

— Письмо написано женщиной, — напомнила Лаврова.

— Да, если в письме написана правда, — засмеялся я. — Но если нет, то, во-первых, женщины тоже иногда воруют, во-вторых, наш корреспондент прислал не свою фотографию, а письмо, так что он равновероятно может быть мужчиной и женщиной.

— Вы сами-то как считаете — верить этому письму или нет?

Я долго думал, потом бессильно развел руками:

— Не знаю. Хоть убейте, не знаю. Но похоже на правду. Сегодня ночью я лежал, не спалось чего-то, и все думал про эти дела проклятущие. И мне неожиданно пришла в голову забавная идея…

Лаврова иронически прищурилась.

— Смейтесь, смейтесь. Если мое предположение верно, я еще вас крепко посрамлю, — сказал я. — Я понял, где может держать скрипку Иконников, если только взял ее он.

— Ну-ка, ну-ка, — подначила Лаврова.

— Он держит ее под клеткой с голубым крайтом. Или под аспидом…

Лаврова даже присвистнула:

— Ну даете, товарищ старший инспектор. — Потом весело захохотала. — Прелестная конструкция с одним-единственным недостатком…

— Каким? — заинтересовался я.

— В ней слишком много «если»…

Когда я уже уходил, Лаврова крикнула мне вслед:

— Вас разыскивал какой-то корреспондент из «Вечерней Москвы». Я не знала, будете ли вы сегодня, и дала ему ваш домашний телефон…

— Ладно, спасибо. До свидания.

Лифт, естественно, не работал. Я шел медленно, считая ступеньки. До моего четвертого этажа их будет шестьдесят две. По дороге домой я купил молока и батон. Сейчас слопаю это добро и мгновенно лягу спать, тогда до подъема я просплю десять часов и наверстаю все упущенное за эти дни. Замок плохо работал, и, чтобы открыть дверь, надо было как следует половчить с ключом. Замок плохо работает год, но мне некогда вызвать слесаря, а соседям и так хорошо.

Я вошел в квартиру, соседи уже разошлись с кухни, никого не видать. Дверь в мою комнату была приоткрыта. За барахло свое я не беспокоюсь — документов дома я никогда не держу, а воровать у меня нечего. Растворил дверь и шаг-

нул в комнату.

На фоне окна, четко подсвеченный слабым светом уличных фонарей, контрастно, как в театре теней, прорисовывался силуэт человека.

Я даже не успел испугаться, видимо, рефлексы лежат мельче мыслей — я мгновенно сделал шаг в сторону от двери, в темноту, выхватил из петли под мышкой пистолет, а левой рукой нащупал кнопку выключателя. Но нажать ее не успел — из темноты раздался шелестящий, тихий смех.

Вытер ладонью мгновенно выступивший на лице пот и сказал, как мог только весело, легко этак:

— Что же вы в темноте сидите? Раз уж пришли без спросу, сидели бы со светом…

— Ничего. Зачем электричество зря расходовать, — ответила темнота. — А темноты я уже давно не боюсь.

Я нажал кнопку выключателя, стало светло, и мой испуг показался мне ужасно глупым.

— А меня вы напугали, — сказал я. — Вы меня снова напугали. Вам, видимо, нравится меня пугать?

Иконников, сидевший на подоконнике, спрыгнул на пол, заложил руки в карманы, внимательно посмотрел на меня.

— Нет. Вас неинтересно пугать, да и не надо мне этого.

— Вам не кажется, что меня небезопасно пугать?

— А чего опасного? — удивился он.

— Я ведь докажу, что вы скрипку Полякова взяли…

Иконников зло ухмыльнулся, показав длинные прокуренные зубы.

— Ничего вы не докажете, — сказал он.

— Посмотрим, — сказал я. — Вы как попали ко мне? Где вы мой адрес взяли?

Он занял боевую стойку, выставив вперед острую рыжую бороду:

— Это, конечно, было потруднее, чем дурехе Филоновой заморочить голову. Но я, правда, доведись мне заниматься сыском, был бы сыщиком получше вас…

Я искренне засмеялся:

— Ну, в этом-то я и не сомневаюсь! Однако желательно, чтобы вы ответили на мой вопрос.

Он снова сел на подоконник, достал из кармана кисет, насыпал в бумажку табаку, ловко свернул длинную «козу», закурил, потом не спеша сказал:

— Замечу для начала, что я не должен отвечать

на ваш вопрос. Но, коли это вас так волнует, расскажу. Я ведь сразу понял, какой агитатор был у Филоновой, как только она мне о вас рассказала. И раз уж вы так вцепились в меня, я решил дать вам возможность сыграть со мной на вашем поле. У меня-то вы себя неуютно чувствовали, — Иконников коротко, хрипло хохотнул.

— Да, вы меня тогда своим аспидом прилично пуганули, — невозмутимо кивнул я.

— Шутил я, — снисходительно заметил Иконников. — Вот я и захотел поговорить с вами, а в справочном бюро адрес мне не дают — изъята карточка. Тогда я позвонил по вашему служебному телефону и какая-то милая девушка, как только я сказал ей, что говорят из газеты, дала мне ваш домашний номер. А дальше уже и узнавать нечего было. Дверь в комнату была открыта. Кстати, вы впредь лучше рекомендуйтесь корреспондентом — масса людей испытывает к прессе трепетное, почти идиотическое почтение.

Я слушал его и думал о том, что сейчас происходит наглядное разрешение многолетней дискуссии, которую ведут между собой юристы: может ли представитель закона при исполнении служебных обязанностей врать? Во имя самых гуманных интересов может ли быть использо-

вана самая пустяковая ложь? Разве недопустима ради сотворения большей правды маленькая, конкретно необходимая ложь? Почему следователь не может привлечь на помощь своему профессиональному бескорыстию крошечный обман против большой корысти преступника? Ну кажется, почему нельзя этого сделать?!.

Самодовольный рыжий ответ сидел напротив и нагло скалил желтые зубы. Расколов меня с этой глупой выдумкой — агитатором, он морально уровнял свои шансы с моими, обретя неправедное сознание внутренней нравственной правоты и силы, он перестал чувствовать себя преследуемым, он теперь партнер в игре и может сам раскинуть сети на ловца. Ну что ж, теперь я запомню это навсегда — правду мутить нельзя ничем. Глупо это очень, ужасно глупо. И стыдно… А Иконников врет — не собирался он мне дать ответный матч, что-то совсем другое его привело ко мне.

Я скинул плащ, аккуратно повесил на вешалку, достал из карманов батон и молоко, поставил на стол, пригладил перед зеркалом волосы, сел к столу, извинился, снял телефонную трубку и набрал номер.

— Дежурный по городу слушает, — услышал я

бодрый голос Зародова.

— Здравия желаю, товарищ подполковник, — сказал я. — Докладывает инспектор Тихонов. Запишите во внутреннюю служебную сводку…

— Это ты, Стас? — не понял Зародов.

— Да-да. Записывайте. Сегодня в 19.20, возвратившись с работы, я застал у себя дома гражданина Иконникова, проходящего по делу о краже в квартире Полякова в качестве свидетеля. В настоящее время Иконников находится у меня. Поскольку факт встречи оперативного работника у себя на квартире с фигурантом по делу может иметь сомнительное этическое толкование, прошу руководство Управления рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего использования меня по делу. Все. Официальный рапорт я подам завтра…

Зародов спросил:

— Стас, ты серьезно?

— Абсолютно.

— Может быть, тебе подослать кого-то из ребят?

— Ни в коем случае. До свидания, — и положил трубку.

Иконников внимательно, спокойно рассматривал меня, пока я говорил по телефону. Совер-

шенно невозмутимый вид был у него, будто я и не о нем вовсе говорю. Только уголок рта слегка дергался.

— Слушайте, а вы боитесь, что я вас убью? — спросил он задумчиво.

— Ну, это у вас еще кишка тонка! — засмеялся я. — Вы уж совсем меня каким-то недоумком представляете.

— Нет, я вас не считаю недоумком. Просто мы с вами очень разные люди.

— Совсем разные, — согласился я. — Я бы даже сказал, что мы с вами ничего общего не имеем.

— А вот это неправильно, — усмехнулся он. — Все люди между собой чем-то связаны, что-то имеют общее. Просто мы все разбиты на группы, разные по своим задачам и формам взаимодействия. Как, например, кулачный бой и выступление симфонического оркестра.

— Может быть, — сказал я безразлично. — Молока хотите?

— Хочу, — сказал он оживленно. — Я почему-то всегда есть хочу.

Я достал из буфета два стакана, налил молока и разломил батон пополам.

— Угощайтесь.

— Спасибо. Вот видите, как все в мире повторя-

ется — сегодня мы преломили хлеб, а завтра… — Иконников тяжело вздохнул.

— Никакой символики в этом я не усматриваю. Просто я устал и мне лень вставать за ножом.

— В том и дело, — угрюмо пробормотал он. — История лепилась не по символам, а, наоборот, прецеденты черпались в ней.

Я прожевал хлеб и ответил:

— Для оценки исторических прецедентов существует здравый смысл…

— Оставьте! — махнул он рукой. — Здравый смысл почти никогда не бывает разумен, потому что в нем безнадежно перемешалась аккумулированная мудрость мира с ходячими предрассудками и копеечными суевериями…

— Между прочим, по материалам дела я мог вас давно арестовать. И не делаю этого, исходя из здравого смысла.

— Это был бы произвол. Этимология самого слова подразумевает не разум, но волю. А воля без разума никогда не приведет к истине. Да вы и так достаточно наворотили ошибок…

Я допил молоко, откинулся на стуле, взглянул ему в лицо, неестественно бледное, злое, источенное каким-то тайным страданием. В красной его бороде застряли крошки хлеба, и из-за кро-

шек этих он не был похож на проповедующего апостола, а сильно смахивал на ярыгу.

— Ну что же, — сказал я, — ошибки имеют свое положительное значение.

— Позвольте полюбопытствовать — какое?

— Я ищу истину. И представление о ней у меня начинается со здравого смысла и становится все достовернее по мере того, как я освобождаюсь от ошибок.

— Это слишком длинный и кружной путь.

Я пожал плечами:

— У меня нет другого.

Иконников побарабанил задумчиво пальцами по столу, рассеянно сказал:

— Да, наверное, так и есть. Никто не может дать другим больше, чем имеет сам, — и вдруг безо всякого перехода добавил: — Что-то жизнь утомила меня сверх меры…

Я промолчал. Иконников уперся кулаками в бороду, с интересом взглянул мне в лицо, будто впервые увидел:

— А вам не приходило в голову, что вы стали сейчас моим самым заклятым врагом?

— Нет, не приходило, — сказал я осторожно.

— Неужели вы не понимаете, что вы покушаетесь на мое единственное достояние — незапят-

нанное имя? И если я не защищу себя, то стану окончательным банкротом?

Наклонившись к нему через стол, я сказал отчетливо:

— Вы так уважительно относитесь к себе, что несколько заигрались. Смею вас уверить, что Московский уголовный розыск не ставил себе первоочередной задачей скомпрометировать вас. Я ищу скрипку «Страдивари», и если к ее похищению вы не имеете отношения, то вашему незапятнанному имени ничего не грозит.

Он посидел молча, быстро раскатывая на столе шарики из хлебного мякиша, судорожно вздохнул.

— Впрочем, все это не имеет никакого значения. Я почему-то ужасно устал от людской глупости и пошлости…

Я сочувственно покачал головой.

— Недовольство всем на свете у вас компенсируется полным довольством собой.

Он провел ладонью по лицу и сказал совсем не сердито, а как-то даже мягко, снисходительно:

— Вы еще совсем мальчик. Вы еще не знаете приступов болезни «тэдиум витэ».

— Не знаю, — согласился я. — А что это такое?

— Отвращение к жизни. И лекарств против

этой болезни нет…

Даже странно, до чего бережно относятся к себе жестокие и черствые люди — ласково, нежно, как чутко слушают они пульс души своей. Может быть, потому, что трусливые люди любят пугать других?

Иконников потер лицо длинными, расплющенными пальцами и сказал устало:

— Эх, как бы я хотел начать жить сначала! Но ведь и это было бы бесполезно.

— Почему? Все могло бы случиться по-другому…

— Нет, — сердито затряс он головой. — Мне часто кажется, будто я уже жил однажды, и все это когда-то происходило, только декорации менялись, а весь сюжет и все конфликты — все это было со мной когда-то…

Он помолчал, затем медленно, задумчиво проговорил:

— Я читал в древних книгах, будто никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и постижима ему вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел ударяет его

по устам. И заставляет забыть все…

Иконников встал и только тут я обратил внимание на то, что он все время сидел в пальто, в черном драповом пальто с потертым бархатным воротничком.

— За угощение благодарствуйте, — сказал он. — И за разговор спасибо. Я ведь добра, а уж тем более зла никому не забываю.

Благодарность была густо замешана на угрозе, и от тона горько-кислая, как пороховой дым.

— А насчет слов моих подумайте. Как бы вам не перегнуть палку, — добавил он уже в дверях.

— Я вам сказал — вы меня зря пугаете, — сказал я зло. — Это вам только показалось, что я такой пугливый. И сюда больше ко мне не ходите. Если вы мне понадобитесь, я вас разыщу.

— Ну, как знаете. Смотрите — вам жить…

Глава 10
Сыщик, ищи вора!

— Согласен ли ты, Антонио Страдивари, сын Алессандро, взять в жены Франческу Ферабоши, дочь Винченцо, а?

— Да.

— Согласна ли ты, Франческа Ферабоши, дочь Винченцо, иметь мужем Антонио Страдивари, сына Алессандро?

— Да.

— Именем бога всемогущего называю вас мужем и женой. Аминь.

Из церкви святого Доминика все поехали в новый дом молодого мужа. Вообще-то дом был новый только для Антонио, а так лет ему было не меньше ста и сменил он добрую дюжину владельцев. Но дом «Каса дель Пескаторе» имел одно важное достоинство — он был дешев. А для Антонио сейчас это было главное преимущество собственного дома. Франческе он сказал:

— Правда, ведь нам не нужна отдельная столовая? Мы спокойно можем с тобой обедать в мастерской. И кухню можно сделать во дворе

— тебе даже приятнее будет стряпать на свежем воздухе…

И занял весь дом под мастерскую, отведя для спальни крошечные антресоли. Безгласная Франческа, наперед согласная с любым решением Антонио, набралась духу спросить:

— А когда дети будут — то как? Ведь даже люльку негде поставить. — И сразу испугалась — не прогневала ли она мужа?

Но Страдивари был в прекрасном настроении:

— Я хочу занять весь дом мастерской, чтобы к тому времени, когда ты подаришь мне сыновей, у нас вместо этой лачуги был дворец.

— Разве так бывает? — робко спросила Франческа.

— Бывает, бывает, — заверил муж. — Пусть только бог не карает нас без вины, а все остальное у нас будет, и мы проживем с тобой в счастье сто лет…

— И умрем в один день? — спросила Франческа с надеждой.

— Наверное, — рассеянно ответил Страдивари и начал устраиваться в мастерской.

На рассвете следующего после свадьбы утра Франческа проснулась от тонкого ровного повизгивания. Спросонья протянула она руку рядом с

собой — подушка была пуста и прохладна. Она встала с постели и подошла к дверям: внизу, в мастерской, молодой муж распиливал на ровные тонкие досочки огромную кленовую колоду. На нем были белые полотняные штаны, белый кожаный фартук и белый тряпичный колпак. Лицо его было сосредоточенно и ласково. И она вдруг с пронзительной остротой почувствовала, поняла, вспомнила, что он никогда не смотрел на нее так, как он смотрел на эти бессмысленные ровные доски. Захотелось громко, в голос заплакать, крикнуть ему что-нибудь обидное, но она сразу же испугалась, что Антонио рассердится. Бесшумно притворила она дверь, спустилась во двор, умылась и стала готовить завтрак, а когда принесла и поставила на верстаке еду, Страдивари задумчиво сказал:

— Спасибо… Нет, я просто уверен, что тангентальный распил лучше, чем радиальный…

Он работал с рассвета до заката, и на стенах одна за одной выстраивались все новые и новые золотистые скрипки и коричневые, тускло светящиеся виолончели, дымящиеся светом альты, и число их все росло, потому что ни одна из них не покидала своего дома. Инструменты Страдивари не покупали. Денежные люди не давали ему за-

казов, а продавать их как базарные мандолины Антонио не мог — один материал стоил дороже. На деньги, что дал ему Амати, он купил дом и прекрасного дерева, и теперь не было ни денег, ни заказчиков. Антонио готов был пока работать бесплатно, только бы окупить стоимость материала, но и это было слишком дорого — желающих купить скрипку хотя бы за два пистоля не находилось.

К вечеру, когда пальцы рук начинали дрожать от усталости, а глаза слабели от напряжения, Антонио бесцельно слонялся по мастерской взад и вперед, восемь шагов туда, восемь обратно, брал со стены инструменты, гладил их, рассматривал снова и снова, проводил пальцем по тугим жилам струн, недоуменно хмыкал — они ведь ничем не отличаются от инструментов Никколо Амати. Почему же у старого мастера заказывают скрипки за многие месяцы вперед — желающих слишком много, а у него уже собрался здесь целый склад? Разве голос моих скрипок слаб? Или не поют они светло и нежно? А резной завиток не держит ли глаз своей красотой и изяществом? Не дышит ли каждая жилка дерева, видная на просвет, в золотисто-зеркальном лаке? Так что же нужно еще мастеру для удачи? Может быть, немного

счастья? Простого глупого везения? Или вся его удача раз и навсегда исчерпана подаренным ему от природы талантом? Разве талант всегда должен быть неудачлив?

Не мог ответить себе Страдивари и ложился с сумерками спать, потому что вставать надо было рано.

Родился первенец — Паоло. Через год родился второй сын — Джузеппе. Но больше не обещал Страдивари своей жене дворца, потому что лавочник Квадрелли сказал, что будет давать в долг только до рождества. А потом придет с судьей и заберет за долги все скрипки, чтобы за весь этот деревянный хлам выручить хоть три дуката. И дети уже не радовали Антонио, потому что нет горше муки для детей, чем бестолковый и бездарный неудачник-отец. И ничего не менялось, только зимой вместо полотняного колпака Страдивари надевал шерстяной и так же, не разгибаясь, с утра до вечера строгал, пилил, клеил, варил свои краски и лаки. Иногда удавалось за бесценок сбыть какому-нибудь заезжему человеку скрипку, и это оттягивало конец. Годы тянулись за годами, сгорбился немного Антонио, ударила инеем первая седина в жесткую его шевелюру давно не стриженных волос. Незаметно

быстро стала стареть тихая Франческа, и, взглядывая на нее, Антонио с отчаянием думал о том, что ей только-только к тридцати… В доме было голодно, тихо, нищета и безнадежность совсем задушили их. И единственно, что радовало глаз, это все новые и новые инструменты. В них было столько звука, веселья, красоты, ласкового света, что никак невозможно было поверить, будто их сделал отчаявшийся мастер, за спиной которого ныли полуголодные дети…

Счастье, удача, вот то самое везение, о котором столько раздумывал Антонио, явилось в дом в лице круглого, все время ухмыляющегося и непрерывно облизывающего красные толстые губы французика по фамилии Дювернуа.

Цепким, быстрым глазом он осмотрел убожество «Каса дель Пескаторе» и сказал:

— Я хочу для пробы купить несколько ваших инструментов. Мне рекомендовал вас Амати.

Хваткой, ловкой рукой, опытным взглядом он мгновенно выбрал три скрипки, виолончель и альт и назначил цену — по два пистоля.

— Но за такой же инструмент вы заплатите Амати по тысяче пистолей! — с гневом и болью вскричал Страдивари.

— Два пистоля — это четыре золотых дука-

та, — ухмыляясь, сказал Дювернуа. — Огромные деньги. А тысяча пистолей — еще больше. Но Амати известен всему миру. А вы кто такой? Вас нет. Пар, облачко. Фу! — и вас нет.

— Но вы же понимаете в этом и видите, что мои инструменты не хуже. Послушайте звук, взгляните на отделку, — тихо, просительно сказал Страдивари. — Разве они хуже?

— Думаю, что вот этот альтик и получше будет, — сказал Дювернуа и облизнулся. — Особенно, если внутри на деке написать — Никколо Амати. Станьте Амати — и ваши инструменты будут стоить много дороже, чем его.

— Но я Страдивари и не хочу быть Амати, — устало пробормотал Антонио.

— Вам это и не удастся, — засмеялся француз. — Второй Амати никому не нужен. У вас есть только один выход — стать выше Амати, иначе вы останетесь на всю жизнь никем. Значит, договорились — два пистоля. А пока вы не стали выше Амати — это хорошая цена…

* * *

Битлы, сдавшие в ремонт краденый магнитофон «Филипс», были задержаны в десять пятнадцать. Двое лохматых парней в расклешенных

брюках, украшенных внизу какими-то пряжками и цепочками, ввалились в мастерскую и еще от дверей заорали Комову:

— Готов?

Не знаю, каким был мастером и приемщиком Комов, но актер он оказался слабоватый. Нервы у него совсем неважные были. Вместо того чтобы пригласить их в подсобную комнату, он вдруг стал лепить отсебятину:

— Значит… это… как его… тут фрикцион… За пятерку наломаешься… а потом… Интересно было бы знать, где достать такую машину…

— Чего-чего? — спросил один из парней.

Я понял, что мы на грани прогара. Невыспавшийся, недовольный Севастьянов понял это раньше меня, потому что он уже выскочил из подсобной комнаты, где мы стояли, и сказал ребятам:

— Привет, отцы.

— Привет, — сказали они и повернулись снова к Комову. — Так ты что, не сделал маг?

— Я его сделал, — сказал Севастьянов. — У него опыта не хватает.

Ребята насторожились.

— Ничего мы не знаем, — сказал тот, что постарше. — Мы с ним договаривались и пятерку

заплатили вперед. А вы тут делитесь, как хотите, — больше все равно не дадим. Я бы сам намотал мотор, проволоки, жаль, нет.

Севастьянов засмеялся:

— А я разве еще у тебя прошу? Просто сам делал, сам товар хочу отдать.

Напряжение сошло с их лиц:

— Ну, это пожалуйста…

— Заходите в подсобку, здесь показывать неудобно, — сказал Севастьянов, пропуская их в дверь, задернутую плюшевым занавесом. Комов с выпученными глазами замер у стойки. Севастьянов зыркнул на него и показал на вход. Комов лунатическим шагом подошел к двери, задвинул щеколду и повесил табличку «Закрыто».

Ребята вошли в подсобку и вместо магнитофона увидели меня. Они удивленно обернулись, но за их спиной вплотную стоял Севастьянов.

— Руки вверх, — сказал я тихо. — Ну-ка, ну-ка, руки вверх!

Ребята с остекленевшими лицами стали медленно, как во сне, поднимать руки. Севастьянов ощупал у них по очереди карманы, складки брюк — ножей и кастетов не было.

— Теперь руки можно опустить, — сказал он. — И присаживайтесь к столу…

Не давая им передохнуть, я достал из-под стола магнитофон:

— Это ваша вещь?

Не произнеся ни слова, они согласно, в такт, как заводные, утвердительно кивнули.

— Чья именно? Твоя? Или твоя? — ткнул я их по очереди пальцем в грудь.

— Общая, — сказал старший и, опасаясь, что я не понял, пояснил: — Моя и его…

— Где взяли?

— Ккупили, — ответил он, заикаясь от волнения, и со своими длинными каштановыми патлами волос он был совсем не похож на вора, а скорее напоминал рослую девочку-старшеклассницу.

— Где?

— В электричке…

— Когда?

— Позавчера…

«СПРАВКА

…Несовершеннолетние Александр Булавин и Константин Дьяков в предварительном объяснении, а затем допрошенные в Московском уголовном розыске, в присутствии педагога Сутыриной К. Н.

показали, что магнитофон они купили у незнакомого им мужчины в пригородном поезде.

Подробный словесный портрет продавца прилагается.

По месту жительства Булавин и Дьяков характеризуются благоприятно, судимостей, приводов, компрометирующих действий не было. Булавин и Дьяков работают учениками автослесаря в 12-й автобазе Главмосавтотранса, одновременно продолжают учебу в 9-м классе 119-й школы рабочей молодежи; поведение и успеваемость хорошие. По месту работы характеризуются как любознательные и порядочные ребята, быстро овладевающие профессией, общественно активные, члены народной дружины…»

По описанию ребят человек, продавший им магнитофон, был сильно похож на слесаря, «ремонтировавшего» замок у Полякова незадолго перед кражей. Я вошел к Лавровой, которая с утра допрашивала Обольникова.

Два дня в КПЗ подействовали на Обольникова удручающе. Он вытирал рукавом нос и слезото-

чивым голосом говорил:

— Ну, накажите меня, виноват я. Ну, дурак, глупый я человек, темный, от болезни происходят у меня в мозгу затемнения. Но в тюрьме-то не за что держать меня…

— А куда вас — в санаторий? — спросила Лаврова. — Даже если мы вам поверим, то преступление вы все равно совершили. Вот расскажите инспектору Тихонову о своих художествах, послушаем, что он скажет…

Обольников повернулся ко мне и приготовился сбросить на меня обвал жалоб и стенаний. Но тут зазвонил телефон.

— Тихонов у аппарата.

— Здравия желаю! Это Бабайцев вас приветствует…

— День добрый. Что же вы мне про рыжего-то ничего не сообщили?

Бабайцев заторопился, слова-монетки градом застучали в мембрану:

— Так я вам вчера раз десять звонил, никак поймать на месте не мог. Позавчера вечером он к Филоновой приходил. А сегодня спускаюсь в почтовый ящик за газетами, гляжу — Филоновой письмо с припиской на конверте: «для П. П. Иконникова»…

— А раньше никогда таких писем не приходило?

— Ни разу не видел, — сказал Бабайцев. — Обычно почту вынимаю из ящика я, и никогда не видел. Но почему еще обратил я внимание на письмо на это — адрес написан вроде бы детской рукой или малограмотным — все буквы квадратные…

Вот она, депеша, о которой сообщалось в анонимке. Скорее всего об этом письме и шла речь. Может быть, в бумажном конверте лежит ключ ко всему этому делу? Как же узнать, что там написано?

— Алло, вы меня слушаете? — зазвучал издалека голос Бабайцева.

— Да, слушаю. А что с письмом сделали?

— Ничего не сделал. Филонова же на работе! Это я сегодня выходной. Письмо у меня пока. Может быть, привезти его вам? — спросил Бабайцев.

Я вспомнил комиссара и усмехнулся:

— Не стоит. Пускай уж письмо идет к адресату.

— Как? — не понял Бабайцев.

— Обычно. Отдайте его Филоновой — и все. Спасибо вам за информацию…

Я смотрел в длинное вытянутое лицо Обольникова, который по-рыбьи беззвучно разевал и

закрывал кривую прорезь рта, а дряблые желвачки ходили по его щекам, и глаза — круглые маленькие скважины — двустволкой целились в меня, и никак не мог сообразить: он — слесарь — депеша — Иконников — работает такая цепь или это бессмысленный набор никак не связанных между собой людей?

— Рассказывайте, Обольников…

— А что рассказывать? Я ведь и не могу ничего нового рассказать, потому как я же не обманывал вас раньше, а только ради истины общей хотел так сообщить вам обо всем моем поведении и жизни, чтобы не складывалось у вас мнения, что Обольников хочет на дармовщину прожить или как-то без благодарности попользоваться чужим… — и всю эту галиматью он бормотал заунывным плачущим голосом, захлебывая воздух, пришепетывая и глотая концы предложений.

— Ну-ка, остановитесь, Обольников, — сказал я. — Либо вы будете разговаривать как человек, либо я вас отправлю обратно в камеру. Вот где у меня стоят ваши штучки, — провел я рукой по горлу.

Обольников похлопал веками и заговорил нормальным голосом:

— Дело в том, что решил я принести свои

чистосердечные показания в расчете на вашу совестливость и сознательность, поскольку признание мое есть главная смягчающая причина в слабом состоянии моего здоровья.

— Давайте приносите свои показания, — сказал я равнодушно.

Мое безразличие, видимо, несколько обескуражило Обольникова, и он стал быстро говорить:

— Я ведь был в квартире у скрыпача…

— Мы это знаем. Дальше…

— Только не воровал я ничего оттуда…

— А что, на экскурсию ходили?

— Вроде бы этого, — подтвердил Обольников. — В болезненном состоянии организма находился я в тот вечер.

— Пьяный были, что ли? — уточнил я.

— Да, захмелился я сильно и заснул. А когда проснулся, времени час ночи, башка трещит с опохмелюги, а поправиться негде — магазины закрыты, а на рестораны мы люди бедные, тратиться не можем…

— В час ночи рестораны тоже закрыты, — заметил я.

— Да, конечно, — спокойно продолжал Обольников. — В безвыходном я положении оказался. Думал, что помру до утра. И когда понял, что

кончаюсь, решил пойти к скрипачу, в долг у него выпить. А завтра купить и отдать. Да и не отдал бы — тоже свет не перевернулся, потому как у него там бутылок в буфете — дюжина. Их пить там все равно некому — разве нормальный человек бутылку раскупоренную бросит? А у него там они все початые, да не конченные. Считай так, что пропадает выпивка без дела. Гости к нему каждый день ходют, а все вместе выпить как следует не могут!

— Ц-ц-ц! — прищелкнул я языком. — Не знает, я вижу, скрипач, кого ему вовсе надо в гости приглашать…

Обольников опасливо покосился на меня, на всякий случай хихикнул:

— Ну и подумал я, что если с пары бутылок я прихлебну — ему урона никакого, а мне от смерти, может быть, спасение…

Он замер в сладостном воспоминании, и вдруг отчетливо, как на киноэкране, я увидел его три пальчика, которыми он держит стакан, и чуть отодвинутый безымянный палец, и торчащий в сторону птичкой-галочкой сухой мизинец. Заключение экспертизы — «…отпечатки пальцев на хрустальном бокале идентичны с отпечатками большого, указательного и среднего пальцев

левой руки»…

— И что? — холодно спросил я.

— Поднялся я, выпил портвейну какого-то заграничного…

— А вы как определили — в какой бутылке портвейн?

— Так я все пробовал сначала, — сказал Обольников, явно удивляясь моей несообразительности.

— Пили прямо из горлышка?

— Зачем? — обиженно возразил он. — Попробовал сначала, а потом налил в рюмку. Стол у них там такой на колесах, вот снял я с него рюмку и налил себе…

— А потом?

— Потом еще разок пригубил и пошел домой.

— И встретили на лестнице свою жену?

— Встретил, встретил, было, — кивнул он.

— А как же насчет ее хахаля, о котором нам рассказывали? — спросила молчавшая все время Лаврова.

Обольников повернулся к ней с доброй улыбкой:

— Так чего между родными не бывает? Да ничего, мы с ней помиримся, простит она меня, она ведь баба-то не злая, в горячке и не такое сказать

можно…

— А почему же вы нам в горячке сразу это не рассказали? Вот только сейчас надумали? — спросил я.

— Так я поначалу, до того как про кражу узнал, думал, что так просто скрыпач наклепал на меня. Ну и решил помолчать — как докажешь, что я портвейн пил, — может, он сам выпил, а на меня сваливает? — он говорил с ласковым откровенным нахальством, каким-то шестым звериным чувством ощущая, что сейчас мы обязаны будем выяснить и впредь отстаивать именно эту его позицию, потому что скорее всего это была правда, и он точно знал, что уж раз он сказал правду, то мы теперь его сами будем защищать от обвинения в краже, и то, что все это мерзко, ему и в голову не приходило, а если приходило, то не стесняться же нас — нам ведь деньги платят именно за то, чтобы мы узнавали правду. — Да-а, значит, не знал ведь я поначалу, что вещички у скрыпача маханули, и он из-за них такой тарарам поднимет. А как узнал, то испугался — иди докажи, что ты не верблюд, что ты не брал барахла никакого у скрыпача. Покрутятся маленько, думал, вокруг да около и отвалят от меня. А вы вон чего надумали — в тюрьму меня сажать! За что? За глоток

портвею? Да я выйду отседа — я ему сам бутылку куплю, пусть удавится с нею. Эт-то же надо — за стакан выпивки человека в тюрьму сажать!

Он уже вошел в новую роль — искреннего ощущения себя безвинной жертвой чудовищной жадности богатея-скрипача, у которого полный буфет пропадающих зазря початых бутылок выпивки, и учиненного нами произвола и беззакония.

— Что же это? — говорил он с надрывом. — Как в старые времена — в тюрьму за краюху хлеба? Или за стакан выпивки?

— Ну-ка, не отвлекайтесь! Эта история когда произошла?

— Четырнадцатого, в четверг, в ночь на пятницу.

— А в пятницу днем вы пришли в клинику. Почему?

— Так проспал я в пятницу утром на работу. В пятницу-то мне с утра на работу, а я головы поднять не могу. Совсем плохо мне было. Так в поликлинике такие собаки сидят, они разве бюллетень дадут? И образуется, значит, у меня прогул. Выгнали бы меня с работы, это уж как пить дать. Я и вспомнил про направление свое в лечебницу, я его с месяц назад у врача получил.

Обратно же, если сам приходишь в эту больницу — по больничному сто процентов платят, а если на принудиловку сюда отправят — ни копеечки тебе не полагается. Ну, я и пришел. Решил подкрепить свой ослабленный организм…

— И пронесли с собой пузырек с соляной кислотой на всякий случай? — спросил я сочувственно.

— Оговорила меня врачиха — я ей правду-матку в глаза режу, а кому ее приятно слушать! Вот она и решила от меня таким способом отделаться…

Лаврова с иронической ухмылкой сказала ему:

— Сначала, Обольников, вы резали правду-матку в разговорах с доктором Константиновой, потом вы ее резали на допросах и сейчас ее режете. По-моему, вы уже ее совсем зарезали…

Он махнул рукой — чего с вами говорить!

— Так что, отпустят меня сейчас? — спросил-потребовал он.

— Нет, — сказал я.

— Это как это — нет? — сказал он сердито.

— Даже если все рассказанное вами — правда, то вы пробудете здесь до решения вопроса о вашем принудительном лечении. И номера с пузырьками больше не пройдут. Лечить вас от болезни будут основательно — я уж сам просле-

жу за тем, чтобы подкрепили ваш ослабленный организм. Больше пить вы не будете — это я вам обещаю…

— Буду! — завизжал Обольников. — Буду! Назло вам всем буду!

— Нет! — злорадно захохотал я. — Не будете! Вы себя любите очень и знаете, что от глотка алкоголя вас после этих лекарств в дугу свернет. Лекарства-то рассчитаны на нормальных людей, которые действительно вылечиться хотят. И на таких «артистов», как вы, чтобы вас в узде страхом держать!

— Вы ему верите? — спросила Лаврова после того, как увели Обольникова.

— Трудно сказать. Но это может быть правдой.

— И я допускаю, что он говорит правду. Но… — она замерла в нерешительности.

— Что «но»? — спросил я.

— Я боюсь, что мы сами хотим ему найти лазейку.

— Не понял.

— Мы похожи на детей, разобравших из любопытства будильник. Потом собрали снова, но остались почему-то лишние детали. А часы не ходят…

— Обольников — лишняя деталь? — ничего не

выражающим голосом поинтересовался я.

— Во всяком случае, он выпадает из той схемы, при которой часы могли бы ходить. Так как мы это себе представляем…

— Не знаю, — покачал я головой. — Ребята, купившие магнитофон, дали словесный портрет продавца. Очень подробный. Я отрабатывал с ними сам на фотороботе.

— Иконников? — подалась ко мне Лаврова.

— Нет. Скорее «слесарь». А сейчас звонил Бабайцев и сказал, что пришло в адрес Филоновой на имя Иконникова письмо.

— Что вы собираетесь делать?

— Ждать. Сегодня Филонова отдаст письмо Иконникову. Он должен будет сделать ход…

— А почему вы должны ждать его следующего хода? — сказала с вызовом Лаврова.

— Потому что у меня нет другого пути. Как говорят шахматисты, нет активной игры. Комиссар не разрешил перлюстрацию.

— Честно говоря, мне это тоже не очень нравилось.

Я зло засмеялся:

— А мне, например, доставляет огромное удовольствие чтение чужих писем. Особенно интимных, с клубничкой…

Лаврова покраснела:

— Вы напрасно обиделись. Я вовсе не это имела в виду. Просто я неправильно выразилась…

— Я так и понял. Вот давайте подумаем над оперативными мероприятиями, которые бы вам нравились…

Зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос комиссара:

— Тихонов? Зайди ко мне.

— Слушаюсь.

— И захвати с собой «фомку», которую вы изъяли на месте происшествия.

— Хорошо, — сказал я, но понять не мог никак — зачем это комиссару понадобилась «фомка»?

Он поднял голову, взглянул на меня поверх очков и молча кивнул на стул — садись. А сам по-прежнему читал какое-то уголовное дело. Читал он, наверное, давно, потому что между страниц тома лежали листочки закладок с какими-то пометками. Я сидел, смотрел, как он шевелит толстыми губами при чтении, и мне почему-то хотелось, чтобы, перелистывая страницы, он муслил палец, но комиссар палец не муслил, а только внимательно, медленно читал листы старого дела, смешно подергивая носом и почесывая карандашом висок. Время от времени он

посматривал на меня поверх стекол очков быстрым косым взглядом, и мне тогда казалось, будто он знает обо мне что-то такое, чего бы я не хотел, чтобы он знал, а он все-таки узнал и вот теперь неодобрительно посматривает на меня, обдумывая, как бы сделать мне разнос повнушительней. Читал он довольно долго, потом захлопнул папку, снял с переносицы и положил на стол очки.

— Я твой рапорт прочитал, — сказал он, будто отложил в сторону не толстый том уголовного дела, а листочек с моей докладной запиской о приходе Иконникова. — Ты как думаешь, он зачем приходил?

И этим вопросом сразу отмел все мои сомнения.

— Я полагаю, это была разведка боем.

Комиссар усмехнулся:

— Большая смелость нужна для разведки боем. Девять из десяти разведчиков в такой операции погибали.

— В данном случае мне кажется, что это была храбрость отчаяния. Ужас неизвестности стал невыносим.

— Ты же говоришь, что он умный мужик. Должен был понимать, что нового не узнает, — сказал комиссар.

— Его новое и не интересовало. Он хотел понять, правильно ли мы ищем.

— Всякая информация — это уже новое.

— Да, — согласился я. — То письмо, что вы получили, похоже, настоящее.

Я подробно рассказал о звонке Бабайцева. Заканчивая, спросил:

— Ваша точка зрения неизменна?

Комиссар кивнул:

— Так точно. Может быть, это действительно депеша, о которой сообщалось в анонимке. А если это приглашение в гости — тогда как? Извинимся? Так тебе, по существу, уже один раз пришлось перед ним извиняться. Не надо перебарщивать по этой части.

— Но я не вижу другого выхода, — развел я руками. — Если отпадает Обольников, а против Иконникова мы не имеем прямых доказательств, то...

— То что?

— Остается неуловимый «слесарь». Но искать его по словесному портрету мы можем года два. Или три. И на скрипке придется поставить крест.

Комиссар пригладил ладонью свои белесые волосы, надел очки и посмотрел на меня поверх стекол.

— Есть такая детская игра «сыщик, ищи вора». Пишут на бумажечках — «царь», «сыщик», «палач», «вор» — подкидывают их вверх, и кому что достается, тот и должен это выполнять. Самая непыльная работа у царя. А сыщик должен угадать вора. Ну а если ошибется и ткнет пальцем в другого, то ему самому вместо вора палач вкатывает горячих и холодных. Знаешь такую игру?

— Знаю, — сказал я. — Но там роль каждому подбирает случай. Как повезет…

— Вот именно. Ты-то здесь служишь не случайно. И, пожалуйста, не делай себе поблажек.

— Я не делаю себе поблажек, — сказал я, сдерживая раздражение. — Но я продумал уже все возможные комбинации и ничего придумать не могу…

— Все? — удивился комиссар, весело, ехидно удивился он. — Все возможные варианты даже Келдыш на своих счетных машинах не может продумать…

— Ну а я не Келдыш и машин нет у меня. Два полушария, и то не больно могучих, — сказал я и увидел, что комиссар с усмешкой смотрит на «фомку», которую я держу в руках.

Чувство ужасного, унизительного бессилия охватило меня, досады на ленивую нерасторопн-

ность мозга нашего, слабость его и косность. Я смотрел в глаза комиссара — бесцветные серо-зеленые глазки, с редкими белесыми ресничками на тяжелых набрякших веках, ехидные, умные глаза, веселые и злые, и понимал, что «фомка», которую я держу в руках, — ключ, отмычка к делу, и не мог найти в нем щелки, куда можно было бы подсунуть зауженный наконечник «фомки», черной закаленной железяки с клеймом — двумя короткими давлеными молниями.

Комиссар помолчал, и я так и не понял — подчеркнул ли он этим молчанием, как черными жирными линиями на бумаге, мою беспомощность и непонимание, или просто сидел, думал о чем-то своем, вспоминал. Потом он сказал:

— Вот этому делу, — он кивнул на папку, которую читал перед моим приходом, — двенадцать лет. Я с ним хорошо накрутился тогда. Но вопрос не в этом. Я вот вспомнил, что изъяли мы тогда у «домушника» Калаганина хорошую «фомку». Большой ее мастер делал, сейчас уже таких, слава богу, нет — довоенной еще работы. И вор настоящий был, и они, слава богу, вывелись. «Вор в законе» Калаганин был. Очень меня интересовало, у кого он такую «фомку» добыл, — сильно мне хотелось познакомиться с этим мастером. Только

вор не раскололся — не дал он нам этого мастера, и мы его не смогли найти. Взял я сейчас из архива это дело, почитал снова. И «фомку» ту из музея нашего затребовал…

Комиссар вытянул из стола ящик и достал оттуда «фомку», протянул мне:

— Ну-ка, сравни. Как, похожи?

Одинаковой длины, формы, цвета, с короткими давленными молниями на сужающейся части, две совершенно одинаковые «фомки» держал я в руках.

— Похожи. Я думаю, их один человек делал. А что с вором тем стало?

Комиссар хрустнул пальцами.

— Я уж и сам поинтересовался. Нет его сейчас здесь. Он снова сидит.

Положил свои пухлые короткопалые ладошки на переплет старого уголовного дела, задумчиво сказал:

— Был один момент, когда я его почти дожал с этим мастером, и он согласился показать фабриканта воровского инструмента. Но он клялся, что не знает его имени и места жительства. Сказал, что поедем к нему на работу, куда-то под Москву. Но разговор наш ночью происходил, и я отпустил его в камеру до утра — поспать. И за ночь он

раздумал — повез нас в Серпухов, два часа мы с ним ходили среди палаточек на привокзальной площади, пока он не сказал, что, видимо, перепутал, забыл, мол, место. Я понял, что он обманул меня…

— Чего уж тут было не понять, — ехидно вставил я.

Комиссар сердито взглянул на меня:

— Вот ты и сейчас еще не все понял. Я ведь тогда другого не понял. С учетом того, что накануне он на допросе требовал, чтобы я обязательно вывез его самого на место, я решил, когда затея провалилась: Калаганин, появившись там со мной, кому-то сигнализировал, что его взяли, — один вариант. А второй — попытаться, коли будет возможность, убежать во время выхода на место… Больше ничего Калаганин о мастере не сказал. Только теперь я соображаю, что Калаганин за ночь раздумал давать мастера и возил нас просто так…

И поскольку на лице у меня все еще плавало непонимание, комиссар закончил:

— Надо тщательно поковыряться в наших архивах, нет ли по другим делам таких «фомок» — попробуй выйти на изготовителя…

Я вышел от шефа и подумал, что, видимо, я

сильно устал. Такое усталое оцепенение охватывает меня, когда я не знаю, что делать дальше. Наверное, существуют вещи, в таинственную природу которых проникнуть невозможно только по той причине, что этого очень хочется. Как сказал Поляков — Вильом всю жизнь мечтал создать скрипку лучше, чем Страдивари… Я ведь хочу сотворить добро, а все равно ничего не получается. Добро должно быть могущественным, ибо слабосильное добро порождает зло. Да, видно, я еще очень слаб, потому что из моего стремления к добру пока кристаллизуется лишь осадок зла.

Два дня я читал старые дела, делал выписки, направлял запросы, и тусклое тупое утомление окутывало меня, как тумак, и никто не беспокоил меня, не звонили телефоны, куда-то пропала Лаврова, комиссар не вызывал, прокуратура не запрашивала о новостях — какая-то неестественная ватная тишина висела два дня, будто все замерло в мире перед взрывом, но я ничего не замечал, а сидел в своем пустом холодном кабинете и читал желтые странички из давно уже разрешившихся, почти умерших драм, и казалось мне, будто все вокруг погрузились в такой же анабиоз, хотя я знал — время не делает остановок, оно не знает запасных путей и тупиков, оно движется

линейно и неотвратимо, оставив меня одного в ушедшем Вчера, в том сгустке секунд или минут, когда украли волшебный звуковой ларец, и я знал, что остался совсем один на перегоне времени, как зазевавшийся пассажир отстает от своего поезда на пустынном полустанке, потому что все остальные люди, которых прямо касалась эта кража, не могут стоять на месте, дожидаясь, пока я распутаю этот клубок туго перепутавшихся человеческих судеб и событий.

Сыщик, ищи вора… Сыщик, ищи вора…

А к вечеру на второй день решил поговорить с Иконниковым. Письмо он получил вчера, и я все время ждал, что он позвонит. Не знаю, почему я этого ждал, это было просто глупо ждать его звонка, но все равно я сидел, читал старые дела и ждал его звонка. У него было много времени подумать и позвонить. Но он не позвонил, и я решил с ним поговорить. Набрал номер его рабочего телефона, долго гудели протяжные гудки в трубке, я рисовал на бумаге черным карандашом рогатых чертиков, долго никто не подходил, и я уже хотел положить трубку, когда на том конце ответил женский голос, какой-то напуганный и слабый.

— Мне нужен Павел Петрович.

— А кто его спрашивает?

— Какая разница? Знакомый его спрашивает.

— Его не будет…

— Он что, уже ушел домой?

— Он умер…

Ту-ту-ту… Сальери умер раньше Моцарта? Ту-ту-ту… Минотавр сожрал живого человека. Ту-ту-ту… Разве людям нужен Каин? Ту-ту-ту… Значит, все-таки характер человека — это его судьба? Ту-ту-ту… Вы не знаете приступов болезни «тэдиум витэ». Ту-ту-ту… Он ждет какой-то депеши, и тогда, мол, все будет в порядке. Ту-ту-ту…

Гудки в трубке метались, громыхали, неистовствовали, они голосили, визжали, барабанили по моей голове, как молотками, острыми и злыми, я думал, что они разобьют мне череп.

Сыщик, ищи вора!..

Глава 11
Вход в Лабиринт

Сенатор Пиченарди, величественный седой старик, имел сегодня выражение лица растерянное, поскольку с утра был голоден и от этого особенно несчастен. Окончательно потеряв терпение, он брезгливо говорил этому тупому мастеровому:

— Да поймите, наконец, дьявол вас побери, что в силу ужасных обстоятельств я продаю дом. Только дом! А родовая мебель мне дорога, она будит во мне воспоминания о прекрасном прошлом, и я не собираюсь продавать ее. И не собирался! И не будет этого никогда! Даже если вы у меня на глазах провалитесь в преисподнюю! С вас достаточно, что будете жить в родовом доме синьоров Пиченарди!

Покупатель не спорил. Спокойно смотрел он на кричащего старика, согласно кивал головой и с упорством мула негромко повторял:

— Хорошо. Тогда я не покупаю дом…

Обессиленный сенатор уселся в кресло, с интересом спросил:

— Скажите, зачем вам эта старая мебель?

— Я обещал своей жене, что она будет жить во дворце. А без мебели ваш дом — не дворец.

Острое худое лицо Пиченарди искривилось злой усмешкой:

— Настали хорошие времена. Несколько лет назад вы мечтали, чтобы я купил у вас хоть одну скрипку. А теперь вы покупаете мой дом. Вы не боитесь, Страдивари, что всемогущий бог вернет со временем все на свои места?

— Нет. Вы прожили то, что вам осталось от предков, а я зарабатываю для потомков.

— Но мои предки тоже зарабатывали для меня. И что стало толку?

— Ваши предки оставили вам лишь имя да деньги. Я оставлю потомкам еще и знание.

— Знания мало чего стоят, — сердито сказал старик. — И вообще, все в мире мало чего стоит, если вы набираетесь нахальства сравнивать ваше плебейское имя со славной фамилией Пиченарди.

Впервые за весь разговор Страдивари улыбнулся:

— Кто знает, синьор Пиченарди, что ждет нас в будущем? Оно ведь скрыто от наших глаз. Быть может, ваше имя останется потому, что я купил ваш дом и сидел на ваших креслах. Возможно

такое?

От ярости старик беззвучно зашевелил губами, потом хрипло промолвил:

— Не продаю… Прочь, наглец…

И все-таки синьор Пиченарди продал свой дом вместе с мебелью скрипичному мастеру Антонио Страдивари. Никто не давал такой цены, как Страдивари — семь тысяч имперских лир — за трехэтажный дом по три окна в ряд, с подвалом и антресолями. На крыше Страдивари устроил сушильню — «секкадору», где в пергаментных петлях сохли новые скрипки.

Были они цвета темного золота, переходившего на свету в нежно-коричневый. Проще становилась резьба завитка, отделка обечаек, строже рисунок эфов, а сама скрипка еще сохраняла весь строй и форму инструментов великого мастера Амати, и потому со всех сторон поступали к Антонио заказы на скрипки «аматис». А размеры скрипок — от одного инструмента к другому — росли, и звук их становился все глубже, и сильнее, и нежнее. И когда Антонио нашел вариант квартовой настройки, сдвинутой между деками на полтона выше, он подумал, что надо искать новую конструкцию: все известное ранее было испробовано.

Жизнь текла спокойно и размеренно, и казалось Страдивари, что это и есть счастье и пребудет оно вечно…

Людям не дано знать о сроке их жизни. Никколо Амати был уверен в близкой смерти своей, но дни проходили, он прожил еще семнадцать лет и создал бессмертный Трианонский ансамбль — две виолончели, шесть альтов и восемнадцать скрипок для оркестра французского короля Карла Девятого.

Двенадцатого апреля 1681 года он прилег отдохнуть после обеда и больше не проснулся.

В траурной процессии за гробом шли два незнакомых между собою человека — полупьяный грязный старик Андреа Гварнери и синьор в бархатном плаще с золотой цепью и смарагдовой пряжкой — мастер Антонио Страдивари. И прозрачные волны скорби в брызги разбивались о монолит души Страдивари, потому что за его спиной шагали четыре сына, четыре продолжателя дела и помыслов его. Четыре мальчика — Паоло, Джузеппе, Франческо и Омобоно — в сафьяновых алых беретах, синих камзолах с брыжжами и кружевными жабо, несли вслед за отцом оплывающие желтые свечи.

А где же Дель-Джезу? Покойный гений всю

жизнь мечтал тебя встретить, Дель-Джезу!

Ах, да! Джузеппе Гварнери еще не родился…

* * *

Четыре часа работала реанимационная бригада. Желтенький автобус с красными крестами на бортах мчался по Москве, тревожно вспыхивал пульсирующим криком оранжевый фонарь над ним, за три перекрестка требовала сирена: с дороги-иии! Беда-а-а! А внутри автобуса — маленькой походной операционной — врачи уже переливали Иконникову кровь, вводили допинги и антитоксины, из стеклянных снарядов капельницы стекала новая лимфа, электрический разряд ударил в сердце, пытаясь заставить вновь забиться этот вялый мертвый комок мышц…

Но Иконников был мертв. Он уже умер совсем, навсегда, потому что голубой крайт вбрызнул в него каплю яда, которой можно было вылечить сто человек, но для одного-единственного старого человеческого сердца это было слишком много.

Главный врач сказал мне:

— Несчастный случай. Видимо, змея выскользнула у него из руки и вцепилась в запястье…

— Через сколько времени вы прибыли? — спросил я.

— Минут через тридцать. Когда это случилось, он был в лаборатории один — обеденный перерыв. Если бы нам сообщили сразу, мы бы его отходили. Глупый несчастный случай…

Я вышел на улицу. Сухой пронизывающий холод устоявшейся осени сковал город. Замерзли лужи, и ветер визгливо голосил по переулкам. Подслеповато светили фонари и автомобили. Втянув головы в воротники, спешили по домам прохожие. Голубым запотевшим дирижаблем прогудел мимо троллейбус. В витрине радиомагазина работал цветной телевизор — показывали выступление ансамбля «Березка». Совершенно одинаковые девушки совершенно одинаково двигались, нагибались, притоптывали, кружились, вновь одинаково плавно семенили, и от того, что происходило это беззвучно, за двойным стеклом, покрытым густой испариной, они казались все ненастоящими — просто большая заводная игрушка, двадцать девушек в ярких кокошниках и сарафанах пляшут на морозе, за мокрым подмерзшим стеклом, а рядом — в ста метрах — лежит уже навсегда мертвый человек, который умер от того, что ста другим людям принесло бы исцеление.

Может быть, приступы болезни «тэдиум витэ»

всегда оканчиваются несчастными случаями?.. Или последствия этой болезни не называются «случай»? Может быть, это не случай вовсе? И не от встречи же со мной заболел Иконников этой ненавистью к жизни? А умер? От встречи со мной? Но я не хотел его смерти. Я пришел к нему, чтобы узнать правду. Разве правда может повлечь чью-то смерть? Нужна разве правда, если она влечет смерть? Но если не будет правды, то Минотаврам не надо будет прятаться в лабиринтах, они смогут спокойно выйти на поверхность и жрать людей заживо. Убийц станут называть «ваша честь», в «Страдивари» положат камни и сделают из него погремушку для маленьких минотавриков, а Полякову отрежут уши, чтобы он не слышал и не смел показывать красоты мира. И если не станет правды, то убийство и насилие станут верой. Нет, нет, нет, правда не может призывать смерть, никому не нужна такая правда! Разве что смерть как наказание может быть признана правдой. Но я не знаю правды, которая могла наказать Иконникова, и правда исподтишка, змеиным укусом не карает. А может быть, Иконников сам покарал себя? За что? За что?..

Ох, не могу, голова раскалывается! Может быть, во всем виноват я? Может быть, я не так, — зло

и жестоко искал истину? Может быть, это мой Минотавр загрыз Иконникова? Как же быть? Как мне быть дальше? Уйти?..

Иконников сказал: это сыщиком можно быть первым или восемнадцатым…

Белаш сказал: «Страдивари» воруют, чтобы не попадаться…

Аспирантка Колесникова: ему пришлось победить Минотавра…

Филонова сказала: то, что прощается среднему человеку, никогда не прощается таланту…

Поляков сказал: есть люди, способные почти сразу раскрыть отпущенное им дарование…

Доктор Константинова: восьмой круг ада — да и только!..

Обольников: правда не рупь, она по виду, может, и монета чистая, а на зуб ее не возьмешь…

Лаврова: вы резали правду-матку… по-моему, вы ее уже зарезали…

Жена Иконникова: главный выбор в жизни человеку доводится сделать один раз…

Халецкий: будьте добрее, это вам не повредит…

Комиссар: правду умом ищут, а не хитростью…

Иконников: характер человека — это его судьба…

Уйти? И что? Разве так распутаешь клубок этих проблем? Я-то сам чем недоволен — своей судьбой или характером?

Так я и шел по вечерней холодной Москве, залитой осенней стужей и неживым светом неона, и сотни вопросов раздирали мой мозг раскаленными щипцами, они неистовствовали, как кредиторы у запертых дверей банкрота, они все требовали ответов, которых я им дать не мог, и помочь мне никто не мог, когда я шел по пустынным улицам, окруженный сворой голодных, клацающих зубами Минотавров, я слышал на мерзлом асфальте скрежет их когтей, жаркое злое дыхание за спиной, они шли вокруг меня плотным кольцом, как полярные волки, дожидаясь, когда я скажу: все, вы оказались сильнее. И тогда они сомкнутся вокруг меня вплотную, и мой собственный Минотавр получит свободу. Он-то и скажет, облизываясь дымящимся кровавым языком: ты убил Иконникова, надо ответить за это…

Дверь в кабинет была приоткрыта — в комнате сидела Лаврова. Дожидаясь меня, она читала «Иностранную литературу». Я молча разделся, повесил пальто, сел к столу. Она закрыла и отложила в сторону журнал.

— Надо шапку купить, — сказал я. — Холодно.

— Да, холодно, — сказала Лена. — Хотите, возьмите мою. У меня есть другая… — и показала на свой шерстяной, крупной вязки колпачок, как у Буратино.

— Спасибо. Неудобно все-таки — шапка-то женская.

— Да ну! — махнула она рукой. — В ушанке ходить неудобнее. Это подумать только — пятьдесят миллионов человек носят шапку одного фасона!

— Может быть, не знаю, — сказал я, и длинное пустое молчание расплылось по комнате, как чернильная клякса. Потом я попросил: — Лена, доложите, пожалуйста, комиссару, что Иконников умер, не приходя в сознание. Мне сейчас с ним говорить трудно…

Лена сказала:

— Он уже знает. Звонил и приказал вам идти домой спать.

— Спать? — не понял я.

— Ну да, — кивнула Лаврова. — Это у него, как я понимаю, универсальный рецепт от всех неприятностей.

— Да, — вспомнил я.

— А неприятности будут?

— Наверное, — пожал я плечами. — Если специальное расследование установит, что это не

несчастный случай, а самоубийство, то меня при всех обстоятельствах отстранят от расследования этого дела…

— Но почему? — возмутилась Лаврова.

Я усмехнулся, однако, судя по лицу Лены, улыбка у меня получилась жалкая, растерянная.

— В таких случаях моя мать говорит: всем всего не расскажешь. И все-таки общественное мнение должно быть свято уверено в законности методов расследования. А у меня свидетель по делу кончает с собой.

— Не понимаю я этого, — упрямо сказала Лаврова. — Если проверка покажет абсолютную законность ваших действий…

— Чего тут не понимать? — перебил я. — По факту смерти Иконникова уже возбуждено уголовное дело, которое будет вести прокуратура и Особая инспекция. Даже если они установят, что между моими действиями и смертью Иконникова отсутствует причинная связь, то из соображений этических это дело лучше передать другому работнику. Злопыхателям рот не заткнешь, и найдется достаточно сволочей, которые начнут шептать по углам: вон чего вытворяют, человека до смерти затравили! Этим трудно пренебречь…

Лаврова встала — руки в боки, она, видимо,

хотела меня разнести как следует, но зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Стас? Это Зародов из дежурной части, — голос у него был какой-то извиняющийся, сочувствующий, что ли. Наверное, уже все знают.

— Слышу. Чего тебе? — сказал я нарочно грубо. Ну их к дьяволу! Сейчас начнут вздыхать, соболезновать, давать советы. «Я бы на твоем месте…» Советы давать и пиво после бани трескать — самое милое дело.

— Ты чего такой злой? — удивился Зародов. — Тут с вечерней почтой письмо тебе пришло, вот я и звякнул на всякий случай — ты же поздно сидишь обычно…

— Больше не буду, — пообещал я.

— Чего не будешь? — не понял Зародов.

— Сидеть не буду.

— Тебе виднее, — дипломатично ответил Зародов. — Так с письмом что? Подослать или завтра сам зайдешь?

— Пришли с рассыльным, будь другом…

Лаврова дождалась, пока я положу трубку, и спросила:

— Но ведь расследование установит, что вы действовали правильно, так ведь?

— Не обязательно, — покачал я головой.

— То есть как это?

— В лучшем случае установят, что моя вина в смерти Иконникова не доказана. А между недоказанной виной и доказанной невиновностью — большая разница.

— Не понимаю я все-таки, почему вы должны доказывать свою невиновность, — медленно сказала Лаврова.

— Не понимаете? А вот представьте себе, что Иконников оставил записку, в которой называет меня виновником своей смерти. А это вполне может быть — мы расстались с ним очень плохо. И было это третьего дня…

— Но это только голословное утверждение, ничем и нигде не подтвержденное. Вам не может быть отказано в доверии на почве такого вздора…

— И, надеюсь, не будет отказано. Но от дела отстранят. В нем появился душок…

В дверь постучали, вошел старшина из дежурной части, протянул мне конверт, козырнул и отправился восвояси. Письмо без обратного адреса — «Петровка, 38, инспектору МУРа Тихонову». Лаврова спросила:

— Будем собираться по домам?

— Одевайтесь, я тоже сейчас иду, — разорвал

конверт и увидел, что в нем лежит листок бумаги и еще один конверт, мельком пробежал листок, от волнения ничего не понял. Руки тряслись, прыгали, буквы двоились перед глазами, и смысл, как в плохо наведенном объективе, расслаивался, смазывался, пропадал. И откуда-то издалека донесся ватный мятый голос Лавровой:

— Что с вами?!.

— Ничего, ничего, — я растирал ладонями враз озябшее лицо, пытаясь остановить бешеный грохот в висках, заставить его стихнуть, умолкнуть, оставить меня в покое.

Я получил письмо от мертвого уже человека.

> «Сервантес в аналогичной ситуации написал: «Я не отрекусь от истины, даже если у меня нет сил ее защищать». У меня нет сил защищать истину, нет сил защищать себя, да и желания нет. Когда вы получите письмо, то вам уже будет известно, что болезнь «тэдиум витэ» необратима.
>
> Не вздумайте только, что я ухожу из-за вас. Я ведь к «Страдивари» не имею никакого отношения. Просто я прожил глупую беспутную жизнь, израсходовал,

истратил себя на какую-то ерунду, пустяки. Но люди вокруг меня составили о моей личности неправильное представление — одни думали обо мне лучше, а другие хуже, чем я есть на самом деле. И понять меня до конца смог только один, неизвестный мне человек, который использовал меня как щит во всей этой истории с кражей скрипки. Я не знаю его, но утверждаю, что это исключительно умный и плохой человек, если он сумел так все точно рассчитать. Одного он не смог предусмотреть — этого письма и «тэдиум витэ». Я старый, слабый и — чего скрывать — совсем немужественный человек. Болезнь зашла далеко, и мне легче умереть, чем вынести позор уголовного преследования.

Попрошу вас поклониться Левушке, извиниться за все мои глупости и сказать ему, что я умираю, почитая его как великого человека и музыкального гения, равного в истории Пьеру Гавинье.

И еще: попросите Левушку, если, конечно, захотите, пусть сыграет он вам Второй концерт Пуньяни. Мне это будет реквием, а для вас — колокола судьбы, и не услышать вы их не сможете, потому что я обманывал вас, когда говорил, что сыщик может быть восемнадцатым. Человек должен стремиться быть всегда первым, иначе вообще нет смысла жить. Я уже больше ни в чем не смогу быть первым. Прощайте.

Павел Иконников,
29 октября, 9 ч. 15 мин.».

Письмо было написано двенадцать часов назад, утром, когда Иконников уходил на работу, на встречу с голубым крайтом. А конверт внутри письма был тот самый, что держал в руках два дня назад Бабайцев — «Филоновой для П. П. Иконникова». Я раскрыл конверт и вытащил коротенькую записку: «П. П.! Все в порядке. Шарманка на месте. Сижу тихо, жду указаний».

Текст был написан длинными, плавными и все-таки неровными буквами — такие литеры получаются от писания левой рукой. Вот и все, что пришло мне с вечерней почтой.

Письмо оглушило меня. В сумраке сознания бродили какие-то неясные силуэты, звучали обрывки слов, мелькали стертые видения воспоминаний, все перемешалось, исковеркалось, разрушилось, исчезло.

Долго плавал я в пустоте вязкого бессмыслия, и тишина была заполнена тусклым желтым светом, горечью, стыдом, досадой, запахом старых чернил и жженого сургуча. Изнурительно дребезжало стекло фрамуги, еле ощутимо стелился аромат духов Лавровой, два конверта, два листа бумаги лежали передо мной на столе, и я не мог оторвать от них взгляд, они гипнотизировали меня, давили, как пальцами, на глаза, вжимая их силой в череп, и тяжелая глухая боль тупо ухала в затылке.

Не знаю, сколько я сидел так, и когда заговорил, голос у меня был хриплый, дребезжащий, как стекло в заветренном окне:

— С нами ведет игру бандит. Исключительной силы и воли. Я с таким еще не встречался. Вы это понимаете?

— Я вам верю, — сказала Лаврова.

— Я должен его взять сам. Иначе… Ну, сами понимаете. Это вопрос моей чести.

Лаврова молча кивнула.

— И времени у меня совсем мало. Завтра меня уже вызовут в Особую инспекцию. Я должен успеть до приказа о моем отстранении.

— Что делать? — коротко спросила Лена.

Я посмотрел на нее, и мне ужасно захотелось сказать ей что-нибудь теплое, благодарное, но ничего не придумал, и обстановка не подходила, да и времени на все эти разговоры уже не было. Поэтому я только попросил:

— Позвоните домой и скажите, что сегодня задержитесь…

— Есть идеи? — спросила она совершенно спокойно, твердым голосом, будто ничего у нас тут и не происходило и не вели мы ни о чем разговоров.

— Да. Мне кажется, я нашел ключ поиска. Если это не совпадение, то я еще успею… Вам сейчас надо будет поехать на Главпочтамт…

Лаврова приехала около полуночи. Азарт погони уже охватил ее, следов долгого утомительного дня было незаметно — она выглядела свежей и веселой.

— Ну? — нетерпеливо спросил я.

— Все в норме. Отклонений от маршрута не наблюдается.

— Будем беспокоить начальство?

— А как же? — удивилась она. — У начальства нашего работа тоже ненормированная…

Я посмотрел на нее, усмехнулся:

— Если все это закончится пшиком, то на мою голову, помимо громов руководящих, еще обрушится и приличный позор…

— Что делать? — пожала она плечами. — В нашей работе присутствует всегда элемент риска.

— Значит, я звоню? — потоптался я последний раз у черты.

— Обязательно, — отрезала Лаврова путь к отступлению.

Я набрал семь цифр домашнего номера комиссара и, когда раздался первый гудок, я почувствовал себя, как мальчишка, только что выбивший стекло, а хозяева еще не выбежали во двор, но все видели, что это сделал я, и некуда убежать, пройдет несколько мгновений, и меня начнут долго, унизительно и больно драть за уши. Прозвучал еще один, второй, третий гудок…

— Наверное, его нет дома, — сказал я.

Лаврова покачала головой, спокойно сказала:

— Держите, держите трубку. Он спит. Судя по его животику, он поздно ужинает и сразу ложится спать.

— Устает он сильно, — сказал я, будто животик

комиссара нуждался в моей защите.

— Трусите? — спросила она сочувственно.

— Не очень, но…

Гудок прервался на середине, и я успел почему-то подумать, что на телефонной станции запрещают снимать трубку во время звонка.

— Слушаю… — я узнал голос комиссара.

— Извините, пожалуйста, это Тихонов говорит. Я вас разбудил, наверное?

— Ты бы часа в четыре поинтересовался этим. Было бы уместнее…

Голос комиссара был сиплый, размазанный, просоночный, не было в нем обычных жестких ехидных нот. Я представил себе, как он стоит у телефона в пижаме, босиком, ежится от холода, а белые его волосы взбиты со сна на затылке хохолком. И красные складки-рубцы от подушки на щеке…

— Сколько времени сейчас? — спросил комиссар. — Темно, как у негра в животе.

— Пять минут второго…

— А-а, черт! — с досадой сказал он. — Снова придется снотворное принимать. А чего тебе неймется?

— Я по делу.

— А до утра твое дело не терпело? Ты из дому?

— Нет, я еще на Петровке, Лаврова со мной.

Комиссар весело хмыкнул:

— Эх, Тихонов, мне бы твои годы, я бы знал, где по ночам с интересной девушкой… Так ты чего меня поднял?

— У нас есть соображения, как выйти на вора…

— Вот утром бы и сообщил свои соображения.

— Утром меня могут отстранить от дела.

— Ложкой не нахлебался, языком не налижешься. И ты меня не проверяй пробными шарами — знаешь ведь, не я один этот вопрос решаю.

— Я и не проверяю. Я хочу успеть сам поймать эту сволочь.

— Дело почтенное, — снова хмыкнул комиссар. — Подожди, я сигарету возьму…

Громыхнула на столике трубка, и стало тихо.

Лаврова спросила:

— Бушует?

— Ничего, терпимо. Надо, чтобы он совсем проснулся.

На другом конце провода раздался шорох, стук, комиссар взял трубку.

— Слушай, — сказал он. — Я ведь тебе велел идти домой отдыхать. Ты почему моих приказов не исполняешь?

— Официального приказа о моем отстранении

еще не было, а свое рабочее время я волен распределять по усмотрению.

— Ну и глупо! Хороший сыщик должен много думать, а для этого надо крепко спать по ночам. Дураки да алхимики по ночам колобродят.

— У вас нервы здоровые, — сказал я.

— Нервы? — переспросил он. — Ничего. Нормальные нервы. С плохими нервами я бы от вас всех давно в психбольницу угодил. Так что у тебя там?

— Помните, вы мне про вора Калаганина рассказывали?

— Ну?

— Вы его на место в машине вывозили? В Серпухов?

— Нет. На электричке.

— А почему?

— Слушай, Тихонов, ты мне докладывать соображения позвонил или у тебя телефонный допрос запланирован?

— Докладывать. Но у меня тут одно место не складывается. Так почему на электричке?

— Не помню. Машины, наверное, не было. Я ведь тогда не начальником МУРа был, в твоей шкуре бегал, и с машинами было небогато.

— С Курского вокзала? — спросил я упавшим

голосом.

— С Курского? — стал вспоминать комиссар. — Нет, подожди, подожди, с Белорусского мы его везли…

— В Серпухов — с Белорусского? Это же другая линия!

Комиссар помолчал, почмокал губами, раскуривая гаснущую сигарету, отчетливо раздался щелчок зажигалки.

— Вспомнил, — сказал твердо комиссар. — Вот сейчас все вспомнил. Мы его повезли на электричке, потому что он сказал, что был там один раз и сможет сориентироваться только, если повторит в точности весь маршрут. А ездил, мол, он с Белорусского вокзала в Серпухов…

— Так Серпухов же по Курской железной дороге, — продолжал я «выводить» комиссара.

— Да. Но от Белорусского линия идет через город, мимо Станколита, по Комсомольской окружной до Курского вокзала, а далее — по маршруту следования. Хочешь — в Серпухов, хочешь — в Гагры…

— А вы знаете, почему вас Калаганин повез с Белорусского?

— Ну-ка, ну-ка, оживи тени ушедших…

— Калаганин в отличие от меня знал, что

Курский и Белорусский вокзалы соединяются городской веткой, и неоднократно ездил по ней. В материалах дела есть допрос свидетельницы Клавдии Степаньшиной, его любовницы, у которой он регулярно бывал. Задолго до всех этих событий она была выселена из Москвы и проживала на станции Козине — сто третий километр Курской дороги. И ездил Калаганин не от Курского вокзала к Белорусскому, а в обратном направлении. От Степаньшиной он ездил на Белорусский вокзал и оттуда — далее…

— Почему? — заинтересовался комиссар.

— А там проживает мастер воровского инструмента. Скорее всего на станции Голицыно.

— Соображения? — четко осведомился комиссар.

— Я вновь внимательно прочитал ваше дело и понял, что действительно был там момент, когда Калаганин был близок к откровенности.

— Ну, спасибо за признание моих скромных заслуг, — усмехнулся где-то там, далеко, комиссар, но я и здесь увидел сумеречный блеск его золотых зубов.

— Не стоит, — сказал я дерзко, — я думаю, что, если бы вы его прямо ночью повезли к мастеру, он бы сдал его. Он всю ночь думал, мне кажется,

он сомневался до последней минуты, пока не привез вас на вокзал. И там окончательно передумал или испугался, в общем, сейчас мы уже этого не узнаем. Важно, что он решил не сдавать мастера, И тут, по линейной логике испуга, он принял обратное решение, а поскольку вы были уже на вокзале — оно было единственным: он повез вас в противоположную сторону…

— Может быть, — зевнул комиссар. — Но это ведь только домыслы. Как насчет конкретных фактов?

— Старший следователь третьего отдела Сеня Камбург в таких случаях говорит: «Вы хочете фактов — их есть у меня!»

Комиссар засмеялся:

— Дело в том, что когда Сеня говорит, что у него есть факты, то им можно верить, как статьям УПК. Он, кстати говоря, по ночам всегда спит…

— Ну и на здоровьице! Передо мной лежит схема, если хотите, то доложу сейчас. А нет — то завтра? — спросил я.

Комиссар помолчал, видимо, устраивался поудобнее, потом сказал:

— Давай сейчас. А то у тебя нервы плохие, до утра не дотерпишь, снова разбудишь…

— Слушаюсь. В квартире Полякова нами был

обнаружен билет 20-го маршрута троллейбуса, оторванный в кассе в ночь совершения кражи где-то на участке между платформой Беговой и площадью Маяковского. Это раз.

— Волнующий факт, конечно, — сказал комиссар.

— В почтовом ящике Полякова лежала телеграмма, отправленная из отделения связи на Беговой улице, напротив ипподрома. Можем предположить наличие связи?

— Допустим, — осторожно заметил комиссар.

— Анонимка, которой нас наводили на Иконникова, была отправлена из Кунцева. По штемпелю на конверте Лаврова это установила точно.

— Сама установила?

— Зачем? На Главпочтамте сообщили. Письмо, которое прислали Иконникову, ну то, которое я хотел изъять, было обработано в 45-м отделении связи, расположенном в здании Белорусского вокзала.

— А ты это откуда знаешь? — подозрительно спросил комиссар.

— Мне его Иконников вместе с посмертным письмом переслал. Он пишет, что кто-то хотел воспользоваться им как щитом…

— Что же ты об этом молчишь, ослиная башка?

Я себе голову выламываю, как завтра защищать тебя, а ты со мной в молчанки играешь! У тебя что, не все дома, что ли? Лечиться надо тогда!

— Наверное, — пожал я плечами. — Но это еще не все…

— Ну давай, давай живее! Ты как на похоронах тянешь!

— Мальчишки, битлы эти самые, что купили магнитофон, сошли на станции Одинцово…

— Ну и что? От Одинцова до Голицына еще сколько остановок!

— В том-то и дело, что нет. То есть остановки есть, но этот поезд сквозной — часы «пик».

— Ты это точно проверил?

— Конечно! Поезд уходит с Белорусского вокзала в 19.12, остановки — Москва-3, Беговая, Кунцево, Немчиновка, Одинцово и следующая — Голицыно. Вот и получается у нас трасса: Белорусский вокзал, Беговая — с ответвлением на троллейбус, это удобная пересадка, Кунцево, в Одинцове ребята сошли, а продавец магнитофона уехал дальше. А дальше у нас только станция Голицыно.

— Хорошо, а в Голицыне что делать будешь?

— Ну, Голицыно — это не Москва. Это не восемь миллионов с пригородами. Да и зацепка

там есть…

— Какая еще зацепка?

— В архивных делах, которые я перечитал, дважды упоминается мастер, изготовлявший воровской инструмент. Обвиняемые знают его в лицо и кличку — «Часовщик». Где живет, фамилия — ничего не известно, но один из них высказывает предположение, что кличка идет от профессии.

Комиссар долго молчал, я слышал, как он вновь закурил, сигарета, видимо, не горела, и он шумно, тяжело пыхтел в микрофон. Затем спросил:

— Стас, ты понимаешь, что даже в случае успеха это не решение вопроса. Это только успешный ввод в дело. Он ведь скорее всего не вор, а только пособник — если это мастер. Насколько я знаю таких хмырей, он сам на кражу никогда не пойдет. Он человек тихий, у него специальность в руках…

— Да, понимаю. Но тому, кто примет у меня дело, надо будет уже воевать не с призраками, а с живой, реальной сволочью. Это всегда проще…

— Да, сынок, это верно. Ну что, пожелать тебе ни пуха ни пера?

— Не надо. Вы же мой начальник — к черту посылать неудобно.

Комиссар засмеялся:

— Если для пользы дела и неофициально, то ничего… Желаю тебе удачи.

— Спасибо. Спокойной вам ночи.

— Вот это уж вряд ли у меня получится. Ну, давай…

И положил трубку.

— Снег идет на улице, — сказала Лаврова.

Она стояла у окна, прижав лицо к стеклу, прикрывая с боков ладонями глаза, как шторками, чтобы не мешал свет лампы. Я щелкнул тумблером выключателя, свет в кабинете погас, все стало вокруг сине, таинственно, призрачно, исчезла канцелярская убогость комнаты, потому что из окна плыл дымный снежный туман, растворяя теплую темноту белесыми мерцающими мазками.

Я встал из-за стола, тоже подошел к окну и увидел, что вся Петровка завалена снегом. Снег был везде — на деревьях в Эрмитаже, на крышах домов, нетронутой целиной убаюкивал тротуары, а на мостовой редкими машинами были проложены две ровные аккуратные колеи, черневшие в этой сияющей белизне, как нотные линейки. Еще горели ночные фонари и от этого снег фиолетово мерцал.

В коробке радиодинамика что-то прошелестело, будто кто-то вздохнул во весь эфир, и комнату заполнил тихий четкий бой метронома. Мы стояли с Лавровой у окна, смотрели на снег, и метроном раскачивал тишину, как ровная зыбь бьет парусник в море, и от этого еще сильнее хотелось спать. И эти пять минут радиопроверки в темной комнате у окна, выходящего на пустынную заснеженную улицу, где каждая секунда была выделена и заверена ударом метронома, почему-то сблизили нас больше, чем целый год совместной работы.

В динамике послышался щелчок, и бодрый женский голос, звонкий, веселый и в то же время торжественно-официальный — будто и не было этой бесконечной ночи и на улице сейчас яростный апрельский рассвет, а не сиреневая снежная мглистость — сказал:

— С добрым утром, дорогие товарищи! Московское время — шесть часов. Сегодня — 30 октября 1970 года, пятница…

Лаврова отошла от окна и зажгла свет, и все химеры этого предрассветного мгновения, окутанные первым снегом, слабой синевой, усталостью ожидания, качающейся тишиной, — все исчезло.

— Ну, что, начнем собираться? — спросила

Лаврова.

— Пожалуй. У меня все готово.

Лаврова открыла сейф и достала оттуда свой пистолет. Оттянула затвор, дослала в ствол патрон, слабо цокнул предохранитель, потом положила его в свою красивую лаковую сумочку. И это меня почему-то ужасно рассмешило. Я все хохотал и хохотал, и никак не мог остановиться, и хохотал все сильнее, а Лаврова с недоумением смотрела на меня, пытаясь взять в толк, что могло меня так развеселить, а мне было совсем невесело, и я никак не мог остановиться…

— Глупо! Глупо! — орал я, захлебываясь собственным криком. — Это глупо, ужасно, что женщины ходят с пистолетом! Женщины должны носить пудру в сумке, а не пистолет! Люди вообще не должны носить пистолетов…

По мостовой протарахтела скребком снегоуборочная машина, тяжело, с подвыванием заревел мотор автобуса на остановке, матовым бельмом засветилось окно. Все, день начался.

На улице было совсем тепло и скользко. Снег падал хлопьями, большими и легкими, как облачка бадузановой пены. Он застревал в волосах, щекотно растекался на лице прохладными каплями, он пахнул елками, мандаринами, дождем.

У подъезда уже стояла наша оперативная «Волга». Я сказал шоферу: «В Голицыно», откинулся на сиденье и мгновенно заснул.

К десяти часам мы закончили осмотр всех мастерских и мелких цехов, где могли заниматься металлоремонтом или оказанием бытовых услуг, связанных со слесарными работами. Человека, похожего по приметам на «слесаря» и продавца магнитофона, не было.

— Давайте обследуем еще комбинат бытового обслуживания, — сказала Лаврова, — и штурм придется прекратить.

Я развел руками:

— Придется переходить к длительной осаде. Участковые и местный оперсостав обследуют каждый дом, каждого жителя. Думаю, найдут.

— Это при условии, что он здесь живет, — заметила Лаврова. — Он ведь может здесь только работать, а жить где-нибудь в Можайске.

— …У нас двадцать шесть служащих, из них пятеро мужчин, — сказал нам директор комбината. — Вот их личные карточки, можете посмотреть.

Пока я внимательно читал карточки и рассматривал фотографии, вошла бухгалтерша, попросила директора подписать ведомость на

зарплату. Директор поставил на линованном листе замысловатую роспись, припечатал круглой печаткой и велел бухгалтерше ехать в банк засветло.

— А то сейчас темнеет рано, всякое может случиться, — сказал он, покосившись на нас.

Женщина вышла. Лаврова, сидевшая рядом со столом, спросила:

— Сколько у вас работников?

— Двадцать шесть. А что? — удивился директор.

— А я вот обратила внимание, что в ведомости у вас двадцать восемь фамилий. Вы свою роспись прямо под двадцать восьмым номером поставили.

Я поднял голову от бумаг. Директор засмеялся:

— А-а, это! Так эти двое у нас не в штате. Они по договору работают. Растворова — педикюрша, она Дом творчества обслуживает, и Мельник, старикан наш.

Лаврова бесстрастно, равнодушно спросила:

— А что он делает, этот старикан ваш?

— Да он все умеет. Но уже второй год на пенсии, по договору парикмахерский инструмент правит, точит, за оборудованием следит. Ему на постоянную работу нельзя — с пенсии снимут, вот он

помаленьку подшибает, и нам это выгодно…

Так же безразлично Лаврова задала вопрос:

— А часы он может починить?

— Конечно. Да что там часы! Он как Кулибин — все умеет.

— А где живет этот Кулибин? — спросил я.

— Да тут рядом — две улицы пройти. Огородная, дом 6. Домишко у него собственный…

Домишко был как с рождественской открытки — весь засыпанный снегом, только дорожки от калитки чисто разметены, в пуховых шапках деревья, а над крышей прямая струя синего дыма из краснокирпичной трубы.

Это был не домишко. Дом. Крепкий рубленый пятистенок под шиферной крышей, с жилой мансардой, многочисленные постройки виднелись за ровно выстриженным, припорошенным снегом фруктовым садом. И ровная рябь клубничных гряд. Добротное жилье работящего и сноровистого человека.

Мы отворили калитку и сразу же из будки рванул на нас здоровенный нечесаный барбос, разматывая на всю длину пятиметровую ржавую цепь. Задыхаясь от собственного гундосого простуженного лая, пес отрезал вход в дом.

Лаврова расстегнула сумочку.

— Вы что?! — крикнул я.

Она удивленно обернулась ко мне и достала шоколадную конфету, развернула фантик и бросила псу. Собака мгновенно, как по команде, стихла, обнюхала конфету, замотала щеткой-хвостом. Съела конфету и лениво пошла в будку. В окне дома мелькнуло лицо.

— Идемте, — сказала Лаврова.

Дверь, обитая черным дерматином с ровными рядками блестящих фигурных шляпок, распахнулась. Пожилая опрятная женщина в накинутом на плечи пальто спросила:

— Вы насчет дачи на будущий год?

— До сезона еще год почти, — сказал я. — Куда спешить?

— Люди капитальные заранее этим заботятся, — сказала женщина, — И дешевле, и надежнее. Иди-ка сними дачу в мае!

— Это верно, — согласился я. — Нам бы со Степаном Андреичем поговорить бы? Дома он?

— А где же ему быть? Проходите, в горнице он чего-то мастерует…

Мельник сидел за дощатым столом, заваленным какими-то деталями, проводами, инструментом. Он поднял на нас глаза, и я понял, что мы наконец встретились.

Крупная лысая голова, нос, без малейшей ложбинки соединявшийся со лбом, мощная упрямая челюсть. И глаза — внимательные, щупающие, глубокие.

— Здравствуйте, Степан Андреевич! — сказал я и удивился, что совсем не волнуюсь. Вот он, сидит передо мной на развале каких-то деталей. Минотавр. Чистенький, аккуратный старик, ловкий слесарь, простой, скромный Минотавр, укравший «Страдивари» и загнавший в могилу Иконникова. Вчера в это время Иконников был еще жив. А Поляков болеет до сих пор. О сроке назначенного концерта будет объявлено особо. Истекают серыми слезами бездонные глаза Евдокии Обольниковой. Это дар, призвание, долгое озарение. Кому-то нужен Каин для публичного кнутобоища. Колокола судьбы. Он человек тихий, у него специальность в руках.

Сыщик, нашел вора?!.

И все это длилось какое-то незримое мгновение, потому что он, осмотрев меня, сказал спокойно и веско:

— Здравствуйте, коли не шутите. С чем пожаловали?

— Нужно мне инструмент один соорудить, — сказал я рвущимся голосом. — Вот посоветовали

мне к вам обратиться. Возьметесь?

— Смотря какой инструмент, — сказал он ровным голосом, но я мог дать голову в заклад, что у него дрогнула кустистая бровь. — Посмотреть надо…

— А это пожалуйста, — и злобная веселая радость залила меня пружинистой силой. — Вот такой…

Я протянул ему «фомку» — черную, зауженную с одного конца, с двумя короткими молниями у основания. Он молча сосредоточенно смотрел на «фомку», смотрел неподвижно, не шелохнувшись.

— Ну что — возьметесь? Сговоримся?

Он оторвался от «фомки», снова поднял на меня глаза, перевел взгляд на стоящую за моей спиной Лаврову и твердо сказал:

— Значит, вы из МУРа?

— Да! — весело подтвердил я. — Как, Степан Андреевич, есть нам о чем поговорить?

Он усмехнулся, и на щеках его прыгнули тугие камни желваков:

— С хорошим человеком завсегда есть о чем поговорить…

— Например, о краже в квартире на Маяковской?

— Правильно вести себя будешь, и об этом поговорим, — сказал он медленно, и в глазах его связанной птицей все время билась мысль — где выход?

— Так я себя всегда правильно веду, — сказал я с придыханием. — Неправильно вел бы, к тебе, Степан Андреевич, в гости не попал бы. Понял?

— Понял, — сказал он не спеша, спокойно. — Ты как вошел, я тебя сразу понял. Не должен был ты меня найти, да, видно, по-другому все построилось.

И острый женский крик вдруг полоснул комнату, как ножом развалил он судорожную неторопливость нашего разговора, рванулся по углам, зазвенел в стеклах, дребезгом прошел по деталькам на столе и закатился, стих, обмяк в чуть слышное причитание:

— Степушка, Степушка, что же натворил ты? Что же это происходит?..

Мельник повернул к жене тяжелую шишковатую голову, не вздрогнул, бровью не шевельнул, только глаза сощурил и сказал сердито:

— Молчи, мать! И к нам пришло…

Потом мне:

— Моя это работа. Только милиционер в моем доме первый раз, жена ни сном, ни духом не ве-

дала. Я все выдам сам. Можно обыск не делать?

— Нет, — сказал я. — Нельзя. Вы позора боитесь, вам сейчас о другом думать надо.

Он задумчиво посмотрел на меня, пожал плечами, равнодушно сказал:

— А вообще-то, конечно, все равно. Срам фигой не прикроешь. Делайте чего хотите…

Мчалось бешено время, мелькали лица, все время стоял гулкий надсадный шум, как в бане, ходили по дому милиционеры, переминались в углах понятые, под окнами стояла машина с радиотелефоном, и оттуда все время прибегал молоденький лейтенантик с телефонограммами и сообщениями, стоял треск и грохот от взламываемых половиц, простукивания стен, с лунатическим лицом ходил эксперт, осторожно двигая перед собой миноискатель, на очищенном от деталей столе светло лучились желтизной и алой эмалью лауреатские медали и ордена Полякова, золотой ключ от ворот Страсбурга обещал вход повсюду, тропической гирляндой змеилась цепь руководителя Токийского филармонического оркестра, замер в крутом развороте скрипичный платиновый ключ — награда Сиднейского музыкального общества, тускло мерцал почетный жетон победителя конкурса Изаи. Все суетились,

что-то делали, и только мы с Мельником неподвижно сидели друг против друга и время от времени вяло перекидывались словами.

— Все верну, дадут мне немного, — говорил он мне, а быть может, это он сам себя утешал таким образом, но я его не разуверял. — Первый раз это у меня, хозяину ущерба никакого, вот только милиции — хлопоты…

Обыск заканчивался.

Я перегнулся через стол и хрипло спросил Мельника:

— Скрипка где?

Он откинул голову, будто ему надо было меня внимательно рассмотреть, сказал удивленно:

— Какая скрипка?

— Деревянная! — сказал я. — Из черного футляра в шкафу. Куда скрипку дел?

Мельник неторопливо покачал головой:

— Не знаю. Не брал я скрипку. Зачем мне скрипка? Там добра без скрипки предостаточно было. А мне скрипка ни к чему — я ведь не скоморох.

Мы посидели молча, потом я спросил его:

— Мельник, вы прежде чем отвечать мне, подумайте…

— А я всегда думаю, прежде чем говорить.

— Вы кражу совершили один?

На этот раз он точно думал, прежде чем ответить, и все-таки сказал так:

— Один. Зачем мне компании?

Мы снова долго молчали, и я вдруг подумал, что вся эта суета вокруг, весь этот беспорядок и нервозная толчея сильно похожи на ту обстановку, в которой мы проводили осмотр квартиры Полякова утром после кражи.

— М-да, все возвращается на круги своя, — неожиданно для себя сказал я вслух.

— Что? — не понял Мельник.

— Да ничего. Дело в том, что вы мне врете, будто в одиночку кражу совершили.

— А чего мне врать? — хмыкнул Мельник. — Это ведь кража, а не выигрыш в облигацию — все себе тащить.

— И все-таки это так. Вам такая операция не по силам. Где скрипка?

Мельник покачал головой:

— Не брал я никакой скрипки…

— Ну смотрите.

Больше я здесь не был нужен. Теперь все пойдет накатанным, отработанным годами порядком — арестованного Мельника повезут в МУР, изъятые вещи опишут, соберут и упакуют для возвращения владельцу, имущество Мельника опечатают,

следователь примет результаты оперативного розыска к производству, побегут дни и недели поиска соучастников Мельника. Скрипку «Страдивари» будут искать уже без меня. И нельзя будет даже прийти к Полякову с просьбой сыграть концерт Гаэтано Пуньяни, потому что колокола судьбы уже отгремели. Я нашел Минотавра в его гнусном лабиринте. Но не победил его — скрипки не было…

Я подозвал Лаврову и продиктовал ей спецсообщение в Москву.

«30 октября арестован гр-н Мельник Степан Андреевич, 1908 года рождения, прож. в Моск. обл., станция Голицыно, Огородная улица, д. 6… Мельник сознался в совершении кражи из квартиры нар. арт. СССР Л. О. Полякова и возвратил украденное имущество. Однако участие других лиц в преступлении Мельник отрицает и отказывается выдать похищенную скрипку «Страдивари», имеющую огромную материальную и культурную ценность. Предлагаю розыск продолжить.

Ст. инспектор МУРа капитан Тихонов,
18 ч. 28 мин.».

Я вышел на улицу. По-прежнему падал снег, но было уже совсем темно. Снежинки приятно холодили разгоряченное лицо.

На станции утробным басом заревел электровоз, с проводов срывались длинные голубые искры. Пахло прелыми деревьями и мимозой. Я хотел вспомнить что-то очень важное, это было очень важно и для меня, и для Полякова, и для мертвого уже Иконникова, и для комиссара, и

для смертельно уставшей Лены Лавровой, но это воспоминание было огромно, бесформенно, оно не вмещалось в моей голове. Маленькие злые мысли не давали ему оформиться, собраться с силами, эти мысли как крысы растаскивали его по частям, и оно умирало, не родившись. А оно было очень важно для меня, и я никак не мог вспомнить. И все время болталось в голове где-то услышанное или прочитанное, а может быть, увиденное во сне:

> «…Никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и постижима ему тогда вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел ударяет его по устам. И заставляет забыть все…»

КНИГА ВТОРАЯ
Правду умом ищут…

Глава 1
Чучело Минотавра

Будущее скрыто от глаз человека. Поэтому ошибки, заложенные в будущем, всегда накрепко связаны с прошлым. То, что вчера было только планом, лишь сегодня превратится в поступок, а завтра мы сможем оценить его и как ошибку. Но завтра наш поступок уже полностью отойдет в прошлое, и оценка ошибки становится мерой отношения к прошлому. И ошибки от этого становятся необратимыми. Прошлое не возвращается, унося в себе тяжелую дань наших потерь. Исправить ошибку нелегко, и чаще всего за ошибки приходится дорого платить. А платой является необходимость начинать все сначала. И никто не гарантирован от новых ошибок.

Об этом горестно думал Антонио Страдивари, слушая рассказ Луиджи Пиччони. Сегодня тот вернулся из Ливорно, где встретил в порту Паоло старшего сына Антонио, неделю назад убежавшего из дома. Паоло Страдивари сказал Луиджи, что нанялся матросом на корабль, уходящий в Бразилию. Отцу поклона не передал и пообещал

вернуться из Бразилии богачом — оттуда ведь все возвращаются крезами…

Так в чем ошибка? Учил, воспитывал неправильно? Или, может быть, сын имеет право сам сделать выбор — стать продолжателем дела отца или начать жизнь морского авантюриста? Да, в доме никому и в голову не приходило, что Паоло может заниматься чем-то другим, нежели созданием скрипок. В двенадцать лет отец вложил в его руки деревянный циркуль и маленький фуганок, и с тех пор изо дня в день — кроме первого дня пасхи и рождества — они стояли рядом у верстака. Потом встал рядом и Джузеппе. Потом верстак пришлось удлинить — понадобилось место для Франческо. Месяц назад занял свое место в мастерской Омобоно — ему исполнилось уже десять лет.

В доме вырос предатель. Если бы Паоло сказал отцу, что не хочет придумывать скрипки, неинтересны ему неразгаданные секреты лака и наплевать, как прорезать эфы, чтобы получить полный, насыщенный звук, потому что он хочет быть бочаром, каменотесом, художником, гончаром или землепашцем, то при всей тяжести удара Страдивари примирился бы с этим. Но бросить то, что с такой мукой изыскивал отец и отдал ему

в руки, ради призрачного блеска легких денег, чужих денег, которые можно быстро и просто добыть, этого понять, простить и принять Страдивари не мог.

Он сидел в тягостном оцепенении и думал о том, что, видимо, пришла пора испытаний. До сих пор он был удивительно, небывало счастлив, ибо все, о чем может мечтать человек, он имел. Он был здоров, силен, имел четырех сыновей, очень богат, а имя Страдивари было известно во всей Европе.

Ребята росли крепкими, ловкими и смышленными. Часто, сидя во главе обеденного стола, Антонио прикидывал, а сердце при этом сладостно замирало: слава дома Амати взошла в зенит в третьем поколении и увенчалась искусством Никколо Амати — внука. Если его судьба уподобится судьбе Андреа Амати, то род Страдивари останется в веках. Спохватившись, он торопливо крестился, отгоняя эти сладкие и пугающие мысли.

И вот первый удар судьбы грянул. Страдивари встал и тяжело прошелся по мастерской. Трое ребят с испугом и непониманием смотрели на враз постаревшего отца. Сплетник Пиччони набил трубочку, раскурил и тоже с любопытством

уставился на Антонио: что-то теперь скажет этот заносчивый гордец?

Страдивари стоял посреди мастерской, сложив руки на груди, раскачиваясь с пятки на носок. Потом не спеша, хриплым голосом проговорил:

— Антонио Амати — младший сын Андреа, дядя моего учителя Никколо — повесился в мастерской, когда ему исполнилось двадцать три года. Но дом Амати от этого не рухнул. И дом Страдивари перенесет потерю сына…

— Даст бог, вернется еще, — сказал благодушно Пиччони.

— Нет, сюда он не вернется, — твердо сказал Страдивари. — Ты, Джузеппе, иди к канонику и закажи заупокойную службу по сыну моему почившему Паоло…

— Да что вы говорите такое, синьор Антонио! — воскликнул Пиччони.

— То, что вы слышали. У Антонио Страдивари не может быть сына — бродяги и вора.

— Почему же вы думаете, что он обязательно станет вором?

— Потому что легко богатеют люди только воровством и обманом. Итак, с этим покончено. Простите меня, сосед, но мы и так потратили много времени, нам надо работать. Джузеппе,

вернешься от попа, начинай шлифовать деки для этого альта. Ты, Франческо, расширь эфы на два волоска. Омобоно, сынок, смотри, нож фуганка должен идти ровненько вдоль волокон дерева. Видишь, тогда не получается заусенцев… Давайте, ребятки, время не ждет…

* * *

В результате предпринятого Инспекцией по личному составу Управления внутренних дел служебного расследования установлено, что смерть гр-на Иконникова П. П. явилась результатом самоубийства, о чем свидетельствуют как объективные обстоятельства, так и текст его собственноручного письма, подлинность которого не вызывает сомнений.

Сознание того, что, хотя и невольно, он стал орудием провокации неизвестных преступников, направленной на дезориентацию следствия с целью направления его по ложному пути, явилось, по мнению Инспекции, тем фактором острого душевного волнения, которое и привело его к самоубийству.

…Что касается старшего инспектора

уголовного розыска капитана милиции Тихонова С. П., Инспекция считает его поведение в ходе следствия вполне этичным и никоим образом не порочащим чести и достоинства офицера.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая безупречную репутацию тов. Тихонова С. П., а также отсутствие необходимой причинной связи между его действиями и самоубийством гр-на Иконникова П. П., исходя, вместе с тем, из служебных интересов, Инспекция приходит к выводу о нецелесообразности отстранения старшего инспектора уголовного розыска капитана милиции Тихонова Станислава Павловича от дальнейшей работы по делу…

Начальник Инспекции по личному составу полковник Матюшин…

Мельник вошел в кабинет, остро, цепко огляделся, косолапо шагнул к столу, не дожидаясь приглашения, сел. Стянул с головы меховую ушанку, провел крепкой ладонью по шишковатой лысине и вместо приветствия сказал:

— От труда от лишнего избавил парикмахеров

ваших.

— Вы бы еще меня от труда от лишнего избавили, и все стало бы прекрасно, — сказал ему я.

Он расстегнул крашеный черный полушубок, засмеялся:

— А что — тебя? Тебя я сразу освободил, все на себя взял, а ты, вишь какой — несогласный. Вот ищи теперя запрошлый снег.

— А что, нового ничего не надумали, Степан Андреевич?

— Так я ведь допрежь разговора думаю. Чего удумал — все сказал.

— Ага, прекрасно, — я встал, походил по кабинету, потом спросил: — С предъявленным обвинением вы согласились, Степан Андреевич?

— Частично, — ухмыльнулся Мельник. — Один я все это сделал, не было со мной никаких людей.

— Значит, и скрипку вы тоже взяли?

— Чего ты пристал ко мне с этой скрипкой? На кой она мне сдалась? Там добра вагоном не вывезти, а ты — скрипку! Все, окромя магнитофона, вы у меня нашли. За него выплачу. Чай, не безрукий, меня работой не напугаешь, я и в заключении деньгу зашибу.

— Но скрипки-то нет?

— Далась тебе эта скрипка! — с досадой сказал Мельник. — Ну, если без нее никак нельзя, запиши на меня… Их в магазине на Неглинной сто штук висит, цена — червонец!

— Червонец, говорите? — переспросил я. — Ну-ну… Расскажите тогда еще раз, как все это дело получилось.

— Да чего там снова рассказывать? «Наколол» я эту хату, присмотрелся к ней, значит, дождался, пока все уехали, пошел и взял.

— Так и записывать в протокол?

— А чего там? Валяй.

— И что скрипку вы взяли, тоже писать?

— Пиши. Подумаешь…

Я записал его слова в протокол, протянул бланк:

— Распишитесь, что ответы правильно записаны.

Мельник вынул из кармана круглые старые очки в проволочной оправе, не спеша надел, внимательно, шевеля узкими губами, прочитал протокол, твердой негнущейся рукой поставил подпись. Отдал мне бланк и озабоченно спросил:

— Вопрос у меня к тебе серьезный будет, гражданин…

— Слушаю.

— Когда обыск у меня делали, добро искали, то весь дом мне искорежили — полы подняли, стенки пробили, обои оторвали. Считай, полтыщи на ремонт уйдет. Так это за чей счет? Оплатит милиция или проси у господа бога?

Я откинулся на ступе и внимательно посмотрел на него:

— Как вы с господом богом разойдетесь — я не знаю. А милиция платить не будет, это точно.

Мельник снял очки и удивленно развел руками:

— Вот те на! А кто же мне убыток покроет?

Сам того не ожидая, Мельник навел меня на правильный путь. Я пожал плечами и беззаботно сказал:

— Не знаю. Поселковый Совет, может быть, выделит средства. Да и рабсилу предоставит…

Мельник подозрительно блеснул глазами, недоверчиво протянул:

— Поссовет? Как же, у них допросишься. Да и баба моя там одна за этими архаровцами не уследит…

Я вложил бланк допроса в папку, закрыл ее и бросил в ящик стола.

— Да вы не беспокойтесь, Степан Андреевич. Мы вас от забот по дому освободим, наверное.

— Это как еще?

— Обыкновенно. Я, конечно, не суд, но думаю, что дом ваш конфискуют. Хороший дом-то, с садом. А? Там для ребятишек дача — первый сорт будет!

— То есть почему это? — сразу севшим голосом спросил Мельник, и впервые с момента нашего знакомства я увидел в его глазах серый налет страха. — Почему конфискуют? По моей статье нельзя конфискацию…

— Можно, — ответил я твердо. — Вы ведь еще и статьи своей толком не знаете. Придется мне провести некоторую разъяснительную работу.

— Ну, разъясни, разъясни, я послухаю. Чужого ума наберусь, коли своего не накопил, — с плохо сдерживаемой злобой сказал Мельник.

— Пожалуйста, послушайте. Каждый человек, решившись на преступление, совершает первую ошибку: он твердо уверен, что его не поймают — иначе не стал бы связываться. Эту ошибку совершили и вы. Правильно?

— Положим. И что?

— Потом, когда мы вашего брата все-таки берем, вы на первых порах совершаете вторую ошибку — полагаете, что это случайность, мол, из-за глупости попался. Так что лучше помолчать пока.

Но мы вас не случайно взяли. Мы вас искали и потому нашли. Это вы понимаете?

Мельник кивнул.

— Ну вот и отлично, что у нас такое взаимопонимание наметилось.

— Хорошо начали, посмотрим, как окончим, — усмехнулся он сердито.

— Хорошо окончим, — заверил я. — Я вам точно говорю, что хорошо окончим. Вы ведь у нас впервые, а я на этом стуле кое-кого похлестче видел. И вот когда они доспевали до вашей нынешней стадии, то, как правило, делали следующую ошибку. Вот как вы сейчас.

— Какую же это ошибку я сотворил сейчас, желательно узнать?

— А ту, что вы меня глупее себя считаете. А это неправильно. Вы кого угодно спросите, вам всякий скажет, что я вас не глупее. Ваше единственное преимущество в том, что вы знаете, с кем и как обворовали квартиру, а я — нет. Пока. Но я это обязательно узнаю, все и выяснится, что вы остались в дураках… А в доме вашем летом детишки будут отдыхать. Вот так-то! Тогда и поймете, кто из нас глупее…

— А я как раз и не понял, почему это вы мой дом конфискуете.

— Так я просто постепенно подвожу вас к пониманию всей проблемы в целом, чтобы вы меня дураком не считали.

— А тебе это никак обидно? — спросил со злой улыбкой Мельник.

— Нет, что вы! — замахал я руками. — Это нам с вами мешает правильно работать. А теперь слушайте меня внимательно — я расскажу, что вы думаете о сложившейся ситуации. Во всяком случае, что должны думать.

— Очень даже интересно узнать, чего я там себе думаю, — сложил на груди огромные руки Мельник.

— Думаете же вы вот что: спалили мы вас дотла — ни отпереться, ни отказаться. Изобличают вещи, которые мы нашли у вас, опознают Поляков и ребята, которым вы продали магнитофон. Так что отвечать придется — это уж как пить дать. Теперь вам надо решить вопрос — сдавать подельщиков или все взять на себя. Но вопроса такого для вас нет — надо брать на себя. Все резоны на то: во-первых, вор-одиночка получает наказание меньше. Во-вторых, компаньоны ваши — наверняка судимые и пойдут как рецидивисты, а вы привлекаетесь впервые — значит, вам от суда снисхождение. Наконец, все вещи возвращены

— гражданский иск будет три копейки. Так что получите в суде года два, хорошо поработаете в колонии, лета у вас почтенные, глядишь, вскорости клубнику у себя на грядках можно сажать. Точно все изложил?

— Адвокат! — мотнул головой Мельник. — Тебя бы в суд моим защитником…

— Не могу. А работки побольше вашему адвокату подкинуть я постараюсь.

— Эт-та я вижу, — тяжело вздохнул Мельник.

— Да-а. Так вот, может быть, оно бы так и построилось, да скрипочка вмешалась.

— Скрипочка? — удивленно поднял на меня глаза Мельник.

— Да, скрипочка. О которой вы думаете, что ее за червонец купить можно. На Неглинке.

— А что скрипочка? — катанул на щеках желваки Мельник.

— А то, что вы из-за этой скрипочки отнесены теперь к категории особо опасных государственных преступников.

Мельник тяжело, медведем встал со стула, наклонился над столом, с сипением сказал:

— Ты, начальничек молодой, шутки со мной не шути. И на пушку меня не бери. Молоко еще на губах не обсохло…

Я засмеялся. Не знаю, может быть, если бы я рассердился, или уткнулся в протокол, или стал бы кричать — может быть, он бы мне не поверил. Но я только засмеялся.

— Эх, Степан Андреевич, в том-то и беда, что не шучу я. Вы ведь все время на 144-ю статью рассчитываете — кража личного имущества, мера наказания — максимум до пяти лет. А скрипка-то государственная, за нее только страховая цена 300 тысяч золотых рублей назначена. Хищение в особо крупных размерах. Это и статья другая, и не только конфискацией она пахнет…

Мельник сел на стул, даже не сел, а тяжело плюхнулся. Он хотел что-то сказать, но рот открывался, бессильно шевелились губы, алебастром затекало лицо. Долго сидели мы молча, и ничто не нарушало тишины, кроме сиплого, с присвистом дыхания Мельника. Потом он сказал тусклым голосом:

— Понял я все. Пришить мне дело хотите.

— Не надо, — махнул я рукой. — Ну чего снова переливать из пустого в порожнее? Вы мне теперь, Степан Андреевич, будете первым помощником по розыску скрипки…

— Вона как! Это почему еще?..

— По логике. Как я понял из нашего разговора,

вы совсем не представляли ценности этой скрипки. А существует всего три мотива, по которым могли ее украсть: чтобы уничтожить, чтобы спрятать в виде сокровища или чтобы переправить за границу. Продать ее в нашей стране невозможно — такие скрипки наперечет, их знают в лицо, как знаменитых людей. Поэтому либо расскажите, кто вас навел, либо…

Мельник встал и срывающимся голосом крикнул:

— Никто не наводил. Один я был! А скрипку не брал!..

— Ну, сядьте, сядьте, пожалуйста! И сцен мне трогательных не устраивайте! Ребенку понятно, что орудовала шайка, а вы мне тут ерунду порете и хотите, чтобы я вам помог от наказания уйти. Дудки! Или все расскажете, как было, или мы вас будем считать организатором кражи скрипки.

Мельник помолчал, потом угрюмо сказал:

— Мне подумать надо.

— Это пожалуйста, — согласился я, твердо зная, что у Мельника выхода нет. — Только думайте быстрее — вы тоже заинтересованы в том, чтобы мы изловили ваших сообщников.

— Не было у меня сообщников, — сделал последнюю попытку Мельник.

— Это вы бросьте, Мельник. Не заставляйте меня поминутно уличать вас во лжи. Вы уже старый человек, мне даже совестно.

Мельник усмехнулся:

— Работа у тебя такая — за людей совеститься. Как у попа…

Комиссар отбивался по телефону:

— Да, очень я ценю и уважаю наших розыскных собак… Конечно… Но я не председатель Моссовета… А в исполком с ходатайством об отводе участка вошли… Ага — очень остроумный совет… Вот слушай, Кузнецов, у меня тридцать шесть офицеров на очереди за жильем, так что я сначала на этот вопрос употреблю свое влияние… А собачки подождут немного… Ну, давай, привет…

Комиссар положил трубку и спросил меня:

— Так, сколько их, по-твоему, было?

— Не меньше двух наверняка.

Комиссар почесал щеку тупым концом карандаша, задумчиво, будто вспоминая, сказал:

— Помнится мне, кто-то когда-то голову давал на отрез, что там побывал один человек.

Я принужденно улыбнулся:

— Что делать — я задним умом крепок. Как говорит про меня Лаврова — л'эспери де эскайе.

— Это что? — с интересом посмотрел на меня

комиссар.

— По-французски значит «лестничный ум».

— А! Ну да, эскалатор — лестница! — сообразил комиссар. — А она что — только говорит или думает так же?

— Трудно сказать. Наверное, думает.

— Это плохо. Подчиненные должны уважать начальство — тяготы служебные кажутся много легче.

— Ага! — радостно заухмылялся я. — По себе я это давно заметил.

Комиссар сказал:

— Так что ты своим эскалаторным умом надумал?

— О том, что Мельник провернул такую акцию один — и говорить нечего. Скорее всего, его использовали как инструмент…

— Это в части организации преступления. А в реализации его? В самом факте кражи сколько человек участвовало? Ведь очистить квартиру Мельник мог и один?

— Не думаю, чтобы он в квартире был один. Во-первых, из трех скрипок в доме вор безо всяких сомнений взял самую ценную. Во-вторых, отпечаток ноги Мельнику не принадлежит — ботиночек аккуратный, сороковой размер.

Комиссар побарабанил толстыми короткими пальцами по столу, пригладил белесые прямые волосы, посмотрел своим хитрым зеленым глазом на меня вприщур:

— А я допускаю, что Мельник вообще не притрагивался к скрипке.

— А как же?

— Не знаю, — пожал плечами комиссар. — Допускаю, что те, кому нужна была скрипка, оставили ему, как всякому наемнику, взятый город на разграбление.

Зазвонил телефон. Комиссар снял трубку:

— Слушаю. Ну? У меня. А что такое? А-а, это всегда надо приветствовать. Доставьте его прямо ко мне.

Комиссар положил трубку и, подняв палец, значительно сказал:

— Арестованный Мельник просится на допрос. Но с тобой, видишь, не захотел разговаривать, а изъявил пожелание дать показания главному генералу в МУРе. Удовлетворим просьбу?

— Обязательно.

Комиссар надел очки, весело взглянул на меня:

— Вот видишь, Тихонов, как хорошо быть генералом?

— Я думаю…

— То-то. Ты сколько пыхтел, пока жука этого навозного изловил? А вся слава от его признания мне достанется.

Я махнул рукой:

— Это мы еще посмотрим…

— Чего смотреть-то?

— А что он скажет?..

Мельник остановился посреди огромного кабинета — тулуп расстегнут, настороженно закинута голова, руки за спиной — прямо стрелецкий воевода перед казнью. Сердито повел клочкастыми бровями, посмотрел на меня мельком, перевел взгляд на тускло высвечивающие серебром погоны комиссара, снова глянул на меня, недовольно сказал:

— А он здеся зачем? Я ведь сказал, что только главному буду давать показания!

Комиссар вышел ему навстречу из-за стола, сделал несколько мелких катящихся шажков и замер в испуге:

— Степан Андреевич, никак я вас прогневал? Недовольны вы, что пустил я на допрос инспектора Тихонова? Может, прогоним его? Мне же беседа с вами куда как дороже!

— Я свое слово сказал! — отрубил Мельник.

Комиссар обернулся ко мне:

— Слышал, Тихонов, золотое слово? Прямо ума не приложу, что мне и делать теперь. Ведь не будет, я думаю, говорить со мной Мельник. Ах, жалость-то какая! Может, такое счастье раз в жизни человеку выпадает, а ты мне, Тихонов, все испортил. Он у тебя где, в КПЗ содержится?

Я кивнул. Комиссар горестно развел руками, торопливо вернулся за стол, тяжело вздохнув, сказал:

— Значится, так: переведи его в тюрьму, то бишь, следственный изолятор. Это раз. Теперь два — подготовь материалы для предъявления ему также обвинения в краже государственного имущества в особо крупных размерах. Сколько там по девяносто третьей статье, по «приме» полагается, запамятовал я?

— От восьми лет до расстрела.

— Прекрасный диапазон, — одобрил комиссар. — И третье, затребуй все дела — Калаганина, Фомки Крысы, Финогея, Сявки-Сидоренко, ну, короче, всех по списку, где проходил инструмент нашего уголовного фабриканта. Привлекать мы тебя, Степан Андреевич, и по этим всем делам будем, — ласково заверил комиссар. — Чистое соучастие в стадии приготовления преступления. А засим, как говорится, не смею задерживать,

конвой вас ждет в приемной…

Мельник не ожидал такого поворота. Он как-то весь съежился, усох, ростом стал меньше, к выходу пошел, тяжело двигая враз зачугуневшими ногами. У дверей остановился, оглянулся на комиссара, сказал грустно:

— Я думал, у нас душевный разговор получится…

Комиссар по-кошачьему легко, неслышным плывущим шагом пересек кабинет, и, как в волшебстве кинематографа, вдруг исчез его животик, стали незаметными все лампасы, колодки, погоны, исчезла благообразная генеральская важность — он летел через коробку кабинета, как пущенный из рогатки литой камень. И это был вновь молодой, прославленный своей удивительной лихостью и бесстрашием оперативник, который четверть века назад внедрился в наводившую на всех ужас банду «Черная кошка» и переловил бандитов всех до одного. Чудо перевоплощения свершилось на глазах, будто комиссар сбросил с себя, как ненужный комбинезон, всю свою блондинистую вальяжную внешность и оттуда, из этого парадного комбинезона, выскочил сухой, жилистый, черный от злости человек.

— А почему у нас с тобой должен был получить-

ся душевный разговор? — тихо спросил комиссар, и от этого тихого голоса, почти шепота, Мельник вздрогнул.

Честное слово, от неожиданности я сам испугался! Комиссар подошел к Мельнику вплотную, но все равно было как-то незаметно, что вор выше его на целую голову. Комиссар смотрел ему в подбородок, не задирая головы, и Мельник против воли стал клониться, его как-то судорожно изгибало — так старался он поймать взгляд комиссара.

— Ты что думал? — так же тихо, без выражения сказал комиссар. — Стоит тебе согласиться, так я здесь чай с пирогами накрою, сядем в обнимку и поговорим про жизнь твою, мною загубленную? Да-а? Вот на-ка, выкуси! Ты вор, старый уголовник, ты мне, Тихонову, ты всему нашему народу поперек горла стоишь! Ты украл скрипку, которую гений в слезах и поту выстрадал! И играл на ней гений, людям нашим счастье каждым мгновеньем дарил, а ты обокрал весь народ — и теперь ко мне явился, снизошел до дружеской душевной беседы. Ты что думал, что я — советский генерал — буду пожимать лапы твои поганые, унижаться перед тобой, к тебе в настроение подкладываться — сделай милость, Мельник, расскажи мне, по

дружбе нашей возникшей, как ты скрипочку упер? Не дождешься!! Ишь, добродей нашелся! Ты что-то не пришел ко мне с душевной беседой, когда мы тебя искали. А когда Тихонов, как кота нагадившего, из-под шкафа тебя за шиворот выволок, ты про душевность вспомнил! Я из-за таких ребят душевных инфаркт имею, три ваших пули в себе ношу и без снотворного уснуть не могу! И никаких снисхождений не жди себе — это я тебе именно душевно обещаю. Поэтому ты или всю правду, слышишь — всю! — расскажешь, или мы с тобой вопрос решенным считаем. Доказательств по делу — во, по самую маковку!

Комиссар повернулся на каблуках, спокойно, не спеша прошел к своему креслу, и в то мгновение, пока усаживался, он успел вновь неуловимо нацепить комбинезон своего спокойного благодушия.

— Черствые и бездушные мы люди с тобой, Тихонов, — блеснул он золотыми зубами. — Не имеем деликатного подхода к молодому неопытному человеку, впервые оступившемуся в жизни.

Я засмеялся:

— Мельник у нас действительно тонкий, мечтательный паренек. Ну так что, Мельник?..

Он скинул полушубок, аккуратно свернул его

и положил на пол у дверей, подошел к столу, уселся прочно, провел рукой по лысине, деловито сказал:

— А чего ж теперь делать-то мне остается? Придется говорить, а то, я вижу, сердит вы, гражданин начальник, сразу в амбицию. Чего ж вас злить понапрасну, и так видать, что вы мужчина серьезный.

— Это с самого начала надо было понять — для собственной же пользы, — сказал комиссар и, нажав кнопочку на пульте, сказал в микрофон: — Стенографистку ко мне…

— С чего начинать? — спросил Мельник.

— С начала. С детства с самого.

— Э-э, долгая будет тогда история. Мне ведь, почитай, годов, как вам обоим будет.

— Ты на нас жалость не нагоняй, — сказал комиссар. — А лет тебе всего на пять больше, чем мне.

— Труднее мои годы были, потому много они дольше, — мотнул головой Мельник. — Прятаться — оно всегда тяжельше, чем вдогонку бегать.

— Угу, — кивнул комиссар. — Кто же это тебя прятаться заставлял? Ты же ведь, говорят, как Кулибин, все своими руками сделать можешь. Вот и работал бы себе на здоровье.

— Задарма-то? — зло посмотрел на него Мельник. — Кабы жизнь по-другому выстроилась, я бы миллионер был, своим заводом управлял, а не у тебя в кутузке горюнил с ворами-то…

— Чем же это жизнь твоя не задалась?

— Потому как жить по-людски не даете — если человек умел и к работе охоч, должен иметь он свое материальное награждение. Я работать — спор да умел, а рядом — дармоед. Ему — за общественность, за болтовню — грамоту, он, бездельник, как всяк дурак, красному рад, да и не стоит он большего, а мне — на кой шиш нужна мне грамота? Я свою прибыль иметь хочу — а мне прогрессивку, пятак за просто так в зубы ткнут и на Доску почетную. Ударник! А мне ваш почет, как рыбке зонт. Мне моя копейка надобна, тогда бы сроду на чужую не позарился. Да и не брал я никогда чужого вот до последнего случая. Инструмент фартовым людям делал — это было! Так они его за деньги покупали у меня, а что там творили они с ним — меня это не касаемо.

— Хороша у тебя философия, — пробормотал комиссар.

— А чего в ней плохого? Это если я в сельпе топор куплю да жене дома башку снесу, что же — продавца со мной под суд? Я свой труд, умение

приложил, вещь изготовил, а там не мое дело — «фомкой» и гусиной лапой орудуют или пользуют как сверло либо там вороток!

Комиссар тихо засмеялся и спросил:

— А ты зачем молнии на «фомках» ставил? Вещь приметной делал, скорее засыпаться можно было. Зачем?

Мельник пожал плечами:

— Просто так ставил. Вроде знака моего мастерового… Чтобы знали…

Комиссар покачал головой:

— Нет, неправда это, что просто так. А знак свой — это точно. Чтобы не спутали. Риск хоть и понимал, а жадность была сильнее. Блатной переплачивал охотно, шик свой в этом видел, да и вроде гарантии были твои молнии для него — знали, что ты хороший мастер. Но это теперь все неважно, я так, кстати спросил. Значит, заработку тебе честного не хватало, повязался ты с ворами. Так?

— Так, — согласился Мельник.

— А я вот на тебя уже все бумаги вытребовал, — сказал комиссар. — Не видать по ним, чтобы ты сильно бедовал на государственной получке. Куда тебе больше было — у тебя же детей нет?

— А при чем дети? — удивился Мельник. — Че-

ловеку и без детей копейка живая нужна.

— А зачем? — простовато спросил комиссар.

Мельник наклонился к нему ближе, жарко дыша жадностью и завистью.

— Ты соседей, чай, только на нижнем этаже у себя видел. Покои у тебя в квартире, поди, барские, как генералу полагается быть. И машиночка черная, лаковая с шофером подается по утрам, теплая, чтоб не застыл ты по дороге, спаси бог. И дачка об два этажа, из кирпичиков сложенная, с участком на гектар на цельный — все, все это имеешь. А мне почему нельзя? У нас ведь равенство! Или я рылом до равенства не вышел? Так ты скажи — я еще потерплю, повременю, когда мне все это понастроят да на блюде с полотенцем подадут…

Комиссар задумчиво забарабанил по столу карандашом, а я про себя засмеялся — Мельник до удивления попал не в цвет: комиссар только три года как переехал из коммунальной квартиры в двухкомнатную малогабаритку, из физкультурных соображений принципиально ходит на работу пешком, а дачи не имеет, поскольку яростно ненавидит всякие дачные кошелки, комаров, клубничные грядки и необходимость ежедневно терять два часа на езду. По той же причине он

терпеть не может охоту и рыбалку.

А комиссар сказал:

— Да, имею. Квартира хорошая и дачка — ничего, не жалуюсь. И шофер с машиной положен мне по должности. Ну и что? Что следует из этого?

— А то следует, что ты от государства все это за так имеешь, а мне хоть бы малую толику от добра твоего руками своими мозолистыми заколотить надобно. Вот и считаешь ты меня жуликом, а я тебя тем и хуже только, что тоже жить хочу по-людски…

Комиссар засмеялся и с любопытством спросил:

— А кто был твой папа, Мельник? Чем отец занимался?

— Не бойся, не фабрикант, не помещик, не эксплуатировал никого. Трудовой был он человек.

— А точнее. Где трудился? Батрачил? На заводе Нобеля лямку тянул?

— Не батрачил, но и ему в жизни досталось горюшка да слез хлебнуть. Мастеровой он был человек.

Комиссар открыл ящик стола и достал несколько бумажек.

— Вот запросил я о тебе сведения по месту рождения и подтвердили мне, что твой папаша

был действительно человек мастеровой. Архивы, знаешь, какую память долгую держат? И людей-то уж никаких не осталось с тех пор, а там все записано…

Мельник подсох лицом, глаза потускнели, пропал в них жаркий злой блеск. А комиссар надел на нос очки, отодвинул бумагу подальше от глаз:

«…Мельник Андрей Никандрович, 1882 года рождения, мещанин города Самары, почетный гражданин городской, жалован золотой медалью Союза русских промышленников, владелец собственного каменного дома и двух доходных домов, держит механическую мастерскую с кузней и слесарную мануфактуру, имеет откупной лист на сборку и ремонт самодвижущихся экипажей американской компании «Форд». В августе 1916 года получил заказ военного министерства на изготовление бронеавтомобилей, но развернуть производство смог только в 1918 году и поставлял броневики для армий атамана Краснова и генерала Деникина. Участник контрреволюционного заговора в Самаре, расстрелян по пригово-

ру Военно-революционного трибунала…»

Комиссар положил бумагу на стол и сказал:

— Вот видишь, и впрямь папаша твой мастеровой был человек.

— А что ж, по-вашему, я за своего отца ответчик? Мне восемь лет было, когда он помер.

— Почему же — ответчик? Я это к твоему разговору насчет моих богатств несметных и твоей сирости. Моего папашу убили вовсе под Волочаевкой и был он не мастеровой, а крестьянин из-под Кондопоги. И когда стали мы с тобой сиротами-беспризорниками, перспективы у нас с тобой были равные. Но ты был умный и хотел свое хозяйство поставить, а я был глупый и от своего голодранства хотел весь мир накормить. Ты на рынке стал чайники паять, а в меня кулак Спиридонов железной чекой по башке классовое сознание вселил. Потом ты стал потихоньку ворованное скупать, а я на Путиловский подался. Ты у себя дома мастерскую налаживаешь, а я — на рабфак. По радио поют — «Вставай, страна огромная» — я под Ельню, а ты, с язвой-то со своей липовой — под бронь механиком-наладчиком на хлебозавод. Что ты так смотришь на меня? Я твою биографию хорошо прочитал…

— Оно и видать! — сказал Мельник.

— Конечно, — невозмутимо ответил комиссар. — Я с батальонной разведкой через линию фронта, а ты с буханкой под фуфайкой — через проходную. Да-а, значит, пришел я с фронта — и в ОББ — отдел борьбы с бандитизмом, а ты — за старое. Я — по малинам и притонам, а ты — им инструмент надежный, двумя молниями меченный. И в конце оба мы с тобой в этом кабинете, только я здесь хозяин, а ты мне ответчик. Вот видишь, как оно все раскрутилось. А ты боялся, что душевного разговора у нас не получится. Вот теперь и объясни нам, как ты на это дело пошел.

Долго сидел Мельник молча, уперев ладонями тяжелую шишкастую голову, и по напряженной широкой спине его я видел, как борются в нем, кипят злость, усталость, гнев, досада, сожаление о невозвратимом, бессилие и необычайная, громадная тоска и жалость о том, что было сделано в целой жизни и теперь бесследно утекает, как вода из пригоршни.

— Ладно, о пустом поговорили, давай по делу теперь, — сказал он.

— Давай, — согласился комиссар.

— Пусть барышня пишет, — Мельник кивнул на стенографистку. — А ты запоминай или там

как хочешь. Значит, явился ко мне лет пять назад человек. Стрижка модная — «под ноль», ясно, с какого курорта. Человек он, видать, немалый — сразу от нескольких моих клиентов привет передал. И не туфту какую-нибудь, а враз я понял — с делом пришел.

— Он вам предложил что-нибудь? — спросил я.

Мельник покачал головой:

— Нет. Передал привет, сказал, что придет еще — поговорим о делах. Про жизнь мою спросил — какие заработки. А какие они сейчас, заработки — вы ведь всех воров, какие «в законе» были, переловили, тех, кто инструмент мой пользовал. Шантрапа всякая осталась, так что я не по воле, так по нужде со всеми своими делами завязал — нет боле спроса на мой товар. Ну, дал мне этот человек двести рублей…

— За что? — заинтересовался я.

— Ни за что. В виде временного вспомоществования, мол, ждут нас хорошие будущие дела, это вроде аванца. Я и скумекал, что большой корабль ко мне прибыл, коли ни за что, ни про что две сотняги отвалил — под одни разговоры.

— Значит, вы понимали, что этот человек преступник и планирует противозаконное дело? — задал я линейный вопрос.

— Ну, ясно, что не фининспектор. Ты же мне из своей зарплаты две сотни за знакомство не подаришь. Да, короче, исчез он после этого почти на год, а когда явился вновь — не узнал его: разнаряжен, как из заграницы. Обустраивался, говорит, дела приводил в ажур. После этого стал регулярно заглядывать — водки, закуски навезет, анекдоты говорит, о том, о сем расспрашивает, а про дела — ни гугу. Ну и я его, конечно, не подгоняю — мерин на кучера не «нукает». Пока однажды не приехал он, без водки, весь сурьезный, давай потолкуем про дела — говорит мне.

— Когда это было? — спросил комиссар.

— В первых числах октября.

— К этому времени вы что-либо знали о нем — кто он, как зовут, где живет, чем занимается? — Мне казалось, что сейчас Мельник говорит правду, и очень хотелось выжать из него информации побольше, пока не передумал.

— Ничего я о нем не узнал и посейчас не знаю. Яков Крест он назвался, а имя это его, кликуха ли — кто знает. У нас ведь тоже отношения, как в кино у шпионов — за лишние вопросы язык могут отрезать. Да и вообще — чем меньше знаешь, тем спокойнее.

— А что бы ты мог сказать о нем, как о челове-

ке? — спросил комиссар. — В «законе» он? Или из приблатненных? Культурный он мужчина или как?

— Не знаю, — пожал плечами Мельник. — Непонятный он человек. Я ведь мазуриков всяких достаточно повидал, а этого понять трудно. Он как мылом весь намазанный: только чуток прижал, глядь — уже выскочил. И крутой мужик, жестокий. Ему по глотке полоснуть, я думаю, как тебе сморкнуться.

— Ну-ну, — сказал комиссар. — Так о чем вы серьезно толковать стали?

— Я, говорит мне Крест, считаю тебя человеком обстоятельным, потому не боюсь тебе открыться. Я ведь, говорит, не от себя работаю. Есть один человек, большой хозяин. Ты про него и не спрашивай даже, я скорее под «вышак» пойду, чем назову его. Умнющий человек. Вот предлагает он одно плевое дело, а деньги посулил за него большие. Какое дело — спрашиваю. Квартиру открыть. Я ему отвечаю, что сам на кражи не ходил, никогда и не пойду — боюсь. Я не по этому делу. А Крест смеется — забудь, Степан Андреевич, всякие уголовные штучки, тут кражей и не пахнет, эти, мол, люди орудуют делами, которые нам и не снились. Тебе надо подобрать ключи,

открыть квартиру. Хозяин туда войдет, а тебе и близко подходить нельзя. Хозяин посмотрит в столе какие-то бумаги, и сразу уйдет, заперев дверь. Деньги в зубы — и катись.

— Ну, и вы согласились, — сказал я.

— Не враз. Думал я долго, и чем больше, тем пуще охота разбирала. Мне ведь это действительно плевое дело. А деньги посулил он хорошие, и как раз к лету хотел я кровлю железом перекрывать — копейка лишняя бы не помешала.

— Так, дальше, — попросил комиссар.

— Дальше — согласился я вскрыть дверь. А Крест снова хохочет — одумайся, говорит, дядя, кто это в наше время ходит замки ломать по ночам. Работа должна быть ювелирной, чтобы никто и не заметил гостей непрошеных. А как же быть? — спрашиваю. Да Хозяин, говорит, все уже придумал и обеспечил. Придешь ночью в этот подъезд, поднимешься на пятый этаж и загонишь шплинт в замочную скважину. А утром с чемоданчиком — вроде слесаря жэковского звони в дверь — пришел краны проверять. Станут они отпирать, а замок-то совсем плохо работает со шплинтом, внутрь загнанным. Для них-то, очкариков, все слесаря едины, они тебя, как пить дать, попросят замок посмотреть. Вот когда шплинт

выймешь, попроси ключи — замок проверить — и на мастику отожми их все. А я пока что владельца квартиры по телефону отвлекать буду, чтобы не мешал он тебе. Закончишь работу, дадут тебе там обязательно рублишко-другой на чай. Ты поблагодари и предложи при любой нужде вызывать тебя прямо по телефону. И номер дай. Удивился я тогда сильно — какой это телефон еще? А Крест говорит — не твоего это ума дело, ты, смотри, не вздумай самодеятельность только разводить — запомни номер и скажи. И добавил еще: знай, пока ты будешь слушать и железно выполнять мои указания, все будет нормально. Только от себя ничего не придумывай — это самое главное.

— А какой номер? — спросил я.

— 157-74-62, — сказал Мельник и горестно покрутил головой. — Я теперь этот телефон на всю жизнь запомню. Эх, глупость сделал, жадность сгубила…

— Это когда согласился? — спросил комиссар.

— Нет, когда Креста не послушал. Всю жизнь я себя умней других считал, вот и перехитрил, самого себя за спину укусил.

— А если бы Креста послушал, думаешь, не нашли бы мы тебя? — сказал я.

Мельник посмотрел на меня исподлобья, усмех-

нулся:

— Может, и нашли бы. Только навару вам с меня, как с козла молока. Потолковали бы и отпустили. Говорить было бы не о чем.

— Может быть, — сказал я. — Никто этого не знает. Ну, давай дальше.

— А что было дальше, у скрипача у этого, вы и сами знаете. Сделал я ключи, а рядом со мной как будто бес за верстаком стоит и под руку толкает все время — сделай для себя ключик, сделай, чего тебе стоит! Раз они так в эту квартиру рвутся, значит, имеют к ней ключи цену. И сделал я еще комплект — ей-богу, в тот момент я еще и не знал, зачем они мне. Приехал Крест к вечеру, я ему ключи отдаю, а он все ухмыляется. Где же ты, говорит, слыхивал, Степан Андреевич, чтобы по такой цене ключи заказывали? Надо, чтобы ты с Хозяином пошел туда, сам ему дверь отворил. Так ключи же я вам даю! А вдруг не будет замок открываться, спрашивает Крест, тебе на месте ключ подогнать — полминуты, а Хозяин не может с этим возиться. Ему надо только на мгновенье туда зайти, на бумаги взглянуть и уходить сразу. А ты даже в квартиру не заходи — отопри и жди, пока он выйдет. И сделать это надо с одного раза — ходить туда сто раз негоже. Хозяин все рассчи-

тает, когда прийти туда можно, чтобы все, как в банке, аккуратно выходило.

— А Хозяин не изъявлял пожеланий познакомиться с вами? — задал вопрос я.

— Крест мне сказал, что я увижу Хозяина один раз в жизни, когда квартиру открывать буду. И не только, упаси бог, ему вопросы задавать, но просто разговаривать чтобы не смел. Если что-нибудь Хозяину понадобится, он у меня сам спросит.

Комиссар усмехнулся:

— Видишь, Тихонов, какой у нас корифей под окнами бродит, а мы с тобой спим спокойно и не чешемся.

Мельник сказал:

— Он не уголовный — я это точно знаю. Навидался, слава богу. Он из фраеров. Но власть, видать, агромадную имеет, коли перед ним Крест такой шестеркой бегает. Но это, конечно, я опосля разглядел. А 15-го числа в субботу утром встретились мы с Крестом в городе, и сказал он мне, что вечером пойдем на эту квартиру. И дает записочку мне — чтобы отправил я телеграмму по адресу. Я спрашиваю — а на кой телеграмму? Он смеется — облысел ты от годов, Мельник, а ума не нажил. Если придем вечером, а телеграмма внизу

в ящике лежит — значит, пуста квартира, иди себе спокойно. Ну, распрощевались мы до ночи, и поехал я к себе, навел порядок, волновался я, конечно, ведь впервой шел на такое дело. Поужинали мы со старухой, и поехал я в двенадцатом часу в Москву. На Маяковской площади встретил меня Крест, сам веселый, злой… «Автомобиль для тебя личный подготовил», — говорит. И показывает мне «козла» — вездеходик газовский. А тут подъезжает такси, выходит человек, и Крест мне говорит — Хозяин прибыли собственной персоной. Подбежал к нему Крест, извивается, как пиявка на шее, что-то шепчет на ухо. А тот молчит, стоит, как камень. Потом, не оглядываясь, пошел в подворотню, а Крест мне показывает — давай за ним. В подъезде Хозяин открывает дверь лифта, подумал чуть и говорит мне: «Поднимайтесь и открывайте дверь. Я пойду пешком». Ну, короче, когда он поднялся, я уже все замки отпер. Вошел он в темную квартиру и, слышу, из передней велит: «Спускайтесь вниз по лестнице, ждите внизу, на улице». Я и пошел с радостью от греха подальше. Минута прошла — никак не боле — смотрю, и он выходит из подъезда, и в руках у него ничего нет. Дошли мы до машины, Крест навстречу: как? — спрашивает у Хозяина.

Тот кивнул только — порядок. Крест протягивает мне деньги и говорит — чеши отсюда, завтра к тебе приеду. Влезли они оба в «козла» и уехали в сторону Самотеки.

— А ты? — спросил комиссар.

— А я пошел в сторону улицы Горького, и стала разбирать меня досада. Стоит фатера отпертая, в парадном ни души, вещей там всяких и денег небось навалом. А самое главное — забрало меня за живое сомнение: если они мне такую деньгу только за погляд отвалили, то здесь чего-то не просто так. И телефон, который я оставил в этой квартире, покоя не давал — опасался я, что это мне Крест какую-то пакость учудил, только я не понимаю, какую. Ни один вор никаких телефонов оставлять фраерам не станет. И ключи в кармане звякают, как по сердцу ударяют. Тогда я вернулся…

— Ну-у, орел! — ахнул я.

— Да, — твердо повторил Мельник. — Понял, что обжали они меня, жулье проклятое. Как зашел в кабинет, так и увидел, что шкаф разворочен, и вспомнил, что Крест у меня брал «фомку». Драгоценностей, наверное, камушков разных набрали и денег да сбежали. Ну ладно, я и сам с усам. Взял чемоданы здесь же, набил их, чем под

руку попадя — а там все доброе, бери любое, не прогадаешь. Вырвал листки из книги телефонной, сжег, а пепел на полу растоптал. И ушел. Вот и вся история, чего знал — рассказал. А теперя можете судить…

Комиссар закурил сигарету, щелкнул несколько раз зажигалкой, задумчиво глядя на рвущуюся из форсунки струю голубого пламени, невесело хмыкнул:

— Н-да, историйка интересная. Что ж, Тихонов, спрашивай — тебе и карты в руки…

— Как выглядел Хозяин? — спросил я.

Мельник свел морщины на лбу:

— Как? Обычный он человек, ничем его и не приметишь особенно. Чуть пониже тебя ростом, не толстый. Кепка на глаза надвинута и воротник поднят. Очки большие на нем были — не то чтобы черные, а темноватые такие.

— При встрече вы его сможете опознать?

— Кто его знает? — развел руками Мельник. — Видел-то я его совсем чуть, и притом все время в темноте.

— А Крест? Креста сможешь описать подробно?

— Конечно, смогу. Да толку-то что с этого? Вот стоит он перед глазами моими, а тебе-то в мозги

его портрет я же не передам!

— Это не страшно! — успокоил я его. — Прибор у нас есть хороший, и если стоит он у тебя перед глазами, то ты нам его на приборе нарисуешь, как в фотографии.

Мельник недоверчиво посмотрел на меня:

— А почем же ты знаешь, что я рисовать смогу?

— Тебе и не надо рисовать. Прибор это сам сделает. Сколько лет Кресту, на твой взгляд?

— Под пятьдесят примерно. Но парень он крепкий.

— А Хозяину?

— Не могу я точно сказать — плохо видел. Но так, по фигуре судя, он еще не старый.

— Скажите, Крест приехал к вам на другой день, как обещал? — спросил я.

— Нет. Я думал, что он пропал насовсем. Да и, чего греха таить, рад я был этому, больше рожу его ехидную не видеть. Хоть и жалко, что такой клиент наваристый ушел. Но только через неделю он объявился снова.

— Чего сказал?

— Сказал, что, мол, все в порядке. Хозяин доволен. Я и сообразил, что он не знает о том, что я после них там потрудился. Ну, выпили мы,

потолковали. Опосля он сел и написал кому-то два письма. Одно с собой забрал, а второе мне дает: смотри, Степан Андреич, говорит, не забудь — отправь его ровно через три дня. Ровно! Я его спрашиваю — что за письмо такое? А он смеется — это, говорит, очень важное письмо, смотри не забудь. По этому письму, говорит, вместо нас, грешных, Хозяин заместителя отправит на Петровку оправдываться. Непонятно это мне, конечно, было, а Крест все загадками говорит: ты Хозяина слушай, он человек умнеющий, зря не сделает. Так коли все шито-крыто, то на кой ляд письма эти посылать? — спрашиваю я его. Он мне объясняет: милиция на розыске по крупному делу если следов не имеет — прямо сатанеет. Чего хочешь можно ожидать от них, если им совсем зацепиться не за что. Вот им и надо помочь — пусть и следы будут, и ответчика им подходящего надо подыскать, пусть занимаются всласть. А времечко-то капает, бежит — и все от них, и все к нам. А как до конца докопают да вместо дела найдут фигу, им дороги назад нет — начальство им головы поотрывает за такие ошибочки. Вот и наденут они хомут на того дурака, письмецо который получит. У них там тоже бухгалтерия арапская — план выполнили, галочку поставили,

дело можно закрывать…

Мельник замолчал, перестал скрипеть карандаш стенографистки, комиссар крутил пальцем на столе зажигалку, я пытался изо всех сил сосредоточиться, найти хотя бы микроскопическую щель. Но бесполезно — вход в лабиринт был фальшивым, за нарисованной дверью пугающе темнела глухая стена и Минотавр был ненастоящим — нам подсунули его лысое, угрюмое чучело…

— «Только один, неизвестный человек, который использовал меня как щит во всей этой истории с кражей скрипки…» — сказал я негромко.

— Чего ты там бормочешь? — поднял голову комиссар.

— Это Иконников написал в последнем письме. Есть во всей этой истории человек, который точно знает, что мы делаем, и ведет активную контригру. А называется он Хозяин.

— Может быть, — пожал плечами комиссар. — А может быть, и нет.

— Вы полагаете, что есть еще закулисная фигура?

Комиссар засмеялся:

— Можно подумать, что Хозяин и Крест сидят у нас в приемной, и осталось только разыскать

какую-то таинственную закулисную фигуру. Сейчас и эти двое пока что только звук. Ну, по Кресту мы сделаем фоторобот. А Хозяин? Даже примет нет толковых…

— А может, запросить центральную картотеку на кличку «Крест»?

Комиссар махнул рукой:

— На двести человек список пришлют. Ты знаешь, что на блатном языке значит «Крест»?

Я неопределенно хмыкнул.

— «Крест» — значит вор. Мы с проверкой кандидатов на эту кличку два года будем заниматься.

— Что же делать? У нас ведь никаких выходов на них нет!

Комиссар посмотрел на меня поверх стекол очков.

— Слушай, Тихонов, а ты никак растерялся? Ц-ц-ц — защелкал он сочувственно языком.

— Тут растеряешься! Голова кругом идет!

— Ай-яй-яй! Какая у тебя слабая голова-то, оказывается. Это у тебя от нежного, ласкового отношения к себе…

— Допустим. Но дальше-то что?

— А дальше, друг мой ситный, думать станем. Имеем мы с тобой композицию из трех человек — Мельник, Крест, Хозяин, Распределение ролей

в преступной группе мы себе представляем. Мозговой центр — Хозяин, администратор — Крест, техническое исполнение — Мельник. Это на стадии подготовки и совершения преступления. Такие сообщества для нас не новость. Но затем начинаются вещи, несколько необычные…

Я понял, куда клонит комиссар. Я вспомнил его знаменитое отборочное «сито» — сейчас он начнет методично просеивать людей и факты, попавшие в наше поле зрения.

— Да-а, значит, стало нам ясно, что кто-то сбивает следствие с толку. Успешно они действовали?

— Довольно-таки.

— Вот и я о том же. Они отбрыкивались не вслепую, что было бы глупо и только могло привлечь к ним внимание, а действовали совершенно продуманно, точно, я бы сказал, они активно взаимодействовали со следствием, эффективно дезинформируя его. Что следует из этого?

— Они были осведомлены о направлении поиска и состоянии его на отдельных этапах.

— Каким образом? — быстро спросил комиссар.

— Я вижу только два пути: утечка информации или преступник уже прошел по делу незамеченным. В процессе допроса он мог негативно

представить себе положение вещей.

Комиссар закурил сигарету, помахал рукой перед глазами, отгоняя дым, помолчал, потом спросил:

— Для дальнейших наших размышлений какой путь тебе предпочтительней?

— Со всех точек зрения я настаиваю на втором.

— Спокойнее, меньше пафоса. Я ведь тоже предпочитаю второй. Правда, он требует самого внимательного изучения объекта их атаки. Почему они предприняли генеральное наступление именно на Иконникова?

— По-моему, это очевидно. Иконников много лет находится во враждебных отношениях с Поляковым, он имеет репутацию странного человека с приличной сумасшедшинкой. Поведение его в последние годы просто непонятно, а непонятное всегда вызывает подозрение. Это очевидно, — повторил я.

— Вот тебе это очевидно, а мне нет, — сказал комиссар и развел руками так, будто извинялся за свою непонятливость. — Мне это не очевидно. Во всяком случае, на месте Хозяина я бы не счел это серьезной базой для атаки.

— Почему?

— Потому! Этот вор — умный и бывалый че-

ловек, судя по всему. Он-то знает, что, будь Иконников семь раз странный человек, если он не воровал скрипки, то побьемся мы, побьемся с ним и принесем, как говорится, свои извинения.

— Допускаю, что большего им и не надо было — оттянуть то время, что мы будем топать по неправильному пути.

— Не-ет! — качнул твердо головой комиссар. — Я думаю, что выбор пал на Иконникова по другой причине.

— А именно?

— Именно? — комиссар снял очки, покрутил их на пальце, бросил на стол и быстро сказал: — Иконников, убитый впоследствии преступниками, и был для них источником информации.

— Как? — не сразу понял я.

— Иконникова выбрали потому, что один из воров был ему близким человеком, — комиссар встал из-за стола, прошелся по кабинету, задумчиво сказал: — После разговоров с тобой Иконников встречался с этим человеком и подробно пересказывал ему все, что тебя интересовало.

— Значит, этот человек должен был хорошо знать и Полякова, — сказал я. — Только тогда замыкается вся цепь.

— Именно так, — кивнул комиссар. — Вот и

надо начинать сначала — по всем твоим спискам отобрать людей, которые хорошо знали и Полякова и Иконникова.

Я стал быстро вспоминать десятки людей, допрошенных по делу, — большинство из них знали и того и другого.

— Это должен быть очень близкий человек, — сказал комиссар. — Он прекрасно знает биографии, характеры обоих, он предвидел все возможности «игры» на Иконникова.

— Завтра начну, — сказал я, поднимаясь.

— Ты сам с этим не справишься, — сказал комиссар.

— То есть как?

— А так — прорехи в твоих сведениях будут велики. Я думаю, надо выбрать какого-нибудь человека из твоих свидетелей, чтобы он помог тебе сориентироваться в этом сонмище людей. Иначе год будешь ковыряться…

Комиссар посмотрел на блокнот, нажал кнопку, вошел дежурный.

— Мне завтра к одиннадцати в министерство на совещание, приготовьте наш отчет за прошлый год по преступности несовершеннолетних. К пятнадцати часам вызовите начальника розыска из Кировского района. В шестнадцать я

жду полковника Арапова со всеми материалами по убийству в Дегунине. В семнадцать слушаем группу Бекина…

— В семнадцать тридцать у вас выступление на активе народных дружин, товарищ комиссар, в кинотеатре «Енисей», — сказал дежурный.

— Угу, верно. Тогда отложим группу Бекина на послезавтра. А в девятнадцать тридцать пригласите ко мне Колесова, пусть захватит заключение баллистов. Пока все…

Дежурный вышел, а я взглянул на часы: три ночи. Комиссар устало потянулся, включил приемник. Из динамика рванулась бойкая мелодия и игривый голое предложил послушать по «Маяку» утреннюю передачу «Опять двадцать пять».

Комиссар засмеялся:

— Это, наверное, специально для меня ее прокручивают сначала ночью. Вот когда я начну ее слушать вместе со всеми людьми в семь утра, тогда, значит, в городе все в порядке. Ладно, поехали спать.

Глава 2
Нельзя злодейство усугублять глупостью

В 1691 году Антонио Страдивари постиг новый страшный удар: Джузеппе, самый способный из сыновей, работящий, тихий и безропотный, заболел холерой.

К вечеру молва об этом облетела всю Кремону, и в полночь дом окружила огромная толпа горожан с камнями и факелами в руках. Они требовали отвезти Джузеппе в монастырский барак, а дом вместе с дьявольскими скрипками и колдовскими варевами, которые по ночам варит Страдивари, отравляя округу зловонием, сжечь дотла, чтобы болезнь не перекинулась на весь город.

Дом был безмолвен, ставни глухо закрыты, ни единого огонька не светило в жилье, и это еще сильнее пугало людей, и от испуга они неистовствовали сильнее. Потом глухо брякнула щеколда и на лестницу вышел Страдивари. В одной руке он держал зажженную свечу, а в другой — заряженную аркебузу.

Люди стихли мгновенно, и Страдивари молчал, и над улицей повисла жаркая сердитая тишина, разрезаемая лишь шипением смоляных факелов, и длилось это довольно долго, пока чей-то тонкий визг не взлетел петардой над толпой:

— Убейте колдуна! Он всем нам принесет погибель!

Волной прихлынула толпа к ступеням, свистнул в темноте камень, и с лица мастера цевкой брызнула кровь. Он спокойно отер ее рукавом белой рубахи, и она сразу почернела, будто жадным зубом вырвали из нее клок.

— Бей!.. Поджигайте дом!..

Страдивари поднял аркебузу.

— Первый, кто сделает шаг по лестнице, умрет, — сказал негромко Страдивари, и его тихий сипловатый голос перекрыл гам и вопли. Передние остановились, задние продолжали напирать. За спиной Страдивари появился Франческо с мушкетом.

— Болезнь моего сына вам ничем не грозит, — сказал мастер. — Из этого дома никто не выйдет, пока мой Джузеппе не выздоровеет. Или пока мы все не умрем. Тогда вы сможете прийти и делать здесь все, что вам вздумается. До этого здесь хозяин я, и каждый, кто переступит порог без моего

разрешения, умрет…

Сын лавочника Квадрелли, пьяный, в растерзанной одежде, закричал:

— Что вы слушаете колдуна? — И побежал по лестнице вверх.

Страдивари, не целясь, вскинул аркебузу, нажал курок. В темноте все увидели желтую дымную вспышку у конца длинного ствола прежде, чем донесся резкий щелчок выстрела. Квадрелли схватился за грудь, на лице его замерло бездумное удивление, потом он медленно осел на ступени и стал съезжать по лестнице вниз, и на каждой ступеньке его голова глухо ударялась о доски, и этот тупой звук будто колышками отделял онемевшую толпу от неподвижно стоявших отца и сына Страдивари.

Антонио опустил ружье и сказал;

— Вы боитесь не болезни, а своего страха, и чтобы избавиться от него, решили убить беззащитного больного человека и уничтожить то, что я искал всю жизнь. Уходите отсюда, иначе вы дорого заплатите…

Повернулся и вошел в дом. С грохотом захлопнулась дверь, лязгнула щеколда, и все стихло. Толпа очнулась от оцепенения, и люди с криками побежали прочь от проклятого дома…

Антонио вошел в комнату, где в беспамятстве метался Джузеппе, и сказал жене и детям:

— В эту комнату больше не входите, сюда буду входить только я. Ты, мать, молись. Мы ни в чем и никогда не нарушали божьих заповедей. Всю жизнь я только трудился — мне было некогда грешить. Молись, может быть, он услышит твой глас. А вы, ребята, с завтрашнего утра продолжайте работать в мастерской. Болезнь и слабость охотнее нападают на праздных людей. Пророк Исайя сказал: не бойся, ибо я с тобой.

Всю ночь Антонио варил что-то в мастерской, запах уксуса и хлора заполонил весь дом. Смердящей жидкостью велел всем домашним вытирать руки, протереть все предметы в комнатах, окна и двери. Еду и питье сыну носил только отец, он же прибирал у него, поил его какими-то травами и снадобьями.

На сороковой день, высохший как скелет, на неверных дрожащих ногах спустился Джузеппе в мастерскую и хрипло сказал:

— Отец, час обетования пробил. Господь оставил мне жизнь для служения ему. Я прошу вас благословить меня — я должен удалиться от мира…

Антонио Страдивари в ногах валялся у сына,

рыдал, стоя перед ним на коленях, умолял не спешить, подумать еще раз.

Через месяц Джузеппе Страдивари, еще не окрепший после болезни, облачившись во власяницу, с непокрытой головой, захватив из дома лишь краюху хлеба, ушел в Парму. Вскоре стало известно, что он пострижен и принял послушание.

Великий мастер потерял еще одного сына…

С годами Антонио Страдивари охватила неизъяснимая страсть к любым, пускай самым бессмысленным вычислениям. Часами он сидел с грифельной доской и выводил на ней длинные колонки цифр. Он считал проценты в банках на свой капитал, суммы, которые должны поступить на принятые заказы, он высчитывал кривые, образующие наилучшую форму скрипки, и расходы на еду. В этот горестный год ему исполнилось сорок семь лет, и накануне своего дня рождения он подсчитал, что простоял у верстака ровно десять тысяч дней и сделал свыше четырехсот инструментов. Им овладела навязчивая идея, что надо привести все дела в абсолютный порядок, потому что человек не знает своего часа. С маниакальной настойчивостью он целыми днями считал. Прикидывая однажды, сколько надо будет заплатить

за турецкий корабельный лес, который он хотел использовать для скрипок — эти доски сушились и выдерживались десятилетиями, Страдивари стал прикидывать количество дерева, потребное для одного инструмента. Потом стал считать объем скрипичной коробки, и работа эта была долгая и увлекательная. Дело в том, что сам-то объем незыблем, как собор святого Марка, но образующие его всегда различны. Объем нельзя уменьшить — скрипка засипит, начнет глухо бубнить. Если увеличить — пронзительно завизжит, басы станут тусклыми и слабыми. А если?..

Страдивари считал всю ночь, а утром начал строить новую скрипку. Сыновья — Франческо и Омобоно — с удивлением смотрели на этого урода. Длинная — на вершок длиннее обычной, плоская, как раздавленная селедка. Изгиб дек был еле-еле намечен, очень высокая подставка горбом натягивала струны.

Никогда еще так быстро не работал Страдивари. Он не мог дождаться, когда просохнет на скрипке лак.

Однажды он снял с сушилки готовую скрипку, приложил ее к щеке и заиграл. В это утро Антонио Страдивари играл на скрипке, которую впоследствии музыканты назвали классической.

Звук был огромен, никто никогда не слышал, чтобы скрипка пела таким могучим, серебряным, светлым голосом, никто не знал, что в ней может быть клич боевой трубы и ласковый лепет свирели, что она может кричать безмерным отцовским горем и тихим всхлипыванием матери, что есть в ней смех ребенка, шелест трав, песни птиц, плеск вина и грохот боя, звон сабель и трепет флагов.

Страдивари играл на новой скрипке, и слезы катились безостановочно по седой щетине его щек, и он думал о том, что последний раз плакал тридцать лет назад, когда он решил — жизнь окончена, а жизнь тогда вовсе только начиналась, чтобы он мог пройти школу Амати, родить четырех сыновей, двух потерять и создать такое божественное чудо на исходе своих духовных сил.

И в этот миг горького, мучительного счастья Антонио Страдивари не знал, что пока еще он прожил только половину своей большой и трудной жизни и что самое важное и самое интересное впереди…

* * *

Белаш закурил сигарету и спросил:

— Так я и не понял, вы, что же, мне предлагаете

стать вашим добровольным помощником? Это, кажется, так называется?

— Мне безразлично, как это называется, — сказал я. — Но я должен как-то сориентироваться в этом хаосе людей и их отношений.

Белаш недоуменно пожал плечами:

— А почему вы обратились именно ко мне?

— По многим причинам. Вы разумный, интеллигентный человек. Вы в курсе отношений Полякова и Иконникова, наверняка знаете многих из их общих знакомых. Поэтому вы скорее других можете помочь мне отыскать истину…

Белаш махнул рукой:

— Да ну! Борьба за истину вообще вроде перетягивания каната — у кого сил больше.

— В каком смысле?

— В любом. Допустим, что мы с вами истину установим. Но Иконников об этом никогда уже не узнает.

— Но остается еще Поляков, — напомнил я. — Мы еще все остаемся.

— А-а! Я хорошо знаю Полякова и могу утверждать, что ему познание истины такой ценой было не нужно.

— Мне кажется, вы путаете логические понятия «из-за этого» и «после этого», — сказал я. — Я хочу

сказать, что Иконников умер не из-за того, что украли скрипку…

— А из-за чего? — взвился Белаш.

— Во-первых, не исключено, что это был несчастный случай… — не спеша начал я. Несмотря на то, что Белашу я верил — допросами свидетелей и проверкой документов было установлено, что он в день кражи находился в Ленинграде, это был непреложный факт, — я все равно не хотел без острой необходимости подробно информировать его. Человек такого склада ради красного словца и интересной байки мог разболтать полученные сведения именно в том кругу людей, где, по моим расчетам, мог затаиться вор.

Белаш твердо перебил меня:

— Не рассказывайте мне сказок. Вы же сами пригласили меня для доверительного разговора? И чтобы найти выход из этого положения, нам надо смотреть фактам в лицо…

— А почему вы думаете, что смерть Иконникова — это обязательно самоубийство? — спросил я осторожно.

— Потому что оценка улик напоминает мне возникновение суеверий. То, чему мы не придаем значения в обычных условиях, в обстановке

трагической приобретает зловещий характер.

— А именно?

— Да не смогу я вам всего этого объяснить сейчас — ведь предчувствия не могут быть следственным аргументом.

— А у вас были предчувствия на этот счет?

— Были. После разговора с вами у меня осталось какое-то неприятное ощущение. Не знаю, как это объяснить: я почему-то стал волноваться за Иконникова.

— И вы с ним повидались, чтобы сообщить об этом? — спросил я лениво.

Белаш тяжело вздохнул:

— К сожалению, нет. Ведь у каждого из нас впереди целая вечность, и отрываться от важных дел ради какого-то смутного беспокойства мы не можем. И всегда есть успокоение — завтра поговорим. Или послезавтра. В крайнем случае, через неделю — никуда все это не уйдет. И разговор действительно не уходит. А вот самого человека иногда уже… — он огорченно махнул рукой и снова вздохнул.

— Но ведь это было не пустячное дело, — сказал я. — Вы-то знали, в какой связи нас интересует Иконников.

— Да. Но, несмотря на мои дурные предчув-

ствия, я не представлял, что кончится так страшно.

— А как? Как вы это себе представляли?

— Ах, чего сейчас об этом говорить! Тут не объяснишь. Надо было знать Иконникова.

— В смысле?..

— В манере поведения. Иконников всегда говорил и чувствовал на таком накале, что иногда казалось, будто сей миг он заплачет. Но он ни разу не заплакал, и от этого я ему перестал верить. Мне как-то в голову не приходило, что он способен на такой поступок. А вот смог…

Белаш замолчал, сердито раздавил окурок сигареты в пепельнице, походил по кабинету, о чем-то раздумывая. Я его не торопил, мне важно было, чтобы он согласился мне помочь.

Белаш спросил:

— Ну, а конкретно, в чем может выразиться моя помощь?

— Мне нужно, чтобы вы постарались вспомнить всех людей, которые поддерживали достаточно близкие отношения и с Поляковым, и с Иконниковым. Не только лично вам знакомых, но даже тех, о которых просто слышали в разговорах…

— Ничего себе работенка! — дернул плечом

Белаш.

Я промолчал. И Белаш больше ничего не сказал. Он долго думал, потом сказал:

— А почему бы вам у Полякова об этом не спросить?

Я усмехнулся:

— Еще спрошу. Но, помимо перечня людей, мне нужна их характеристика. Так сказать, социально-психологический портрет. И здесь вашему жизненному опыту, интуиции и созерцательной объективности я отдаю предпочтение.

— Понятно, — кивнул Белаш. — Хорошо, я постараюсь вам помочь. Не по душе мне ковыряться в чужих отношениях, но я это сделаю ради Иконникова.

— Почему ради Иконникова?

— Мне кажется, перед смертью он догадался, кто мог украсть скрипку. Но не стал говорить об этом. И, по-моему, был не прав. Но мы с ним никогда ни в чем не соглашались, и я обязан сделать ответный ход. Нельзя злодейство усугублять глупостью.

Я кивнул:

— Вполне с вами согласен.

— Пишите, — сказал он. — Первый: Белаш Григорий Петрович…

Я поднял на него взгляд. Белаш твердо сказал:

— Да-да. Я много лет знаком и с Поляковым, и с Иконниковым, и все мои показания тоже нуждаются в проверке. — И со смешком добавил: — А сам я — в социально-психологическом портрете…

Я пожал плечами и записал его фамилию.

— Пишите дальше: скрипач Казаринов, дирижер Станиловский, композитор Шевкуненко, адвокат Рудман, художник Лебедовский, шофер Полякова — Симоненко, виолончелист… парикмахер… — начал перечислять Белаш.

— Итак, двадцать четыре, — сказала Лаврова.

Двадцать четыре. Двадцать четыре человека были отобраны нами для тщательной проверки, потому что каждый из них в течение последнего месяца мог общаться и с Поляковым, и с Иконниковым. Лаврова настаивала также на включении в список Раисы Никоновны Филоновой и аспирантки Колесниковой. Я возражал.

— Филонова была близка Иконникову, но контактов с Поляковым почти не имела. Колесникова же, наоборот, почти не знала Иконникова.

— Так она говорит, во всяком случае, — заметила Лаврова. — Между тем я должна вам напомнить, что об Иконникове мы услышали

впервые от нее.

— Я помню. Но считаю, что это случайность. Как раз если бы Колесникова была хоть как-то причастна к этой истории, ей не надо было упоминать об Иконникове. Она нашла бы другой способ проинформировать нас о его существовании.

— Может быть, — сказала Лаврова, — Все может быть. Но поскольку вы сами настаивали на том, чтобы не было ни одной щелки, я бы включила еще и Яблонскую — бывшую жену Иконникова. Да-да!

— Ну это уж вы того, слишком!..

— Почему? — удивилась Лаврова. — Если мы взяли установку на тотальную проверку всех, слышите — всех, кто мог иметь отношение к делу, то мое предложение только справедливо. Вы взгляните на список.

Смотреть на список я не хотел, потому что от одного его вида мне становилось тошно. Он подходил скорее для какого-нибудь почетного президиума, чем для перечня фигурантов уголовного дела. Но все эти люди в разное время так или иначе были связаны и с Поляковым, и с Иконниковым…

— У меня дочка. Брунетка. Студентка. Третий курс. Чтобы я так видел ее счастливой, как то, что

я вам говорю — правда.

Соломон Александрович Кац посмотрел мне пристально в лицо и снова убежденно сказал:

— Чтобы я так видел своих внуков здоровенькими — это святая истина. Перед каждым ответственным концертом Паша Иконников приходил ко мне — он всегда говорил: «У тебя, Соломончик, счастливая рука…» Это правда, как вы видите меня стоять перед вами.

Быстро, плавно, легко Кац провел бритвой по правочному ремню, взял меня своей счастливой рукой за подбородок, взял твердо, точно, и стальное блестящее жало с тихим треском поползло по намыленной щеке. В этот послеобеденный час я был единственным посетителем маленькой парикмахерской Дома композиторов.

— Если бы он не перестал ходить ко мне, может быть, все не получилось так некрасиво, — продолжал свое неспешное повествование Кац.

Видимо, у меня дрогнула кожа от ухмылки, потому что он заметил это и сказал нравоучительно:

— Вы зря смеетесь, молодой человек. Для человека, связанного с риском судьбы, парикмахер много значит. Иногда парикмахеры делали вкус и моду на несколько веков. Вы, конечно, слышали

про Евгению Монтихо?

— Нет, я не слышал про Евгению Монтихо.

— Ага! Что я сказал? — обрадовался Кац, от веселого удовольствия затряслась его седая эспаньолка. — Это была жена Наполеона. Но не того Наполеона, которого вы знаете, а был у него какой-то там внук или племянник — пойди разберись в их родне, — так этот самый племянник тоже был когда-то королем во Франции. Ну-с, и жена у него как раз была блондинка.

— И что?

— Что вы спрашиваете — «и что?». Это же ведь была трагедия для всех французских дам, поскольку они все как раз брунетки. Представляете — целая нация женщин — и ни одной похожей на свою королеву?

— Да, ужасная ситуация, — согласился я.

— О! Я ведь вам об этом и говорю. И все это поправил один парикмахер, который придумал красить волосы перекисью водорода. И сразу во всей Франции стало «ша», все перекрасились, и все успокоились. Столько волнений из-за операции, которая стоит сейчас 97 копеек…

— Тогда-то, наверное, подороже стоило?

— Ха! О чем говорит этот человек? Ведь это надо было придумать кому-то! Возьмите, например,

парики…

Взять парики я не успел, потому что отворилась стеклянная дверь и вошел очередной клиент. Я его не видел, поскольку Кац, отложив бритву, воздел мое лицо к потолку, и я рассматривал неизвестно как попавшую сюда среди зимы муху, неспешно гулявшую по потолку с лепниной. Я только услышал глуховатый, с сипотцой голос:

— Соломончик, привет!

Не отпуская моего подбородка, Кац оглянулся и радостно заперхал:

— О-о, хе-хе-хе! Кого я вижу! Мосье Дзасохов! Сколько лет, сколько зим!

— Смотри, не забыл, оказывается, — удивился глухой голос.

— Чтоб я о вас так забыл, как я о вас помню! — весело сказал Кац.

— Намекаешь, дорогой мой Соломончик, что мы расстались, а должок за мной в сто рублей числится? — сказал человек за моей спиной.

Кац сделал изящное пассе бритвой по моей щеке — не то, что побрил, а прямо скрипичный ключ на моей щеке нарисовал, заметил со смешком:

— Это не просто должок, это почти волшебный долг. Когда вы у меня брали на пару дней деньги, они назывались тысячей рублей. После реформы

получилось сто рублей. Еще немного, и они могут стать одним рублем, а это как раз моя такса, и мы будем считать, что однажды я вас обслужил бесплатно.

Человек сипло засмеялся:

— Ну мудрый Соломон! Ты же знаешь, что не в моих правилах заставлять людей работать забесплатно. Так что я долг принес…

Кац удивился так сильно, что отпустил мой подбородок. Я посмотрел в зеркало и увидел человека с сиплым голосом, которого Кац называл простенько, но со вкусом — мосье Дзасохов.

— Ну, вы слышали что-нибудь подобного? — сказал Кац. — Я как будто нашел этих денег. Хе! Когда бедняк радуется? Когда теряет, а потом находит!..

Дзасохов захохотал:

— Соломончик, брось прибедняться! У тебя в чулке наверняка припрятана тугая копейка — сыну на свадьбу, дочке на кооператив, молодым на обзаведенье…

— Вы не знаете мою любимую поговорку, — кротко сказал Кац.

— Какую?

— Считать чужие деньги — главное занятие дураков и бездельников. Вы не думаете, что это

кто-то хорошо сказал?

Дзасохов снова засмеялся:

— Соломончик, мое несчастье в том, что я только бездельник. Я же ведь не дурак, ты это знаешь.

Кац ответил:

— Догадываюсь.

Дзасохов обнял Каца за плечи, со смехом проговорил:

— Соломончик, я же с тобой в хедере не учился! Я твоих поговорок не понимаю! Я ведь бывший осетинский князь!

— Мой покойный папа, рай его душе, говорил, что каждый кавказец, у которого есть два барана, — это уже князь. Кстати, вы намерены привести свою голову в порядок? Я чувствую, что последнюю пару лет вы стриглись у какого-то горного маэстро в очередь с овцами…

Дзасохов внимательно посмотрел на себя в зеркало. И я смотрел на него — тоже в зеркало. Да-а, тут для парикмахера был фронт работы! Наверное, мне в жизни не доводилось видеть более волосатого человека. С висков волосы тесно надвигались на небольшой лоб, густой чернотой выползали прямо из-под глаз, синей проволочной щетиной перли со щек, клубились в расстегнутом

вороте рубашки. Из прически можно было сделать потрясающий женский шиньон. В общем, лицо, как в школьном учебнике — «волосатый человек Евтихиев».

Дзасохов мельком взглянул на меня, повернулся к Кацу!

— А у тебя еще много работы, Соломончик?

— На полчаса. Вы же знаете, я гарантирую качество.

Дзасохов мгновение колебался, потом махнул рукой:

— Нет, я лучше тогда завтра забегу. Сегодня обойдусь одулянсионом на дому.

— Ну, как вам будет удобнее. Но сегодня я бы вас обслужил бесплатно, по самому высшему разряду.

— С чего это вдруг? — хитро прищурил Дзасохов глаз в волосатых джунглях.

Кац второй раз намылил мне лицо, прижал к коже раскаленную салфетку, снова намылил и сказал:

— В нашем местечке жил водовоз, старый, совсем неграмотный человек. И за всю свою жизнь он накопил сто рублей. Он слышал как-то, что люди, у которых есть деньги, кладут их на проценты. Поэтому он пошел к раввину и сказал:

«Ребе, возьмите к себе мои сто рублей, а за проценты я вам буду бесплатно возить воду…» Вот и я хотел вас постричь за проценты…

Дзасохов улыбнулся, обнял Каца, поцеловал его в седую снежно-белую макушку:

— Соломончик, я не такой мудрый, как ты, но в жизни я сделал два точных наблюдения: больше всех о любви треплются самые неудачливые любовники и чаще других о деньгах толкуют бескорыстные люди. Все, я побежал, завтра к тебе зайду…

Кац опять приложил компресс, и когда жар стал невыносим, а я почти задохнулся от него, он сорвал салфетку и стал быстро крутить ее над кожей, и приятные струйки прохладного воздуха заласкали щеки, лоб, подбородок. Потом он набрал на палец крем и сильными круговыми движениями стал втирать его, и это было ужасно приятно, потому что я потерял счет и порядок сменам компрессов, примочек, массажных пассов и только слышал журчание голоса Каца над головой, и это тоже действовало очень успокаивающе.

— Сейчас все бреются электробритвами, и в этом видна наша жизнь… Быстро… Быстро… В парикмахерскую некогда ходить… Кроме того,

электробритва массирует кожу… И кроме того, люди стали хорошо питаться… Таки должен вам сказать, что у большинства клиентов щеки стали много глаже, а двойных подбородков увеличилось втрое… Так разве электробритва — это плохо?.. Нет, никто не скажет… А ну, взгляните зато на кожу у глаз — и вы увидите, что у совсем молодых людей полно морщин… Все стали много думать, много переживать, много хмуриться… Много нервничают — много морщин на лбу… В этом зеркале многое отражается… Мы живем в быстрое время, в нервное время… Вот и лысеют тоже от этого… Раньше вы видели столько лысых?

Я сказал лениво:

— Вот на вашем друге это не сильно отразилось.

— Да, конечно, — согласился Кац. — Все люди разные. Но если вы думаете, что его жизнь не била, то вы-таки ошибаетесь…

— Упаси бог, я так не думаю, — поспешил оправдаться я.

— Вы видели картину «Выборгская сторона»?

— Да. А что?

— Так вы наверняка запомнили «короля петербургского биллиарда», и как его обыграл Чирков.

Вот их обоих играл Дзасохов.

— Что-что-что?

— То, что вы слышите. То есть все, что они должны были там играть по картине, они себе и играли. Но ведь кто-то должен был сделать эту королевскую партию на биллиарде?

— Наверное…

— Вот именно. И сделал ее Дзасохов, потому что никто не знает биллиардиста и маркера лучше него. При этом запомните, что ему тогда было лет двадцать. Или восемнадцать. Если бы разыгрывали чемпионат мира в биллиард, как в футбол, Дзасохов был бы большой человек. Это вы запомните наверное…

Кац рассказывал всякие истории, окутывая меня словами и струйками обязательного парикмахерского одеколона «В полет», а я сидел и думал о Дзасохове, которого велел запомнить Кац, хотя я бы его и так запомнил, даже если бы он не велел мне его запоминать, потому что только сегодня утром я держал в руках фотографию Дзасохова, и в приложенной к ней справке было написано: «Кисляев Николай Георгиевич, 1920 года рождения, инструктор трудового обучения производственного комбината Всесоюзного общества глухих»…

Дзасохов смотрел на меня, и по его глазам я видел, что он мучительно пытается восстановить в памяти — где он меня встречал? А я не напоминал, и ему было довольно затруднительно вспомнить обросшую белой мыльной бородой физиономию, на которую он мельком бросил взгляд вчера в парикмахерском зеркале старого Каца.

— Я не понял вашего вопроса? — переспросил он.

— Меня интересует, Николай Георгиевич, чему вы учите ваших работников на комбинате.

— Я лично?

— Ну да. Вы лично.

— У меня две группы. В основном это глухонемые — инвалиды детства без перспективы восстановления утраченных функций. Я обучаю их картонажным и переплетным работам. Вот образец нашей продукции, — он протянул мне детскую книжечку-раскладушку. Длинная цветная картонная гармошка — «Сказка о Курочке Рябе».

Книжка была красивая, с очень хорошими рисунками, Рисунки, наверное, делал тоже глухонемой, потому что все события в сказке, весь сюжет были переданы художником исключи-

тельно точно, выразительно в движениях и позах персонажей. Курочка Ряба была похожа на человека, у нее было человеческое лицо — есть такой тип женщин с узким, слегка вытянутым лицом, острым носиком и большими, очень грустными глазами с тонкими немигающими перепонками прозрачных век. Очень грустными глазами смотрела на деда с бабой Курочка Ряба, и по ней было видно, что она и для себя самой совсем неожиданно снесла не простое яичко, а золотое, и теперь, когда мышка его разбила, смахнув на пол хвостом, курочка была не рада всей этой дурацкой истории с необыкновенным яйцом, от которого произошли сплошные неприятности. И обещала снести новое яичко она скорее для того, чтобы успокоить стариков, поскольку сама-то понимала: разве чудеса повторяются?

— А чьи это рисунки? — спросил я.

— Мои, — ответил коротко Дзасохов.

— А вы кому-нибудь еще их предлагаете?

— Нет.

— Чего так?

— А я сам недавно узнал, что умею рисовать для детей.

— Вы давно в комбинате?

Дзасохов потер ладонью свою невообразимую

щетину, ответил неопределенно:

— Да уж порядочно времени будет…

Я знал, что он работает с глухонемыми четырнадцать месяцев. Почти сразу после отбытия трехлетнего заключения за мошенничество.

— Порядочно, говорите?

— Да, — сказал он, как отрезал, и сейчас в нем трудно было узнать того веселого шутника, который вчера вернул давнишний долг парикмахеру Кацу. А может быть, все дело в том, что не разыгрывают первенства мира по биллиарду, и по чьей-то дурацкой прихоти эта прекрасная игра существует как-то полулегально, но уж, во всяком случае, Дзасохов не выглядел большим человеком. Так, тихий волосатый человечек, который умеет рисовать в длинных книжках-раскладушках грустных куриц с мудрым взглядом. И чего-то расхотелось мне доводить комбинацию до конца и точно, наповал «раскалывать» его.

Я просто спросил:

— Слушайте, Дзасохов, а вы чего живете под чужой фамилией?

Он дернулся и просел глубже на стуле, будто я ударил его ребром ладони по шее. Помолчал, усмехнулся, как-то безразлично сказал:

— Мне так больше нравится.

— Что значит — нравится? Это же не ботинки — не нравятся старые, выкинул и купил новые. Менять самовольно фамилию не разрешается.

— А почему?

— Потому! Если бы вы подали заявление с просьбой сменить свою фамилию Дзасохов на Рембрандта, я бы вам вопросов не задавал. А если вы самовольно берете себе фамилию Кисляев, значит это не от хорошей жизни.

— А я не самовольно. Я официально изменил фамилию через органы загса.

— На каком основании? — удивился я.

— В связи со вступлением в брак. Женился я. И взял фамилию жены. Имею право? А?

Я покачал головой и сказал:

— Вы уж извините меня за бестактные вопросы, но…

Он махнул рукой:

— Валяйте дальше. У вас работа такая. Когда вы приглашаете сюда, в этом уже содержится элемент бестактности…

— Почему же так категорически?

— Потому что вы хотите выяснить, не имею ли я отношения к краже скрипки у Полякова. И в самой постановке вопроса имеется оскорбительный для каждого честного человека момент

— назовем это бестактностью.

Я вскинул на него взгляд, и он поймал его, как опытный игрок ставит мгновенный блок над сеткой.

— Да-да, — подтвердил он. — Вы хотели сказать, что вчерашний арестант не может пользоваться моральными привилегиями честного человека?

Я ничего не ответил, а он закончил:

— Вот поэтому я и взял фамилию жены. Человек с некрасивой фамилией Кисляев имеет моральных прав много больше, чем Дзасохов. Перед теми, конечно, кто не знает, что это одно и то же лицо. Что вас еще интересует?

Меня очень интересовало, почему он отдал сейчас долг, который не мог возвратить много лет, но спросить об этом как-то не поворачивался язык.

— Вы давно знаете Иконникова и Полякова?

— Очень давно. Еще до войны. Я работал маркером биллиардной в Парке культуры, и они часто заезжали поиграть со мной.

Я обратил внимание, что он сказал — «работал». Хотя, наверное, это работа, и нелегкая, коли люди приезжали специально поиграть с ним.

— А что, они увлекались биллиардом?

— Лев Осипович прекрасно играет. У него восхитительный глазомер, нервная, очень чуткая

рука. Но ему всегда не хватало духа, ну, азарта, что ли. Нет в нем настоящей игровой сердитости. Иконников в турнирных партиях всегда его обыгрывал. Правда, мне иногда казалось, что Поляков чуть-чуть поддавался.

— Вы поддерживали с ними знакомство все эти годы?

— Льва Осиповича я не видел уже множество лет. А с Иконниковым мы до последнего времени общались.

— А точнее?

— Точнее некуда. В последний раз я его видел дня за три до смерти.

— Вы говорили с ним о краже у Полякова?

— Нет, не говорили.

— Странно, — заметил я. — Тема-то куда как волнующая. А Иконников был всем этим весьма озабочен.

— Я думаю, — усмехнулся Дзасохов. — Под таким мечом сидеть…

— А что — под мечом? — снаивничал я. — Иконников тут при чем?

Дзасохов пожал плечами, неуверенно сказал:

— Не знаю, правда или нет, но против него ведь вроде было выдвинуто обвинение…

— Откуда вы это взяли? — быстро спросил я.

— Слышал такое. Мир тесен…

— А все-таки? Кто это вам сказал?

— Сашка Содомский. Он, конечно, трепач первостатейный, но такое из пальца не высосешь. Тем более что при мне у них произошел скандал.

— А из-за чего произошел скандал?

— Не знаю. Я был у Иконникова, когда пришел сияющий, как блин, Сашка. Иконников побледнел и своим каменным голосом велел ему убираться ко всем чертям, предварительно забыв его, Иконникова то есть, адрес.

— А что Содомский?

— Ничего. Ему же хоть плюнь в глаза… Ушел и сказал, что Иконников еще одумается и позовет его снова. Вот и все…

— А когда он вам про Иконникова сказал — до этой встречи или после?

— За несколько дней до этого.

— При каких обстоятельствах?

— Ни при каких — на улице. Встретились, остановились — какие новости? Ну, вот он и рассказал.

— А вы не можете поточнее вспомнить, что именно?..

Дзасохов покачал головой:

— Не помню. Я ведь обычно в его брехню не

слишком-то вслушиваюсь.

— Что он за человек, этот Содомский?

— Так, — сделал неопределенный жест Дзасохов. — Живет — хлеб жует. Человек как человек. Распространяет театральные билеты.

— Я заметил, что вы о нем говорили без малейшего почтения, — сказал я, и Дзасохов улыбнулся.

— О нем все говорят без почтения. Ну а уж мне-то сам бог велел…

— Почему именно вам?

— Да ведь мне теперь помереть придется с элегантной фамилией Кисляев — и не без его участия. Это он меня, дурака, правильно жить научил.

— То есть?

— Несколько лет назад остался я без работы, и у меня, денег, естественно, ни хрена. Пошел я к Сашке перехватить четвертачок. Денег он мне, правда, не дал, но говорит: с твоими-то руками побираться — глупее не придумаешь. А что делать? — спрашиваю. А он отвечает — фокусы. Достал из кармана пятиалтынный, положил на бумагу и обвел карандашом. Потом на полке нашел старый журнал «Нива» и показывает — сможешь в кружок врисовать царя Николу? Ну,

я взял и срисовал портрет Николашки. А Сашка смеется — награвируй такую штуку на металле, это будет заработок повернее твоих дурацких шаров-киев. Ну, короче говоря, сделал я пуансон…

Дзасохов замолчал. У него были очень красивые руки — хоть и непропорционально крупные на таком небольшом туловище. Сильные, с крепкими длинными пальцами, четким рисунком мышц и жил. И в руках этих совсем не было суетливости, они спокойно, твердо лежали на столе, и по ним совсем не было заметно, что Дзасохов волнуется. Иногда только он проводил ладонью по своей немыслимой шевелюре, и снова руки спокойно лежали на столе, с гибкими и мощными кистями, которые могли делать королевские партии в биллиард, рисовать курочек со скорбными глазами и фальшивые формовки для «царских золотых» монет.

— Ну и что дальше было? — спросил я, хотя знал почти все, что произошло дальше: утром я успел прочитать справку по делу. Но никаких упоминаний о Содомском там не было.

— Дальше? Дальше Сашка устранился от этого дела — так, во всяком случае, он сказал мне. Однажды пришел ко мне человек, забрал пуансоны, а через некоторое время принес уже готовые фаль-

шивые царские червонцы. Он мне сказал, что я должен прийти по указанному адресу — там, мол, уже все договорено, отдать монеты и получить деньги…

Люди, к которым пришел Дзасохов — спекулянты и жулики, — находились в разработке УБХСС, и надо было всему так совпасть, что, когда к ним пришел с фальшивыми червонцами Дзасохов, в квартире шел обыск. Дзасохова задержали, нашли червонцы. На следствии было установлено, что эти люди и Дзасохов между собой незнакомы, а выдать сообщника он отказался. Три года в колонии общего режима.

— А почему вы на следствии не рассказали о Содомском? — спросил я.

— Зачем? Я ведь не малый ребенок, которого охмурил злой демон Содомский. Когда соглашался, знал, на что шел. А получилось — собрался за шерстью, а вернулся стриженый…

— Но ведь Содомский, как я понимаю, был организатором этого преступления. А отдувались вы один.

— А может, не был — он и за комиссионные мог участвовать. Кроме того, вы, наверное, не поняли меня — я ведь вовсе не слезами восторга и раскаяния принял приговор суда.

— Ну, восторгаться там и нечем было. А раскаяние вам бы не помешало — может быть, наказание меньше назначили.

— Мне и так несправедливо тяжелое наказание дали. От моего так называемого преступления никто не пострадал.

Я засмеялся:

— Это просто вам не повезло, что там уже шел обыск.

Дзасохов махнул рукой:

— Я не об этом. Честный человек не станет скупать золотые монеты, будь они хоть трижды настоящие, а не фальшивые. Даже если бы мое преступление удалось — тоже ничего страшного: подумаешь, вор у вора дубинку украл.

Улыбаясь, я развел руками:

— Мой начальник говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Вот наказывать жуликов — это наша задача. Вы тут ни при чем — занимались бы своими делами. Не можем мы допустить, чтобы преступники у нас между собой разбирались по своим понятиям о справедливости.

— А я и не говорю ничего, — пожал плечами Дзасохов.

— Но одной вещи я все-таки не понимаю, —

сказал я.

— Какой? — поднял на меня спокойные глаза Дзасохов.

— Почему вы мне это сейчас рассказали, умолчав на следствии?

Дзасохов достал пачку «Казбека», вынул папиросу, подул в бумажный мундштук, постучал папиросой о ладонь, двойным прижимом смял мундштук, прикурил, помахал спичкой перед тем, как бросить ее в пепельницу, затянулся и пустил длинную фигуристую струю дыма к потолку. И делал он все это не спеша, внимательно, очень спокойно, и мне почему-то не нравилось это спокойствие — было в нем какое-то упорное внутреннее напряжение, недвижимость характера, немота чувств, неестественный покой клочка воды, залитого маслом, когда вокруг бушуют волны и летят во все стороны брызги.

Дзасохов покурил немного, сказал:

— А потому, что вопрос этот давно иссяк. Вы же не побежите сейчас возбуждать дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Да и я своих слов подтверждать не стану.

— Почему?

— Потому что я с той жизнью, со всеми людьми из нее, со всем, что там было — хорошим и

противным, — со всем покончил навсегда. Из той жизни у меня оставались две привязанности — Иконников и старый смешной чудак Соломон Кац. Вот Иконников умер уже.

— А что в новой жизни?

— Все. Я в сорок шесть лет вдруг узнал, что умею рисовать картиночки, которые почему-то ужасно нравятся детям. И я сейчас очень тороплюсь — мне надо наверстать хотя бы часть из того, что не успел сделать раньше и чем должен был заниматься всю жизнь. Понятно?

— Понятно, — кивнул я и, набравшись наконец храбрости, спросил: — Скажите, пожалуйста, вы вот в течение многих лет не отдавали долг парикмахеру Кацу, а вчера возвратили. С чем это связано?

Он удивленно посмотрел на меня, мгновенье всматривался, потом засмеялся:

— Ах, это вы были в кресле, намыленный? То-то я все старался вспомнить ваши глаза — где я их видел.

— Да, это был я.

— Долг я возвратил из гонорара, который получил за эту книжечку, — он кивнул на раскладушку «Курочка Ряба», лежавшую на углу стола.

— Прекрасно. И последний вопрос: что могло

связывать Иконникова с Содомским?

— Так ведь когда-то Сашка Содомский был постоянным концертным администратором Иконникова, — сказал Дзасохов. — В конце концов Иконников его со скандалом прогнал…

— А потом помирились, что ли? — уточнил я.

— Ну да. Другие дела уже были — Иконников Паша не тот стал.

— Из-за чего скандал вышел? — спросил я и подумал, что, когда выйду на пенсию и мои вопросы утратят характер профессиональной заинтересованности, из меня получится образцовая квартирно-коммунальная сплетница: накопится большой опыт узнавания интимных подробностей частной жизни.

— Да я точно не знаю, так, в общих чертах, — неуверенно сказал Дзасохов и зябко потер щетину на лице.

— Можно и не очень точно… Вы хотя бы так, в общих чертах расскажите.

— В общих чертах — Иконников послал Сашку взять в репетиционном фонде скрипку для кого-то из своих учеников…

— Подождите, Дзасохов. Разве у Иконникова были ученики?

— А как же? — удивился Дзасохов. — Конечно!

— Вы не ошибаетесь?

— Да что вы спрашиваете? Я сам знал некоторых…

— Ну, ну, извините. Дальше. Что такое репетиционный фонд?

— Ну, есть в филармонии такая кладовочка, а в ней старичок-пенсионер. Лежат в кладовочке разные инструменты, а старичок выдает их исполнителям, если у кого они сломались или там почему-то еще. Инструменты, конечно, барахло, старый хлам — понятное дело, прокат. Пришел туда Содомский, поковырялся, а у него глаз — алмаз, нашел какую-то грязную, затерханную скрипочку, без струн, без колков, всю перепачканную белилами. Взял скрипочку — и к скрипичному мастеру Батищеву. Тот прямо затрясся, как увидел: старинная скрипка, предположительный автор — Бергонци, в крайнем случае — Винченцо Панормо, начало восемнадцатого века. Короче, больше этой скрипки никто не видел. На другой день пришел Содомский в милицию и говорит, что задремал в троллейбусе, а у него скрипочку украли. Там спрашивают — ценная скрипка? А он говорит — нет, барахло, из репетиционного фонда, но все-таки вы поищите — как-никак государственное имущество. Милиция, конечно,

ничего не нашла, потому что там и искать нечего было, а Содомский никому ни гугу — взял из фонда другую скрипку и доставил Иконникову. Через год Содомский пришел в фонд, предъявил справочку из милиции и сокрушенно согласился возместить стоимость похищенной у него скрипки. А ей цена по описи — грош с половиной. Так бы об этом никто не узнал, но мастер Батищев входил в инвентаризационную комиссию и сообразил, что это за штучки. Он и начал кричать, что год назад ему Содомский приносил скрипку, похожую на Бергонци или Винченцо Панормо. Вызвали Содомского, а он сидит и ухмыляется — показалось, все это нашему почтенному мастеру. Ну, выгнали его отовсюду, вот он и стал заниматься распространением билетов…

Я подписал Дзасохову пропуск, в котором было написано — Кисляев, он встал, маленький, сухой, с дикой гривой волос, и я почему-то подумал, что он похож на торчмя поставленный помазок.

— А это, если вам понравилось, возьмите себе, — кивнул он на курицу с библейским глазом, мудрым и скорбным. — У меня еще есть.

— Спасибо, — сказал я.

— Э, ерунда, — махнул Дзасохов рукой. — До свидания.

Глава 3
«…плотью живой он в могилу живую уходит…»

Громче звоните, колокола! Громче! Пусть гром ваш пробудит этот сонный ленивый город! Пусть звон ваш катится по улицам голосом счастья! Горите ярче, смоляные плошки, и пусть ввысь несут огонь петарды!

Трещат дубовых бочек донья, и льется алое джинцано. Или, может, кьянти не хватает? Скажите — сегодня можно все и всем!

Сегодня, в последний день уходящего века, вдовец Антонио Страдивари, пятидесятипятилетний мастер, вводит в дом новую жену — семнадцатилетнюю Марию Замбелли. И пусть смеются дураки и завистники, пусть говорят, что стар он и нашел красавицу другим на радость. Не властно время над великими, ибо живут они в настоящем, как усталый путник в задней комнате траттории, — их главная жизнь в будущем. И если к мастеру пришла любовь на склоне лет, значит отсюда начинается его молодость, значит мудрости его, согретой нежностью, суждено дать

удивительно пышные плоды. Так думал Антонио Страдивари.

И Андреа Гварнери, бессильный, умирающий в нищей лачуге, сказал своему внуку Джузеппе:

— Страдивари — великий мастер. Но настоящее величие его впереди.

— Почему вы думаете так, синьор? — спросил Джузеппе, маленький даже для своих лет, тщедушный головастый мальчик с впалой грудью.

— Потому что он талант, — сказал дед, тяжело кашляя и сплевывая поминутно мокроту. — Потому что он любит свое дело больше всего на свете. Потому что он мудр и жаден, как сатана. Потому что ему очень везло всегда. Ему и с этой девочкой повезло.

— Я не понимаю вас, — сказал Джузеппе. — Отец говорит, что Страдивари принял у своего учителя Амати дьявольское знание.

Андреа долго надсадно кашлял, потом засмеялся:

— Твой отец приходится мне сыном, и уж кому, как не мне знать, что он трусливый и глупый человек. Не верь ему. Всю жизнь он всего боялся — бога, людей, трудностей, меня, а теперь, когда лупит тебя, начинает помаленьку бояться и сына. Если ты хочешь стать настоящим мастером, тебе

надо уйти из дома.

— Как же я буду жить? Мне ведь только двенадцать лет? — спросил Джузеппе, и на глаза его навернулись слезы. — У меня кружится голова и теснит в груди, когда я поднимаюсь бегом по лестнице.

— Мальчик мой, поверь, что нет покоя и счастья в тихом сытом убожестве. Ты можешь преодолеть свою немощь, только став больше самого себя.

— Разве человек может стать больше самого себя? — спросил с испугом Джузеппе.

— Может, — устало кивнул Андреа. — Я прожил глупую, беспутную жизнь, но сейчас нет смысла жалеть об этом. Одно знаю я наверняка — творения рук и сердца делают человека всемогущим, всесильным и бессмертным.

— Руки мои слабы, а сердце немо. Что могу я создать и оставить людям?

— Но слух твой тонок, а ум быстр и пытлив, и душа твоя исполнена добра. И если ты запомнишь, что для учебы нет дня завтрашнего, а есть только сегодня, то через десять лет ты будешь большим мастером и познаешь счастье свершений…

Джузеппе простер к деду тонкие, худые руки:

— Но вы не встаете с постели и глаза ваши незрячи, а отец не хочет учить меня, он хочет

отдать меня в монастырскую школу. Как могу я учиться и приблизить час свершений?

Андреа хрипло, с грудным присвистом засмеялся:

— Твой отец тебя ничему научить не может. Он плохой мастер. Попомни слово мое: если ты послушаешься меня, то спустя время твой отец будет подражать тебе и жизнь его догорит под сенью твоей славы.

— Но кто же откроет мне путь истины и свершений? — спросил с горечью Джузеппе. — Ведь не станет же меня учить Страдивари?

— Нет, мой мальчик, не станет тебя учить этот большой мастер. Сейчас он не возьмет тебя потому, что ты мало знаешь и мало можешь…

— А если я подучусь? — с надеждой сказал мальчик.

Андреа покачал маленькой седой головой:

— Тем более. Тебе, Джузеппе, не повезло — у Страдивари выросли бездарные дети…

— Не понимаю, — удивленно раскрыл черные быстрые глаза мальчик.

— У тебя могла быть единственная возможность стать учеником синьора Антонио — если бы хоть один из его сыновей унаследовал талант отца. Тогда бы он не побоялся взять тебя в уче-

ники, и с годами, в соперничестве, вы узнали бы, кто из вас лучший. Но Страдивари уже знает, что он сможет передать детям только свои записи и тайные средства мастерства — сами они ничего открыть не могут. А отдать свое знание молодому Гварнери не позволит ему сердце.

— Разве каждому, кто алчет, дано обрести клад? — с сомнением прищурился Джузеппе.

Андреа прикрыл тяжелые коричневатые веки, на лицо его легла печать томления и горечи, он еле слышно прошептал:

— Знание, мой мальчик, не клад и не дуэльный выигрыш, но обиталище духа твоего, и возвести его надлежит в труде тягостном и страстном…

Старик задремал, но мальчик положил ему на плечо руку и настойчиво спросил:

— Скажите, разве Страдивари — мастер лучше вас?

Андреа Гварнери глаз не открыл, и только легкое дрожание век выдавало, что он не спит. Потом он разлепил бескровные губы:

— Да, Джузеппе, Страдивари мастер лучше меня.

— Но когда вы выпиваете фьяску кьянти, то кричите, что он жулик, а вы мастер от господа бога.

— Это не я кричу, — сказал Андреа, — это вино и глупость из меня кричат. Тебе долго жить надо, мой мальчик, и жизнь предстоит тебе нелегкая. Запомни навсегда — люди, для которых работает талант, не в силах оценить его по тому, что талант мог бы сделать. Они судят всегда по тому, что он уже сделал. А теперь я устал и хочу спать. Оставь меня…

— Но вы не сказали, что мне делать! Как мне жить?

— Этого я не знаю. Хотя советую от души: завтра на рассвете в Мантую уходит мальпост. Уговори кучера или беги пешком, но до Мантуи доберись и разыщи мастера Джизальберти. Передай ему мою предсмертную просьбу — сделать из тебя человека. А лет через пять возвращайся и сходи поклонись Страдивари. Чем черт не шутит — может быть, он возьмет тебя. Никто ведь не знает своего будущего.

* * *

Подробно объяснив ситуацию Лавровой и дав ей установку на допрос Содомского, я решил послушать, посмотреть на его поведение со стороны — при лобовом столкновении неизбежно утрачиваются какие-то нюансы поведения.

Александр Еремеевич Содомский пришел, как его и приглашали, ровно в 15 часов. Ярко-розовые щечки его прямо стоп-сигналами вспыхнули в дверях. Он снял свою нерповую шапку-пирожок, переложил ее на сгиб левой руки — как наполеоновскую треуголку — и чинно сказал:

— Моя фамилия Содомский. Честь имею кланяться.

Лаврова засмеялась ехидно и спросила:

— Я не поняла — вы со мной здороваетесь или прощаетесь?

— А что такое? — быстро осведомился Содомский.

— Ничего, — невозмутимо ответила Лаврова. — Просто последние несколько лет этот оборот был принят как формула прощания.

— Да? — удивился Содомский. — Кто бы мог подумать! У меня получилось с вами, как у одного моего знакомого, который по утрам говорил своему соседу-участковому «Добрый вечер!», пока тот не спросил его, в чем дело. И тот искренне объяснил ему, что, когда видит милиционера, у него темнеет в глазах.

— А у вас от нашего вида тоже темнеет в глазах? — поинтересовалась Лаврова.

— Боже упаси! — с яростной экспрессией вос-

кликнул Содомский. — Тот, у кого чиста совесть, может быть в этих славных стенах совершенно спокоен.

— Иногда спокойствие прямо связано с тем, что человек плохо помнит свое прошлое, — невозмутимо сказала Лаврова.

— Истинная правда! — твердо заверил Содомский. — Сколько мне таких людей встречать приходилось!

Этот ласковый въедливый нахал мне сразу не понравился. Есть такой генотип — полногрудые, белотелые оранжево-рыжие нахалы с вечно розовыми щеками и сладким вкрадчивым голосом. Их природа как будто специально создала для ролей негодяев в провинциальных театрах. Но ничего, в жизни они тоже поспевают.

Содомский между тем снял пальто, неодобрительно покосился на вешалку — вбитый в стену гвоздь, и спросил вежливо:

— Простите, а у вас плечиков не найдется?

— Не найдется, — отрезала Лаврова. — Когда приходите в общественное место, надо снимать пальто в гардеробе.

— Истинная правда, — согласился Содомский. — Но когда приходишь в такое общественное место, из которого неизвестно куда пойдешь

дальше, лучше, чтобы пальто было под рукой. Ха-ха, это я так шучу.

— Прекрасные у вас шутки, — покачала головой Лаврова. — Правда, в тех неизвестных местах, куда наши посетители иногда отправляются, плечиков для пальто тоже не дают. Ха-ха, это я не шучу.

— Там это уже не страшно. Как говорится, бытие определяет сознание, — сказал Содомский и сбил щелчком какую-то несуществующую пылинку с лацкана хорошо отутюженного пиджака. — Кстати, я вас хотел спросить, если можно…

— Можно, — сухо ответила Лаврова.

— Вы не знаете случайно, в Нью-Йорке есть женщины — офицеры полиции?

— Есть. А что?

— А, жаль! Я-то думал, что это только наше социальное завоевание. Это же ведь подумать только — женщина, возвышенно-утонченное создание, ловит жуликов!

— Ну, вот подумали только, и хватит. Назовите свое имя, отчество, фамилию, время и место рождения, род занятий…

— Ай-я-яй, какая у вас плохая память при вашей очевидной молодости! — засмеялся Содомский. — Я же пять минут назад представился…

Смеялся он тоненько, с радостным подвизгиванием, чуть захлебываясь от удовольствия и веселья. Я понял, что он решил любой ценой вывести Лаврову из себя — умному жулику с нервным следователем всегда проще орудовать. И вмешиваться пока мне было рано, важно, чтобы Лаврова сейчас сама внесла перелом в разговор. А она улыбнулась светло, безмятежно и добро сказала:

— Слушайте, уважаемый, на мой взгляд вы уже лет восемь лишнего на свободе ходите. Вы себя тише ведите! И на вопросы мне отвечайте…

— А что такое? Я же пошутил! — сразу отступил к своим траншеям Содомский.

Я тихо сидел за своим столом, не поднимая глаз, смотрел в газету.

— Вы со своими девицами шутите! — резанула Лаврова. — А мне будьте любезны подробно отвечать на вопросы. Итак…

Содомский прижал к полной груди короткопалые пухлые ладошки:

— Так разве я не хочу? Пожалуйста! Меня зовут Александр Еремеевич Содомский, 1926 года рождения, образование — незаконченное высшее, место работы — Министерство культуры…

Лаврова оторвалась от анкетной части про-

токола, внимательно стала вглядываться в Содомского, и длилось это, наверное, не меньше минуты, пока тот не начал ерзать на стуле.

— Что? — спросил он на всякий случай.

— Скажите, это не вы главный специалист по охране памятников культуры? — серьезно спросила Лаврова.

— Нет, у меня работа организационного типа.

— А точнее? — настырно интересовалась Лаврова.

Содомский помялся, потом невыразительно забормотал:

— Я старший распространитель Центральной театрально-концертной кассы. Кстати, вы не хотите завтра сходить в театр на Таганке? Идет пьеса Дина Рида, желающие записываются за месяц вперед. Очень способный автор — раньше он был лабух, пел песни, а теперь вдруг написал пьесу и — представьте себе — бешеный успех…

Я быстро загородился газетой, а Лаврова не выдержала и в голос захохотала. Содомский на всякий случай тоже захихикал, настороженно спросил:

— А что такое?

— Слушайте, Содомский, у вас же все-таки незаконченное высшее — нельзя быть таким

невеждой. Джон Рид — слышите, не Дин Рид, а Джон Рид — написал повесть пятьдесят лет назад и вскоре умер. А уж потом по повести сделали инсценировку. Так что гастролировать у нас с песнями он не мог.

Содомский облегченно вздохнул:

— Умер? А я-то подумал, что вы на меня снова обиделись.

— Так, скажите мне, давно ли вы работаете распространителем. И при каких обстоятельствах вы попали на это место?

— Ой, я работаю так много лет, что точную дату вспомнить трудно. А попал обычно — пришел в отдел кадров, и меня приняли.

— Кем вы работали до этого?

— Я был концертным администратором в филармонии.

— Почему вы сменили работу?

— Здоровье, плохое здоровье — вот единственная причина. Меня в молодости не взяли в армию из-за того, что у меня килевая грудь, — и, видимо, для пущей убедительности Содомский ткнул себя в пухлую грудь ладошкой. — У меня конституция интеллигентная.

— Интеллигента в первом поколении, — сказала Лаврова. — Скажите, с кем из исполнителей-

солистов вы работали?

— Со мной работали многие. Можно так и записать — ряд видных советских музыкантов.

Лаврова усмехнулась и спросила:

— А Иконников с вами работал?

— Конечно. Он тоже в свое время был неплохим скрипачом, но что-то ему не повезло. У него был очень плохой характер.

— Почему вы расстались с Иконниковым?

— Мы не могли сработаться. Я же вам говорю — у него был склочный характер, и как все недотянувшие вожди и гении он страдал манией подозрительности.

— Поясните следствию эпизод с пропажей скрипки из репетиционного фонда.

Содомский закатил вверх свои бледно-голубые, почти белые глаза, потер рукой лоб, старательно изображая мучительное воспоминание.

— С какой скрипкой? — он явно тянул время, обдумывая позицию.

— Первой трети восемнадцатого века, предположительный автор — Бергонци или Винченцо Панормо. Взята вами на имя Иконникова. И якобы утеряна в троллейбусе.

— А-а! Вот вы о чем! Значит, вы тоже слышали об этой чепухе? Это был такой же Бергонци, как

я Джон Рид.

— Следствие располагает заявлением скрипичного мастера Батищева.

— Давайте, я вам напишу заявление, что позавчера видел на жене Батищева алмаз «Орлов». Тогда следствие будет располагать и такими сведениями.

— Это называется ложный донос, — сказала Лаврова. — И к следственным сведениям не имеет отношения.

Ах, досадно! Здесь Лаврова допустила явную промашку, и сейчас Содомский ее за это накажет. Он тихо засмеялся и сказал почтительно:

— Если мне будет позволено, замечу, что вы сильно увлеклись. Пока что скрипичный мастер Батищев и распространитель билетов Содомский, сидя на этом стульчике, юридически совершенно равноправны: оба они достойные, ничем не скомпрометированные граждане. И не простые, а советские, то есть обладающие всеми гарантиями их безопасности, чести и достоинства. Пока вы не докажете, что я, наоборот, плохой гражданин. А это вам может удаться, когда рак на горе свистнет.

— Ну, а фальшивые золотые монетки вас не скомпрометируют? — спросила Лаврова, и это

было тактическое отступление, перегруппировка сил на ходу.

— Нет, — уверенно сказал Содомский. — Я уже слышал, что этот дурак Дзасохов распространяет про меня порочащие слухи. Но на чужой роток не накинешь платок. Дурак, он и есть дурак. К тому же типичный образец жулика-неудачника. Я бы нисколько не удивился, если бы узнал, что это он украл у Полякова скрипку.

— Почему?

— Потому что умный жулик отличается от глупого тем, что берет не то, что плохо лежит, а то, что можно украсть без всякого риска. А скрипка эта будет в розыске хоть сто лет — до тех пор, пока кто-то с ней не попадется.

— Конечно, она ведь не лежала грязная, безымянная, всеми забытая в кладовке репетиционного фонда, — ухмыльнулась зло Лаврова.

— Ну, если вам удобнее думать так, то можно и такой пример привести, — откровенно нагло сказал Содомский.

— А что вы делали в ночь, когда произошла кража скрипки?

— Позвольте узнать, когда произошла кража.

— В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября.

— Я в эту ночь спал у себя дома.

— Кто-нибудь может это подтвердить?

Содомский засмеялся:

— А это и не надо подтверждать. Если я вам говорю, что спал у себя дома, — значит это так. А если у вас есть сомнения в этом — то вы докажите, что я, наоборот, дома не спал и занимался чем-то другим.

— Совершенно резонно, — согласилась Лаврова.

— Кроме того, вам только показалось, что я такой плохой человек. Конечно, я не ангел, но вы мне попробуйте показать ангела. У всех есть какие-то грешки, у всех есть заклеенные странички в биографии. Вот у вас, например, что-нибудь тоже было в жизни, о чем вы не станете кричать на перекрестках.

— Кричать на перекрестках ни о чем не стоит. Это с точки зрения общественного порядка было бы неправильно, — заметила Лаврова.

— Если бы люди кричали на перекрестках о своих грехах, общественный порядок в конце концов от этого только бы выиграл, — весело сказал Содомский. — Но люди охотнее говорят о чужих грехах. Кстати, вы обратили внимание на мою фамилию?

— А что?

— Нет, ничего, просто я хотел вам напомнить, что господь бог обрушил огонь и серу на Содом и Гоморру потому, что там не нашлось десяти праведных людей. Я не поручусь за судьбу никакого города, если бог вдруг надумает повторить эту дурацкую проверку.

Лаврова покачала головой:

— Мне кажется, что ваш пессимизм — в чистом виде продукт вашего отношения к людям.

— Что делать? Не я ведь их создал такими. И вообще, будь я следователем, я бы в первую очередь тряс самых безгрешных на вид людей, потому что безгрешных людей не бывает, и чем человек больше похож на ангела, тем кошмарнее ложь он скрывает.

— Да-а, поганенький взгляд у вас на людей… — сказала немного растерянно Лаврова. — К счастью, бодливой корове бог рогов не дает.

— Может быть, — спокойно согласился Содомский. — Вот вы мне скажите — за время расследования хотя бы этого дела, кого вы больше встретили — хороших людей или плохих?

— Плохих, — ответила Лаврова.

— Ну! А я что говорю? — обрадовался Содомский.

— Ерунду! — отрезала Лаврова. — Если бы я искала не скрипку «Страдивари», а утраченный манускрипт, и при этом не была инспектором уголовного розыска Лавровой, а называлась профессором филологии Ираклием Луарсабовичем Андрониковым, то я бы встретила наверняка множество прекрасных, добрых, умных и честных людей. Но я ищу украденную, слышите — украденную вещь, и из-за этого должна слушать ваши сомнительные откровения вместо того, чтобы в это время поговорить с каким-нибудь приятным и умным человеком.

— Значит, я человек неприятный? — спросил Содомский.

— Вы уж простите меня за откровенность, но вспоминать о вас с особым удовольствием я не стану.

Содомский довольно засмеялся:

— Как говорится, насильно мил не будешь. Но что толку в приятности? Самый приятный человек, которого я знаю, — это Гришка Белаш. Он действительно хороший парень. Но я уверен, что и у него какая-то гадость в биографии имеется.

— Почему вы так думаете? — сердито спросила Лаврова.

— Не знаю, так мне кажется. Кроме того, не стал

бы он запросто так с Иконниковым нянькаться. Я думаю, у них какие-то делишки были…

Нет, это было не случайное сравнение, это был не просто подвернувшийся аргумент в споре. Такая фраза — это заявление. Пора было вмешаться мне. Но Содомский сам неожиданно повернулся на стуле в мою сторону и сказал:

— Если я не ошибаюсь, вы инспектор Тихонов?

— Вы не ошибаетесь, Содомский. Я инспектор Тихонов, — кивнул я и учтиво добавил: — Столь широкая популярность среди распространителей театральных билетов мне льстит. Но, помнится, нас никто не представлял.

Содомский хищно блеснул золотой коронкой:

— Как вы понимаете, в одном замкнутом круге не может не быть разговоров о человеке, который трясет по очереди всю музыкальную общественность в связи с кражей «Страдивари». И даже если бы я был более приятным и менее умным, то мог бы сообразить, что мужчина, который во время допроса сидит в кабинете, смотрит в газету и слушает каждое мое слово, должен быть Тихонов. Так как я вам понравился?

— Вы мне понравились, — заверил я. — А то, что вы не понравились инспектору Лавровой, пусть вас не огорчает — это ведь дело вкуса. Что

касается газеты — вам показалось: я ее действительно внимательно читал.

— Да? — усмехнулся Содомский.

— Да, — подтвердил я. — И даже вычитал заметку, иллюстрирующую ваши воззрения. Которые, не скрою, я тоже внимательно слушал. Вот посмотрите сами, — и протянул ему «Вечерку».

— Что-нибудь «Из зала суда»? — сказал, очевидно, довольный своей проницательностью Содомский.

— Нет, — разочаровал его я. — Наоборот, «В мире интересного». Оказывается, ученые установили, что все хищные животные видят цветовой спектр только в черно-серых тонах. Ваши голубые глаза, розовые щеки и золотые локоны, вся щедрая палитра вашей широкой души показались бы им тоже черной и серой. Вот как вам, например, видятся все окружающие вас люди.

Содомский взял газету и быстро пробежал заметку глазами, при этом он поглаживал в задумчивости короткопалой ручкой рыжие кудри, и среди них неожиданно обнажилась ранее аккуратно замаскированная розовая лысина. Потом он бросил газету на стол и сказал:

— Но вы не всю заметку прочитали. Там дальше написано, что птицы воспринимают еще более

радужную цветовую гамму, чем люди. Очень серьезная, умная птица, например, петух?

И я сразу вспомнил Курочку Рябу с грустным человеческим глазом. Да, видимо, все зависит от точки зрения. Поэтому я перешел к следующему вопросу:

— Вы твердо уверены, что похищенная у вас в троллейбусе скрипка не имеет исторической ценности?

— Абсолютно.

— И по-прежнему утверждаете, что мастеру Батищеву ее не показывали?

— Утверждаю. Он меня с кем-то перепутал.

— Давайте с вами рассмотрим два варианта: первый — все обстоит так, как рассказываете вы. И второй — что это была скрипка Бергонци. Или Винченцо Панормо.

— Давайте, — пожал плечами Содомский.

— Ну, первый вариант не нуждается в рассмотрении — он вами уже был успешно апробирован. Второй — узнав от Батищева, что это скрипка Бергонци, вы заявляете в милицию о пропаже у вас старой барахловой скрипки. А сами между тем неофициально реставрируете ее и через подставное лицо продаете. Бьюсь об заклад, что покупатель не знал, что это Бергонци — иначе

не стал бы связываться. А покупает он просто очень хорошую старинную скрипку за большие деньги.

— Позволю заметить, что имя мастера — половина цены скрипки, — сказал Содомский. — Если это Бергонци — сто процентов, если Панормо — только пятьдесят. А если без имени, то совсем мало.

— Да, но если эта скрипка ваша, а не ворованная. Хоть Винченцо Панормо — это не Страдивари и даже не Бергонци, но такие инструменты тоже в подворотнях не валяются. А вы недавно продекларировали, что надо брать не то, что плохо лежит, а то, на чем не попадешься. Поэтому все подходы к себе вы обрубили…

— Вы говорите так, будто взяли меня за руку, — сказал Содомский.

— Ни в коем случае! — заверял я. — Вы же сами согласились разобрать со мной гипотезу, по которой пропавшая скрипка — Бергонци. Кроме того, вы ведь человек откровенный…

— Да-а? — с сомнением спросил Содомский.

— Конечно! Вы открыто исповедуете цинизм. Поэтому вам все мои разговоры, если я их не подкреплю доказательствами, — тьфу! Верно?

— Верно, — согласился Содомский.

— Вы и в этом так откровенно со мной соглашаетесь, что уверены — за столько лет память об этой скрипке испарилась, как дым. Но, обрубив концы к себе, вы же скрипку-то не изрубили. И хозяин ее нынешний до сих пор не знает, что, во-первых, она бергонциевская, а во-вторых, краденая. И найти ее можно. Думаю даже, что это не очень сложно. Потруднее будет с вашим непосредственным изобличением, но и это штука вполне реальная.

Содомский помолчал, и я увидел, что его щечки утратили свой яростный накал. Они потемнели, затвердели, на них появился какой-то бронзовый налет.

— Я не понимаю, вы что — пугаете меня или пробуждаете во мне голос совести? — спросил он наконец.

— Будить в вас совесть, Содомский, все равно, что искать пульс на протезе. А пугать вас не надо — вы когда шли сюда, особой бодрости, полагаю, не ощущали.

— Так вы что — решили искать скрипку Бергонци? — спросил он и через силу, мучительно улыбнулся.

Ага, вот он — парламентерский флаг. Сейчас начнутся переговоры.

— А почему бы нет? — сказала Лаврова. — Мы вам даже можем сказать, как мы ее будем искать и найдем.

— Пустые разговоры! — зло сказал Содомский.

— Почему же пустые? — обрадовалась Лаврова. — Вот я могу вам сказать, о чем вы сейчас думаете — нельзя ли пойти к нынешнему хозяину скрипки и выкупить ее обратно.

— А ведь скорее всего он ее не отдаст — за столько-то лет он привык к ней. Скрипка хорошая, нет, не захочет он с ней расставаться! — поддержал я Лаврову.

Содомский откинулся на стуле, долго рассматривал нас, что-то обдумывал, потом спросил:

— Если так просто найти скрипку, что же вы целый месяц не можете найти Полякову инструмент? — и засмеялся, облегченно, искренне.

— Э, нет! — покачал я головой. — Продать тысячи за три скрипку Панормо — дело вполне мыслимое и реальное. А спихнуть так же «Страдивари», который, кстати, ищет вся милиция страны, это все равно, что вот тот алмаз «Орлов», о котором вы говорили, разбить на кусочки для продажи стекольщикам.

— Да-а? Ну, если у вас много свободного времени — ищите! А я никакого Бергонци в глаза не

видел! И Винченцо Панормо не видел! И вообще я никогда не нарушал законов! Я всегда был готов прийти на помощь милиции, если это только требовалось!

— Я полагаю, что милиции ваши услуги никогда не требовались, — сказал я. — А что вы сказали насчет Иконникова и Белаша?

— Ничего я не говорил! Ничего я не знаю! Я просто сказал, что Гришка очень сильный человек — не каждый найдет в себе силы вернуться в жизнь из помойки…

— В каком смысле? — спросил я.

— Человек, который в семнадцать лет был лауреатом скрипичного конкурса, мог иметь в жизни все, а он… — Содомский замолчал и махнул рукой.

— Кто — Иконников? — переспросила Лаврова.

— При чем здесь Иконников? — раздраженно сказал Содомский. — Я говорю про Белаша!

— Белаш был лауреатом? — медленно, как во сне, сказала Лаврова.

— Конечно! А вы что — не знали? — удивился Содомский. — А еще «Страдивари» хотите найти!

— Найдем! — почти крикнула Лаврова. — И «Бергонци» найдем! Давайте ваш пропуск, я подпишу вам на выход…

Содомский в дверях надел свой «пирожок» и сказал:

— Честь имею кланяться!

И в голубеньких каплях его глаз, упавших льдинками на раскаленную плиту красной рожи, бушевало веселое злорадство.

С утра Белаш работал в Большом театре, поэтому он предложил встретиться где-нибудь в центре. Он сказал:

— Давайте в два часа в кафе «Арарат». Сэкономим время: поговорим и заодно пообедаем.

Я опоздал минут на пять, и, когда вошел в зал, Белаш ужа сидел в уютном уголке за столом. Он был, как всегда, элегантен, но выглядел неважно — какая-то тусклая, тягучая тоска застыла в его глазах. Он встал мне навстречу, замахал руками, и мне показалось почему-то, что он рад нашей встрече.

— Я думаю, что мы теперь до конца жизни будем встречаться, говорить об Иконникове и Полякове, строить гипотезы, кто мог украсть скрипку, и вообще наша жизнь теперь потечет параллельно, — сказал, улыбаясь, Белаш.

— Все возможно, — охотно подтвердил я. — Что будем есть?

— Сейчас узнаем.

Подошла официантка, немолодая, степенная, полная женщина, которую я помню еще со студенческих пор, потому что «Арарат» всегда пользовался у нас наибольшей популярностью — здесь дешево и вкусно кормили.

— Здравствуйте, — сказала официантка. — У нас сегодня есть форель.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Белаш. — Дайте нам с белым соусом.

— Сыр чанах и бастурму, — попросил я. — Кофе с белками.

— Присоединяюсь. Еще чебуреки, — и спросил у меня: — Вина выпьем?

Я равнодушно пожал плечами.

— Бутылку розового «Гарни», — сказал Белаш официантке.

Она с достоинством, присущим всем восточным женщинам, поклонилась и ушла.

— Какие-нибудь новости есть? — повернулся ко мне Белаш.

— Есть. Я хотел с вами, Григорий Петрович, поговорить о Содомском и о вас.

— Обо мне? — удивился Белаш. — В жизни не имел с этим прохвостом никаких дел.

— Вы меня не так поняли, Григорий Петрович. Я вчера допрашивал Содомского, и он разговорился

о вас. Он сказал, что вы раньше были скрипачом.

— Вот тварь! — сказал с досадой Белаш, и по лицу его скользнуло отражение мгновенной мучительной внутренней боли. — А больше он ничего обо мне не сказал?

— Нет, ничего.

— Ладно, все остальное я вам сам расскажу.

Официантка принесла вино, минеральную воду, плоский армянский хлеб. Белаш налил «Гарни» в бокалы, подвинул ко мне воду, сказал:

— Давайте выпьем пока. За встречу. Будьте здоровы, — кинул в себя вино, отщипнул корочку хлеба, стал не спеша жевать.

Я тоже выпил.

— Значит, так, — сказал Белаш. — Должен начать свою исповедь с добровольного признания в противозаконном умысле. Вы помните, как мы составляли список людей, имеющих отношение к Иконникову и Полякову? Вот тогда еще, прекрасно помня, что Содомский хорошо знал и того, и другого, я испытывал острое желание не говорить вам о нем, потому что мерзавец он исключительный. И рассказать о моей блестящей скрипичной карьере должен был именно он. Я это чувствовал, но в последний момент решил его назвать, чтобы не осталось между нами ка-

ких-то неясных вопросов. Говорить мне об этом, конечно, мучительно, но ничего не попишешь…

— Если вы мне дадите слово, что это не имеет отношения к делу, я с удовольствием освобожу вас от этой необходимости, — сказал я.

— Нет уж, давайте расставим все точки над «і», чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Дело в том, что в свое время я не совсем точно ответил на ваш вопрос о том, что связывает меня с Иконниковым. Помимо нашей дружбы, он был моим учителем и наставником.

— В каком смысле? — уточнил я.

— В прямом. В скрипичном.

Официантка расставила на столе закуски, Белаш дождался, пока она ушла, и сказал:

— Когда смотришь в видеомагнитофонной записи матч, то хотя тебе давно известен результат игры и знаешь, что игра проиграна раз и навсегда и все уже решено, ничего измениться не может, все же каждый раз, когда у ворот противника создается острая ситуация, начинаешь метаться и переживать в нелепой надежде, что сейчас забьют гол, который изменит окончательный итог. Но этого никогда не случается, потому что чудес не бывает.

Мы помолчали, и я никак не мог прийти в себя

— так неожиданно для меня было признание Белаша. Он придвинул к себе сыр, оторвал от длинного ломтя хлеба кусок, и я вспомнил, как Иконников сказал мне: «Мы преломили хлеб…»

— Это было все ужасно давно, как в другой жизни, — сказал Белаш, и я снова вспомнил, что слышал эти слова от Иконникова. — Говорят, что я был очень способным парнем. Иконников хотел, чтобы я сделал то, чего не смог сделать он.

— И никто не знал, что он — ваш педагог? — спросил я.

— Знали очень немногие. Иконников хотел, чтобы все думали, будто он покончил с музыкой навсегда. Не могу этого утверждать, но допускаю, что он рассчитывал эффектно выйти из-за кулис в день моего большого триумфа. А официально я учился в музыкальной школе и готовился поступить в консерваторию.

— И что?

— Ничего — в самом полном смысле этого слова. Я сломал руку — открытый двойной перелом, — он мучительно сморщился, и мне показалось на мгновенье, что в его глазах закипела злая тоскливая слеза. — Через три месяца кости срослись и практическая трудоспособность восстановилась полностью. Только вот с контрактурой мышц

левой руки на скрипке не поиграешь. С идеей большого триумфа пришлось расстаться навсегда…

— А Иконников?

— Не спрашивайте! — махнул рукой Белаш. — После краха его карьеры мое несчастье для него было самым страшным ударом в жизни. Для него это был конец. Он-то лучше всех понимал, что моя травма необратима, и все-таки последним смирился с этим. Он и сделал меня настройщиком высшего класса, когда понял, что со скрипкой покончено. Вот с тех пор и пошла моя благополучная, безбедная и спокойная жизнь при музыке…

Пустым, ничего не выражающим взглядом смотрел мимо меня Белаш в стену, разрисованную, ярко освещенную, и на этой стене с внутренним объемом были нарисованы снежные горы, палящее солнце, сады, пашни, люди, у горизонта шел косой синий дождь, поднимались клочьями дымящиеся фиолетовые облака, неспешно катила по дороге арба — все там было на этой цветной, умело освещенной стене-декорации, и все это было ненастоящее, потому что там не было, да и не могло быть человеческого горя и разочарований, совсем неуместных в стене-диораме, создающей в кафе иллюзию беззаботного

пикника на свежем воздухе.

Белаш помолчал, поднял голову, невыразительно сказал:

— Раньше было тяжело. А сейчас ничего, привык. Я думаю, мне такая судьба была уготована. Это же ведь надо — перелом руки! Для всех людей это просто житейская неприятность, а для меня — вся жизнь коту под хвост. Глупо ужасно! Великий скрипач Флитцер был слеп, у Кароля Липиньского была жестокая чахотка — но играть-то они могли!

— Да, несладко вам досталось, — сказал я. Да и что еще я мог сказать!

Белаш грустно усмехнулся:

— Иконников старался меня утешить тем, что композитор Люлли и вовсе умер от заражения крови, поранив себе ногу дирижерской батуттой…

— Иконников был добрый человек? — спросил я.

— Добрый? — переспросил Белаш. — Нет, он не был добрым человеком. Но в нем была какая-то непохожесть на всех остальных. Он это знал и старательно поддерживал ее. Он часто говорил, что в людях заметно исступленное стремление к стандартам, к универсальности характеров,

желание все разбить на понятные, доступные, удобные в потреблении категории, и именно с ними всего неохотнее они расстаются.

— Он говорил об этом применительно к профессиональной сфере или вообще о поведении людей? — поинтересовался я.

— Иконников говорил это о людях вообще, а поскольку общался с ними мало, то примеры черпал из профессиональной сферы.

— Например?

— Ну, вот он любил рассуждать о том, что имя Родольфо Крейцера известно благодаря великой сонате, посвященной ему Бетховеном. А Крейцер эту сонату не понимал, играл ее примитивно, трусливо, убого. В то же время мало кто знает, что сорок два этюда Крейцера до сих пор являются обязательной азбукой любого скрипача всех скрипичных школ мира, что без них немыслимо скрипичное искусство и они обессмертили его имя, что заштатные скрипачи и всемирно знаменитые виртуозы именно на них оттачивали технику и мастерство.

Молча мы выпили кофе. Белаш равнодушно и тоскливо смотрел в ярко освещенную стену. Устало сказал:

— Настроение у меня паршивое. Почему-то все

последнее время преследует воспоминание: незадолго до смерти Иконников со своими обычными ерническими штуками прочитал мне стихи Лукреция Кара. Я уж все не помню, но одна строка о человеке, которого живьем пожирает зверь, мне врезалась в память — «…плотью живой он в могилу живую уходит». Почему он прочитал тогда эти стихи? Как вы думаете, почему?

— Наверное, он уже догадался, что его пожирает Минотавр, — сказал я негромко.

— Минотавр? — не понял Белаш.

Я молча кивнул. Белаш провел тонкой нервной ладонью по лицу и сказал растерянно:

— Может быть. Может быть. В жизни все может быть…

Я спросил Полякова, когда он может принять меня. В телефоне было слышно, как он что-то быстро бормотал, видимо вполголоса читая свой настольный календарь.

— Скажите, в половине одиннадцатого вечера вам не очень поздно будет? — спросил он со своей обычной извиняющейся интонацией, и в тоне его было слышно, что он нервничает из-за того, что надо гонять чуть не в полночь по своим делам чужих людей, и весь день, как назло, весь вплотную расписан, хотя ничего удивительного

в этом нет — вчера день и вечер, и часть ночи были также заполнены до отказа, и так изо дня в день, из года в год, и невольно приходится утруждать людей, ничем их не вознаграждая, а это, черт побери, свинство, и оттого чувствуешь себя ужасно неловко, потому что непрерывно приходится одалживаться в услугах, внимании и заботе, и остается, по существу, единственная возможность быть независимым во времени и в отношениях со всеми людьми — на концерте, в работе, в самом главном и нужном деле, да вот, как назло, и это невозможно — украли любимый инструмент…

Не знаю, может быть, он и не думал обо всем этом, спрашивая меня своим высоким нервным голосом — не очень ли поздно в половине одиннадцатого, но мне показалось, что признан миром он как великий скрипач еще и потому, что живет в нем эта непреходящая эмоциональная взволнованность, застенчивая детская мудрость, бескожная оголенность чувствования, которая делает его будни мукой, а жизнь в целом — долгим и острым счастьем. Так мне показалось, во всяком случае, хотя утверждать, конечно, я не могу — я ведь в этом мало понимаю…

— …вам не поздно будет? — спросил он.

— Нет, не поздно. Для меня это совсем не поздно.

— Очень хорошо! — в голосе его были радость и успокоение, что хоть в этом он не ущемит чужого человека, которому почему-то приходится заниматься его личными делами. И сразу же в нем вновь забились беспокойство и волнение: — В 22.45 по телевидению будет запись Крейцеровой сонаты в моем исполнении. Нам это не помешает говорить? А то я очень хотел прослушать еще раз, во второй части у меня есть сомнения — там, мне кажется, потеря темпа…

Вечером мы сидели с Поляковым в его кабинете, там, где мы впервые встретились и он помертвелыми губами еле слышно спросил: «Скрипка… моя скрипка?»

А сейчас он не спрашивал о скрипке, потому что понимал: будь у меня какие-нибудь радостные новости, я бы сам рассказал. Но мне порадовать его было нечем. И о чем бы мы ни говорили, этот невысказанный вопрос и неполученный ответ угнетали нас обоих. На столе лежал открытый футляр с темной скрипкой, на которой мне однажды играл Поляков.

— Вильом был талантливым мастером? — спросил я.

Поляков удивленно взглянул на меня.

— Конечно! Это был бесконечно одаренный человек. А что?

— Нет, это я просто так, для себя спросил. Мне не понятно, почему он не получил соответствующего признания.

Поляков быстро прошел через кабинет, вынул из футляра скрипку и показал мне:

— Взгляните — этот инструмент поразительно похож на скрипку Страдивари «Император», которая принадлежала Яну Кубелику. Но она только похожа! Точно воспроизвести инструменты старых итальянских мастеров невозможно.

— Почему? Ведь нет ничего непознаваемого, и если нельзя придумать своего, то Вильом же мог скопировать инструмент, имея под руками оригинал. Ведь это же только дерево!

Поляков улыбнулся и покачал головой:

— Не-ет! Вильом — это рассудительное деловое спокойствие. Я думаю, что он не провел над своими скрипками ни одной бессонной ночи. А старые итальянцы знали много тайных средств, и секретов не выдавали никому. Чтобы понять эти тайны, Вильому надо было много-много ночей не спать, плакать от отчаяния и счастья, безумствовать и страдать. Тогда он открыл бы тайные

пружины старинного мастерства.

— Тогда ему не надо было бы копировать чужие инструменты, он был бы тогда сам по себе Вильом, — сказал я.

— Вот это я и имею в виду, — выбросил ко мне свои худые, острые руки Поляков, — Но он был человек другого склада. Его вполне устраивала безбедная сытая жизнь рядом с алчущими талантами Страдивари и Гварнери.

И удивленно, с очевидным непониманием пожал плечами:

— Просто ума не приложу, как такой талантище мог этим довольствоваться!

— А специалисты тоже ошибались в определении инструментов? — спросил я.

— В те времена — достаточно часто. Смешно сказать, но Вильом на многие годы с коммерческой точки зрения обесценил скрипки великого Штайнера. Считанные люди могли различить их инструменты. Со временем, правда, все стало на свои места.

— Чем же все-таки отличались скрипки?

— Звуком. Звук старых скрипок неповторим. Как человеческий голос. Под него можно подделаться и очень похоже воспроизвести, но никогда нельзя получить абсолютного сходства. И Вильом

не смог повторить старых голосов, потому что ему не хватило, как бы это точнее сказать, ну, немного безрассудности, что ли… И собственного голоса — одного, главного, который от сердца идет — тоже не нашел…

— Разве безрассудность — это тоже добродетель таланта?

Поляков уселся в глубокое кресло, он почти весь исчез в нем, только худые локти и колени торчали, и оттуда как из крепости, чтобы не встречаться со мной глазами, негромко сказал:

— Талант в работе всегда должен быть безрассуден. Иначе он ничего не сделает… Говорят, Страдивари очень любил свою мастерскую, провел в ней долгие десятилетия, сделав около полутора тысяч инструментов, и завещал потомкам беречь ее как память о его работе. Она сохранилась до сих пор, и будучи в Кремоне я заходил туда.

— Там музей сейчас?

— Нет, в его доме гостиница, а в мастерской — биллиардная. На петли, в которых Страдивари сушил свои скрипки, посетители вешают потные пиджаки…

На экране телевизора, который работал с выключенным звуком, появилась заставка — «Му-

зыкальные встречи». Медленно, как из глубины вод, всплыло лицо молодой красивой женщины, и по отчетливо-короткому движению ее точно очерченных губ я прочитал: «Здравствуйте, товарищи». Она говорила что-то, и лицо у нее веселое было, радостное, беззаботное, и хотя я не знаю, что именно она говорила, как-то не вязалось выражение ее лица с воспроизведенным сразу же за ней портретом Бетховена, с нахмуренными его бровями, страдальческими глазами и сжатыми в муке губами, сквозь которые не могла прорваться мольба-стон-вопль: «Говорите громче, кричите! Я глух!»

Поляков встал, подошел к телевизору, повернул ручку, и в комнату плеснулся бодрый женский голос — «…осталось одним из самых жизнеутверждающих произведений великого композитора».

А потом в комнате оказалось два Полякова — один, напряженный, замерший рядом со мной в кресле в какой-то неестественно прямой позе, скованный до бессилия волнением и ожиданием того, что уже произошло, взволнованный строгий экзаменатор того Полякова, что вошел в комнату с телевизионного экрана, — Полякова собранного, сильного, уверенного в каждом микроскопическом движении, и до меня только

сейчас дошел тот громадный смысл, которым было исполнено все происходящее сейчас, — человек будет судить самого себя, потому что живой Поляков, вот тот, что сидит рядом со мной, был на встрече с Поляковым телевизионным, он пришел на встречу со своим «вчера».

Поляков на экране приложил скрипку к щеке, поднял смычок, и я увидел, что живой Поляков судорожно сжал пальцами спинку кресла.

И смычок пал на струны…

Возглас страдания, протяжный и полный боли, невысказанной и тяжкой, которую испытать дано только сильным людям, промчался и стих, и ему ответило фортепьяно, успокаивающе и нежно. И снова закричала скрипка — резко, сильно, и в крике этом были гнев и протест…

Звуки летели, стремительные, быстрые, полные смысла и чувства, и я не знаю, какое толкование можно было дать сонате № 9, посвященной Родольфо Крейцеру, который не понимал ее и упрощал самые трудные и значительные места, но я слышал в ней яростное дыхание, рывок и легкий вздох — это был побег из тьмы к свету, это был побег от своей немощи к счастью, и в этом счастье была свобода — солнце, свет, покой свершения, и негодование от своей слабости, и

уверенность в завтрашней своей силе, здесь были бессонные ночи, и в них не было лун, а только стенания поиска, сомнения и испуг первого открытия, и звенящий ритм зачеркивал слово «смерть», потому что в звуках полно радостного и трудного безумства, которое, оказывается, так нужно таланту. А что еще нужно таланту? Терпение, любовь, и удача, и сила физическая, и еще нужно таланту все, что остальным людям нужно…

Поляков на экране работал. Он тяжело работал, и не было, мне кажется, в нем никакой легкости, а был тяжелый, изнурительный труд, который рождал все эти бегучие, быстрые, легкие, такие точные звуки, и я почему-то верил, что он ничего не упрощал, и, не зная нотной грамоты, я был твердо уверен, что играет он не трусливо, а смело и сильно — так яростно, так отчаянно он работал. Он смотрел на смычок, прислушивался внимательно, как будто это не он играл, а кто-то другой, или вроде он уже как сейчас сидел дома, так внимательно и нервно он вслушивался в каждой звук, и я видел, что в наиболее трудных местах лицо его мучительно кривилось, он прикусывал губы, а потом вытягивал их вперед и чуть вниз, будто губами и зубами, всей волей своей и силой

хотел дотянуть нужный звук до нужного уровня, формы, акцента. Он поддевал струну ногтем, и будто серебряные капли летели на пол, и он все вслушивался внимательно, чтобы, не дай бог, не перелить хоть одной капли этой волшебной влаги, и будто одна капля, один звук может все и навсегда непоправимо испортить. Пальцы левой руки, невесомые, носились по струнам, и не верилось, что это он сам нажимает ими на струны с раз и навсегда отмеренным усилием — казалось, что струны сами в нужный момент прожимаются и подбрасывают пальцы вверх. Океан звуков бушевал, и конец такой буре прийти не мог.

А Поляков, тот, что сидел рядом, на расстоянии одного метра, не смотрел на экран. Он сидел, закрыв глаза, откинувшись на стуле, и сосредоточенно судил себя, вчерашнего. И когда эта лавина все-таки иссякла, я так и не понял, принял Поляков сегодняшний — того, телевизионного, вчерашнего Полякова, или были у него оговорки, или сегодня он вообще сыграл бы по-другому, потому что он встал, походил в задумчивости по кабинету и неожиданно сказал:

— А все-таки Паша играл это интереснее…

Мы помолчали, и я, наконец, задал вопрос, из-за которого пришел сегодня к Полякову и случайно

увидел его в двух временах.

— Лев Осипович, вы давно знаете Белаша?

— Гришу? И не упомню даже — так давно. Наверное, с молодежного конкурса. Лет пятнадцать-двадцать, наверное, прошло.

— Семнадцать, — уточнил я. — А вы слышали его на конкурсе?

— Да, конечно, я был председателем жюри, — Поляков ответил коротко, и мне показалось, что он не хочет углубляться в этот вопрос. Но я пришел за ответом именно на этот вопрос и уйти, не досказав всего, не мог.

— Как вам показалась его игра?

Поляков ответил уклончиво:

— Он показался мне очень способным мальчиком. Деталей я уже не помню, прошло ведь так много лет.

Он явно не хотел входить в подробности, и хоть я заметил, что мое присутствие начало тяготить его, продолжал настырно задавать вопросы:

— А какие отношения их связывали с Иконниковым?

Поляков начал сердиться, ему, очевидно, не хотелось вдаваться снова в воспоминания:

— Нормальные, приятельские отношения у них были. Я не знаю деталей. Да и вообще, какое

это все имеет значение сейчас, когда…

Он не договорил, что «когда Иконников умер», но эта несказанная фраза повисла между нами.

— Имеет, — сказал я. — И вы это знаете.

— Почему я должен знать об этом? — вяло возразил Поляков. — К сожалению, я много лет не общался с Павлом Петровичем.

— И вы полагаете, что их отношения не выходили за дружеские рамки?

Поляков поднял на меня свои усталые грустные глаза, смотрел долго, внимательно, потом сказал:

— Да, да, да. Я знаю, что Иконников был учителем Белаша. И что?

— Вы об этом узнали от Белаша?

— Да.

— Он рассказал вам?

— Нет, он сыграл. Я же слышал его на конкурсе…

Я замешкался на мгновенье, и Поляков сказал:

— Неужели вы думаете, что я мог не узнать этой манеры? Мы ведь с Пашей выросли вместе. Белаш играл концерт Прокофьева, это была любимая вещь Паши, и я сразу узнал его голос, почерк, его широкую размашистую манеру.

— Не случись с Белашом несчастья, он стал бы,

с вашей точки зрения, большим музыкантом? — спросил я.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо уговориться о масштабе слова «большой». Вильом был тоже большой мастер.

— Существуют же общепринятые критерии исполнительского мастерства? Ну, хотя бы с обывательской точки зрения?

— С обывательской, думаю, мог бы. Но он ни разу не вышел за те рамки, что начертал Иконников в концерте Прокофьева. Мне показалась удивительной рассудочная холодность молодого скрипача в исполнении такого взволнованного концерта…

Катились дни, наступила зима, а мы с Лавровой методично, по графику, составленному после долгих препирательств, разыскивали людей — на работе, дома, в антракте, между гастролями и киносъемками, на дачах, а с одним генералом мне пришлось разговаривать во время танковых учений, — и список становился все меньше, а тома уголовного дела все росли, и никак нам не удавалось достичь той точки, через которую прошла жизненная кривая, соединившая в последний раз Полякова и Иконникова.

В ночь с 15 на 16 октября:

Настройщик Белаш находился в командировке в Ленинграде…

Скрипач Казаринов давал концерт в Цюрихе…

Дирижер Станиловский подводил результаты конкурса в Минске…

Концертмейстер Штук болел воспалением легких…

Шофер Симоненко ночевал у Полякова на даче…

Член редколлегии Валяев подписывал газету в свет…

Скрипичный мастер Батищев отдыхал с женой в Ессентуках…

Режиссер Александровский проводил разбор премьеры…

Генерал Лукьяненко командовал на ночных учениях…

Эксперт-антиквар Самончиков праздновал свадьбу дочери…

Профессор Кандель выводил из клинической смерти попавшего под машину мальчика…

Гроссмейстер Горст со своим тренером разбирал отложенную в безнадежном положении партию…

Композитор Шовкунов принимал у себя гостей…

Виолончелист Шахназарян был в гостях у Шовкунова…

А остальные спали. У себя дома, как и полагается нормальным людям. Спят люди по ночам. Эту привычку — спать по ночам — они завели довольно давно, и не надо им никакого алиби доказывать, коли они спят у себя дома, в своей постели. Имеют право. И я бесновался — на себя самого оттого, что человек говорил мне, глядя в глаза искренне и спокойно: «Спал я». И это естественное и необходимое ночью занятие — спать, вызывало у меня досаду и подозрение, потому что оставляло оно между нами завесу неизвестности, сторожкой и сумеречной, неверной, как сам человеческий сон.

Ни одного из этих людей, предъявленных на фотографиях, Мельник не опознал. Но ведь кто-то же из них не спал! Кто-то только сказал мне, что спал, а сам ночью украл скрипку «Страдивари»! Если бы только был жив Иконников! С его помощью я вышел бы на человека, который украл скрипку. Но Иконников сильно устал, и не было в его сердце покоя, о котором он говорил мне, а одно только небо, и тихая осень, и весь прекрасный невероятный мир вокруг не могут дать покоя, если вокруг нет людей, и нет их тепла, их

признательности, хоть капельки самой обычной человеческой любви…

И поэтому я не мог узнать, кто не спал из тех людей, которых мы допросили, извинились и отпустили домой:

Профессора психиатрии Богомолова.

Инструктора трудового обучения Общества глухих Кисляева.

Скрипача Хорошилова.

Знаменитого иллюзиониста Коона.

Распространителя театральных билетов Содомского.

Известного адвоката Рудмана.

Художника Полозова…

Отпустили, хотя я наверняка знал, что одного из них мы отпустили зря — он ведь не спал. То, что было для всех естественно и не требовало никаких дополнительных вопросов — спать ночью дома, у себя в постели, он превратил в юридическую категорию — алиби. И опровергнуть это алиби я был не в силах. Существует разумный предел возможностей, и я остановился перед ним, потому что дальше начинался абсурд, чудовищная суетливость всеобщего подозревания, а это было глупо и бесполезно. В пасьянсе с девятью наглухо заклеенными картами нельзя было рас-

считывать на успех. И даже если бы я умел гадать, то сложившаяся ситуация напоминала мне обычную человеческую ладонь, на которую нанесли все линии и складки рук прошедших передо мной людей, и в этой сумятице перепутавшихся маршрутов жизни, любви, удачи, характеров и долголетия не разобрался бы ни один хиромант.

В детстве мне подарили книжку «Морозко». Это была книжка-фокус: к ней придавались слюдяные очки двух цветов — красные и синие. Посмотришь через красную слюду на растекшуюся кляксу неразборчивой иллюстрации — и, как в волшебном фонаре, проступает картинка: Морозко наряжает падчерицу в шубу соболью. Посмотришь через синюю на этот же рисунок — совсем уже заморозил, уморил Морозко злую и ленивую дочку. Помню, что я часами рассматривал эти непонятные рисунки без очков, пытаясь разглядеть уже знакомые сюжеты в цветовом хаосе иллюстрации-фокуса, но все было перемешано, спутано, искорежено, и доброе ласковое лицо падчерицы почему-то росло из скрюченного окаменевшего туловища дочки. И когда я приходил в отчаяние, не в силах разобрать доброе и злое, красивое и уродливое, на помощь приходили удивительные двухцветные очки.

Но сейчас очков у меня не было. Их должны были заменить опыт, интуиция и потребность, ставшая частью моей жизни, пройти лабиринт до конца. В долгие ночные часы, когда меня мучили бессонница и тупая вязкая тишина, я пытался понять незримую связь времен и поступков, которые сплелись в громадную сеть длиною в сорок лет, и в этой сети были колокола судьбы, муки работы и поиска, сладостность славы, боязнь Ледовой дороги, укрощение голубого крайта, сотни встреч, грусть уходящих дружб, горький осадок озлобления. Потом туда неслышно забрался Минотавр и начал бешено комкать, спутывать, наворачивать на себя эту сеть, стягивая ее хищными яростными рывками — и взбаламутились, перемешались годы, чувства, люди. Ушли на дно, опустились привязанность, память, уважение, любовь — по ним бегали в сапогах и топтались толстыми подметками с шипами какие-то люди, они хватали руками память, тискали, мяли привязанность, ковыряли пальцами уважение, поддевали для верности ногтем любовь — и на поверхность пошла пена — зло, усталость, зависть, страх, обида. В безмолвии и протокольной тишине все бурлило и клокотало, и вновь оглушительно гремели немые колокола судьбы, но их

никто не слышал, потому что все повили бесшумного взбесившегося Минотавра. И старая, очень старая — она сплеталась более сорока лет — сеть времен и поступков не выдержала. С треском разлетелась она на крошечные клочки, и трудно, просто невозможно было связать вновь из этих обрывков человеческих страстей тот громадный мир дружбы, соперничества и неприязни, который связывал когда-то всех этих людей. Сеть перестала существовать, и Минотавр, целый и невредимый, ушел к себе в свои темные глубокие закоулки.

И отступиться сейчас совсем от этого дела я не мог — существуют вещи, которые человек сам себе простить не может. Ведь это я бегал по старой сети в поисках Минотавра, я топтал ее, рвал, тискал, мял, залезал руками в душу — по самый локоть, и простить себе этого я не имел права, потому что Минотавр знал — придет ловец, и эта сеть будет на него. Пришел я — и сеть была уничтожена в прах…

Иконников умер, и больше ни у кого не было нужды, желания да и возможности вновь связать эту сеть. Но в часы бессонницы я понял окончательно и бесповоротно, что связать силок, западню для Минотавра мне удастся только

из обрывков нитей памяти и чувств, которые унесли с собой люди из разорвавшейся навсегда сети длиной в сорок лет и шириной в два таких непохожих человеческих таланта…

Глава 4
У людей долгая память

Паоло Страдивари, много лет назад убежавший в Америку, не погиб на зыбких морских дорогах, не умер от лихорадки в бразильских джунглях и не был повешен корсарами на рее взятого на абордаж галиона.

Он приехал в Кремону, красивый, загорелый, обветренный, хозяином пяти собственных кораблей и счета в «Банко коммерциале ди Наполи». Негоциант Паоло Страдивари: открытый кредит во всех английских и ганзейских торговых домах. И сейчас с усмешкой смотрел на отца.

— Как видишь, ты был не прав…

Отец пожал плечами, упорно глядя в сторону.

— Хорошо, допустим, ты отверг меня и Джузеппе, потому что мы сами распорядились своей жизнью. Но Франческо и Омобоно ведь не нарушили твоей воли — разве стали они прославленными мастерами? Разве они стоят чего-то без твоей славы и богатства?

Паоло говорил спокойно, не стесняясь присутствием младших братьев, как говорят богатые,

уверенные в себе люди. Франческо и Омобоно сидели тихо, не поднимая глаз от пола. Джузеппе быстро перебирал сухими белыми пальцами четки. Антонио посмотрел на Паоло затуманенными прищуренными глазами, будто сын был где-то очень далеко — там, на другом берегу океана, и такой он был крошечный, что никак не мог рассмотреть его мастер своими зеленоватыми узкими глазами. Но ничего не сказал.

— Я знаю, что ты, отец, богат, — продолжал Паоло. — Но я составил бóльший капитал за несколько лет, хотя и не работал, как галерник, за верстаком…

— Зачем ты пришел? — спросил Антонио. — Чего ты хочешь?

— Чтобы ты, наконец, подумал о семье, о нас всех, — зло, с придыханием сказал Паоло.

Старый мастер удивленно поднял брови.

— Да! Да! Да! — закричал Паоло. — Ты никогда не думал о нас, эти проклятые скрипки затмили твой разум, кроме мерзкого визга их, ты ничего не слышишь!

Антонио скрестил на груди длинные сильные руки и смотрел на сына в упор — теперь тот был уже не крошечным, а громадным, и вздымался, как туча над горизонтом.

— Что же должен я услышать? — спросил Антонио.

— Голос разума.

— И этот голос предписывает мне вместе с тобой торговать селедками и возить черных рабов на плантации? — недобро усмехнулся Страдивари.

— А почему бы нет? — распаляясь, упер руки в бока Паоло. — Половина аристократов вышла из негоциантов. А хоть один граф имеет в родословной мастеровых, ремесленников?

— Никак, ты хочешь стать графом? — полюбопытствовал Антонио.

— Я, к сожалению, не успею. Из-за тебя, — зло выкрикнул Паоло. — А дети мои могут стать.

— Что же я должен сделать для этого?

— Мы должны объединить капитал — твой и мой. Мастерскую закрыть, а секреты твои продать: я позабочусь о хорошей цене. Джузеппе не сегодня-завтра будет епископом — он проследит здесь за нашими интересами. Франческо поедет управлять моими плантациями в Бразилию, а Омобоно пусть возглавит наш филиал в Генуе. Я буду руководить делами в Неаполе.

— А я? Что буду делать я? — спросил Антонио, и по лицу его было не понять — согласен он с планом первенца или затея ему не нравится.

— А ты будешь почтенным главой коммерческого дома. Тебе ведь шестьдесят уже? Можно и отдохнуть, позабавиться с внуками. Они, слава богу, не будут знать стыда низкого происхождения. И не надо будет им делать скрипок — если им захочется скрипку, то они ее купят. — Паоло захохотал от неожиданной идеи. — Подумай, отец, сколь славен будет венец твоей жизни, если правнуки Страдивари за громадные деньги будут покупать скрипки, помеченные твоей фамилией!

— Да, мне и в голову не приходило такое, — пробормотал Антонио. — Но надо ведь спросить еще Франческо и Омобоно — согласны ли они?

И перевел на них свой тяжелый немигающий взгляд. Омобоно по-прежнему смотрел в пол, но кончики ушей у него вспыхнули рубинами. Франческо помолчал и, не глядя в глаза, тихо сказал:

— Как будет ваша воля, отец. Может быть, Паоло прав…

Страдивари встал, прошелся по комнате, одернул кожаный фартук, поправил шерстяной колпак, негромко сказал:

— Сегодня я закончил скрипку и назвал ее «Санта Мария». Такой скрипки люди еще не знали. Мне понадобилось сорок лет, чтобы понять

устройство ее души. Я надеюсь, что пройдут столетия, и скрипка эта будет служить красоте мира. И душа ее будет созвучна всему прекрасному…

Паоло сердито качнул головой, скривил угол рта. Отец остановился, посмотрел на сыновей, и голос его грянул пушечным залпом:

— Торгаши! Жалкие! Ничтожные! Паразиты! Воры! Вы украли у меня тысячи часов на вашу учебу, я пахал неустанно пустоши душ ваших, поливал влагой разума, затенял вас от зноя алчности и неверия. И взошли плевелы, ядовитые сорняки! Вам не нужен мир души человеческой, а снищете вы только денег! Рабы! Я мечтал всем вам дать свободу, а вы жаждали цепей! «Граф Паоло»! Вы при жизни предали и отказались от отца своего, Иудиным целованием отдали меня на забвение, предпочли своим ничтожным идолам! За тридцать сребреников хотите вы продать муки мои и терзания, ночи бессонные, дни каторжные, всю нежность и страсть души моей, боль и искания разума моего! Не захотели вы наследовать умение и талант, терпение и труд, за которые обетовано было мне бессмертие, а ищете жадно нелепых почестей от жалких и смешных людей!

Стрелой, со свистом ударила острая боль в сердце, дышать стало трудно — горло стянуло как

ошейником.

— Идите, — сипло сказал Страдивари. — Идите вон. Я не проклинаю вас, ибо вас проклял бог, лишив разума. Живите как хотите…

Много часов просидел мастер в одиночестве, и чувствовал он себя ужасно старым и усталым. Значит, не будет дома Страдивари, не будет династии прославленных мастеров. И никто не скажет никогда про «Санта Марию»: «Это инструмент раннего периода страдивариевских скрипок, изготовлена она дедом». И весь этот дом, старинная мебель, картины, испанская кожа, флорентийская мозаика, венецианское стекло и левантийские украшения — все для того, чтобы его внуки скрыли, кем был их дед? А может быть, и имя его скоро забудут после смерти, рассеются по всему миру его скрипки, растрескается их лак, покоробится дерево, «сядет» звук, охрипнет и исчезнет совсем? Ведь человеческая жизнь, какой бы длинной она ни была, — слишком короткий срок, чтобы проверить судьбу скрипки, которая предназначалась служить века!

Страдивари поднялся в мастерскую, снял с пергаментных петель «Санта Марию», скрипку огромную, таких еще никто не делал. Классический инструмент «аллонж», яростного вишневого

цвета, в нем полыхала «драконова кровь», широкими лучами расходились волокна ласкового клена и светло сияли звездочки твердой, как металл, альпийской ели. Изящные, плавно вписавшиеся в деку округлые эфы. Сильный, уверенный срез завитка и матовая тусклость грифа.

Страдивари прижал скрипку к лицу и услышал в ней тоненький нежный звон. Потом провел по струнам туртовским смычком, и звук полыхнул, как пороховое пламя — быстро и легко, звук метался в мастерской, ему было здесь невыносимо тесно, он был огромен и светел, как рассвет.

Страдивари играл, и постепенно утекали горечь, досада, страх, и как-то сами по себе забылись сомнения — проживет ли скрипка века. Да и какая разница, если точно знаешь, что ты играешь сейчас на скрипке, равной которой нет в мире? И может быть, не будет…

А в небольшом дворике стоял худенький малорослый юноша с огромной головой и завороженно слушал звуки скрипки, доносившиеся из мастерской. Потом стало совсем тихо, на порог вышел слуга и сказал:

— Синьор Страдивари больше учеников не берет…

Джузеппе Гварнери поклонился, поднял с зем-

ли свой мешок и медленно пошел со двора.

Синьор Страдивари, великий мастер! Пошлите людей — пусть догонят, вернут скорей большеголового юношу с впалой грудью! Быстрее, ну, пожалуйста, быстрее прикажите вернуть его, пока он не скрылся за поворотом! Ведь вы больше никогда не увидитесь! Уходит со двора ваша надежда, ваша мечта, свет вашей старости! Неужели вы не слышите в его слабых шагах топота судьбы? Верните, верните…

Нет, Антонио Страдивари уже за шестьдесят, и сегодня был тяжелый день, и он очень устал. Нет сил и нет возможности заглянуть в завтра. Уже темнеет, надо идти отдыхать…

* * *

17 декабря я вызвал на допрос из следственного изолятора Мельника. Для меня вопрос был ясен — независимо от моей точки зрения дело в отношении Мельника будет закончено и передано в суд. Да и серьезных аргументов против этого в высших инстанциях я привести не мог — реальных перспектив по розыску его сообщников и скрипки не было видно.

За время, проведенное в тюрьме, Мельник заметно сник. Он сильно похудел, кожа обтянула

шишковатый мощный череп и повисла на щеках и подбородке, стала она какой-то прозрачно-желтой, как это обычно бывает у людей от недостатка свежего воздуха.

— Что похудели так, Степан Андреевич? Разве кормят недостаточно? — спросил я.

— Достаточно, — сказал он. — Мне разве, старому, много надо? Да и жена моя дважды передачку приносила.

— А в чем же дело?

Мельник пожевал сухими синими губами, глухо сказал:

— Тоска меня забрала совсем…

— Вас в камере не обижают? — поинтересовался я.

— Нет, — помотал он головой. — Кому там меня забижать? Держут-то меня на спецрежиме, вместе с хозяйственными преступниками. Расхитителями, значит, крупными. А они — сами люди тихие, в испуге и томлении проводят дни перед судом…

Зазвонил телефон. Я снял трубку — Белаш. Поговорили о том, о сем, потом он как-то странно замолчал, мне даже показалось, будто нас разъединили, и я крикнул в трубку:

— Алло, алло!

— Да-да, Станислав Павлович, я вас слышу, — сказал Белаш, и мне показалось, будто в голосе его еще плывет паутина сомнения, но он быстро выпалил: — Я, собственно, вот почему вам звоню — видел сегодня Содомского, и он мне сказал, что знает, у кого находится скрипка «Страдивари».

— Да-а? — недоверчиво протянул я и посмотрел на Мельника — он сидел неподвижно, закрыв глаза, весь желто-серый, будто припорошенный пылью, равнодушный ко всему на свете.

— Да, — сказал Белаш. — Не знаю, правда ли это, а может быть, и наврал, но я решил вам позвонить.

— Спасибо, — сказал я и подумал, что никто лучше Белаша не может мне дать совет насчет «утерянной» из репетиционного фонда скрипки: XVIII век, предполагаемый автор — Бергонци. Я внимательно посмотрел на Мельника и спросил Белаша: — Григорий Петрович, а вы далеко отсюда?

— Нет, не очень. А что?

— Вы бы не могли зайти ко мне на десять минут? Больше я вас не задержу, а посоветоваться мне надо с вами позарез.

— Хорошо, — сразу согласился Белаш.

Я положил трубку и снова посмотрел на Мель-

ника — он будто застыл в неудобной, какой-то скрюченной позе на стуле и за все время разговора ни разу не пошевелился.

— Так о чем тоскуете, Степан Андреевич?

Мельник поднял на меня — на одно мгновенье — тусклые глаза, и я подумал, что они тоже как-то уменьшились, потом устало опустил веки и горестно-спокойно сказал:

— Умру я, наверное, в заключении…

— Это почему же? Недавно еще совсем другие речи от вас я слышал.

— Недавно! — усмехнулся Мельник. — Это у тебя — в суете, да беготне, да на воле — месяц не срок. А в камере месяц — срок. Ох, немалый!

— Ну а как же люди года отбывают? Как вы-то будете? Вам ведь за эту кражу, сами понимаете, суд не месяц положит…

— Потом, когда года потекут, — не так тяжко. Привыкнешь. А сейчас тяжело. Лежишь да цельный день думаешь. И мысли-то все противные, горючие — кажись, за месяц-то всю жисть свою семь раз можешь обдумать, коли у тебя все равно дела никакого другого нету. А вот все думается снова да снова и конца-края нет им, мыслям всем этим.

— И что придумал?

— Ничего я не придумал, милок. Только часто вспоминал слова, что от Креста как-то слыхал, — говорил он, человеческая жизнь, как детская рубашка, — коротка и загажена.

— Так ведь вы не ребенок, Степан Андреевич — должны были понимать, что на свою рубашку гадите.

— То-то и оно! Кабы человека, перед тем как он закон нарушил, в тюрьму дня на три отправить — навроде экскурсии, тебе бы совсем дел никаких не осталось. Да только опосля все это до ума доходит — когда весь уже в дерьме топнешь, под самое горлышко подступило.

— Ничего не попишешь, — сказал я. — Урок впредь будет.

Мельник снова усмехнулся, поднял крутую седую бровь.

— Урок, говоришь? С урока этого на погост меня отправят.

— Почему же на погост? Колония — это вам не каторга. Дадут работу по силам, с учетом возраста и состояния здоровья.

— Не каторга, — повторил Мельник. — А что же — Сочи-курорт? Ты-то, чай, на отпуск туда путевку себе не возьмешь?

— Я, между прочим, по чужим квартирам но-

чью не шатаюсь, а, наоборот, вас в них ловлю. Так что мне полагается путевка в Сочи, а вам — в края с более прохладным климатом. Чтобы работать было не жарко…

— Так я работы не боюсь. Тоска меня там заест. Сгибнет тут без меня все хозяйство мое, баба одна не справится. А если Хозяин узнает, что я еще вещичек набрал из квартиры — пошлет Креста, он мне дом сожжет, вот я чего боюся. А все сначала начинать — силов у меня уже нету. И добра, нажитого за всю жизнь, очень жалко. Хоть бы вы Креста споймали — все бы мне спокойнее было. А то, коли я в колонию поеду, а Крест здесь шерудить останется, от одних волнениев помру.

Я посмотрел на его голый череп, прозрачные желтые хрящи торчащих ушей, усохшую желто-серую кожу и почему-то очень легко, с отвратительным неприятным чувством представил его мертвым — его очень легко, до тошноты просто было представить себе мертвым. Передо мной сидел труп. Человек из жадности себя дотла выел.

— Вот, видите, бывает, оказывается, что интересы преступного мира и уголовного розыска совпадают, — сказал я, встал, прошелся по кабинету, подошел к окну. На улица стоял ослепительно яр-

кий, холодный солнечный день, и в этот час мой кабинет освещался таким пронзительным голубоватым светом, будто за окном был установлен «юпитер». У входа в сад «Эрмитаж» разгружали с машин заснеженные елки, бежал по тротуару в одном белом халате студент из клиники мединститута, над его непокрытой головой дымился клуб белого пара, около своих красноверхих «Волг» попыхивали сигаретами таксисты на стоянке, гуськом шли за воспитательницей толсто закутанные малыши из детсада, а она все время оглядывалась на них, быстро постукивая на ходу сапожком о сапожок, и что-то беззвучно кричала им, слов из-за двойной рамы, конечно, не было слышно, но и так было понятно, что кричит она им что-то веселое, подбадривающее, потому что мне и отсюда были видны ее раскрытые в улыбке красные замерзшие губы и сияющий блеск зубов...

Я обернулся к желтому, уже почти умершему Мельнику и сказал:

— Дело по делам, а суд по форме. Прокуратура оформит производство в отношении вас, и дело передадут в суд.

Он рывком поднял голову, и огромные ушные раковины его крутанулись в мою сторону, как у

целевого радиолокатора:

— А как же Хозяин? А Крест? Что же — мне одному кару нести?

В это время в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул я.

Отворилась дверь, и, щурясь после коридорного сумрака от ослепительного света, бьющего через окно прямо в глаза, вошел Белаш.

— Здравствуйте! — сказал он и потер рукой глаза, пытаясь нас рассмотреть.

Мельник поднял на него равнодушные, мертвые глаза и безразлично опустил голову. Я пошел от окна навстречу Белашу, а он, окинув взглядом кабинет, увидел сидящего у стола Мельника.

И пока Белаш шел ко мне, протягивая руку, глаза его бессознательно вцепились в бесформенную, как оползень, фигуру старика. Вся комната — длиной пять метров, и мы шли друг другу навстречу, протягивая руки, так что все это длилось, может быть, две секунды, ну три — от силы, но для меня время с грохотом треснуло, задребезжало, оно взвизгнуло лопнувшей пружиной будильника, оно закричало мне: «Я — остановилось! Все остальное недействительно, все остальное — вне Меня — Времени, потому что сейчас существуют только две секунды вашего пути по крошечному

пространству этого кабинета!»

Не знаю, не помню, хоть убейся, не могу я сказать, какое лицо было у Белаша в это микроскопическое мгновение остановившегося времени, я запомнил только его глаза и руки — ведь я много раз до этого рассматривал его красиво прорезанные умные глаза с тяжелым ироничным прищуром чуть синеватых век. Чужие были глаза у него в это мгновение, будто впопыхах, собираясь на маскарад, он нацепил полумаску, скрывшую лицо, и остались только две узкие прорези, в которых метались сумасшедшие зрачки человека, обезумевшего от тоски, ужаса, бессилия. Как будто не Мельник, раздавленный, почти мертвый от жадности, стыда и горя старик, а клацающий зубами Минотавр изготовился для прыжка со стула с жестяной инвентарной биркой ХОЗУ — такие глаза были у Белаша, и я не слышал ничего, я просто оглох на эти секунды остановившегося времени, потому что в голове гремел, постепенно затихая, усталый, тусклый голос Белаша — «…плотью живой он в живую могилу уходит…». И протянутая мне рука — тонкая, с длинными сильными пальцами, покрасневшими от мороза, — тряслась.

Все это длилось две, ну от силы три секунды, по-

тому что Белаш оторвал, наконец, непослушные, живущие отдельной жизнью глаза от Мельника и, мучительно разорвав в улыбке рот, сказал мне:

— Холод сегодня на дворе ужасный…

— Да, холодно. Вы знаете этого человека, Григорий Петрович?

Белаш уже пришел в себя и, повернув голову к Мельнику, сказал неуверенно:

— Я даже испугался в первый момент — мне показалось, что я его знаю.

— А почему испугались?

Белаш посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него обычные — как всегда спокойные, иронически прищуренные, он зябко потер руки, достал сигарету, чиркнул зажигалкой, и я увидел, что руки тоже больше не трясутся.

— Мне показалось, что я его как-то видел дома у Иконникова.

— Показалось? Или действительно видели?

— Вообще-то сильно похож, хотя категорически утверждать не берусь.

Мельник настороженно поднял голову:

— У какого еще Иконникова?

Я быстро прошел за стол и сказал:

— Гражданин Мельник, гражданин Белаш —

между вами будет произведена очная ставка…

Мельник совсем пробудился от своего анабиоза. Его глубокие хищные глазки ожили, блеснули острым недобрым светом, задвигались каменные желваки на скулах, даже лысина слегка порозовела. Он раздельно сказал:

— Скрипку найти не можете, так решили на меня все сразу навесить?

— Мельник, я попрошу вас помолчать сейчас. Отвечать будете только мне и только на мои прямые вопросы. Гражданин Белаш, знаком ли вам этот человек?

Белаш внимательно вгляделся в Мельника еще раз и твердо сказал:

— Сейчас, когда он заговорил, я, пожалуй, с уверенностью могу сказать, что именно его я видел однажды у Иконникова.

— Иконников вас с ним познакомил? — спросил я.

— Нет.

— Когда это произошло?

— Около полутора месяцев назад.

— При каких обстоятельствах?

— Я пришел в гости к Иконникову — это было незадолго до кражи скрипки, и застал у него этого человека. Он уже уходил и был в пальто. Поэтому

я его сразу и не узнал — в этом тулупе. Иконников сказал ему на выходе, чтобы он пришел в другой раз. Вот и все.

— Вы не заметили, в каком пальто был этот гражданин?

— Какое-то темное пальто. Обычное. Я не очень к нему приглядывался — у Иконникова кого угодно можно было встретить.

— Хорошо. Гражданин Мельник, вы подтверждаете слова этого гражданина?

— Сдохнет он пущай раньше, чем я ему такую брехню подтверждать стану! — с остервенением сказал Мельник. — Я его первый раз в глаза вижу!

— Вы были знакомы с Павлом Петровичем Иконниковым?

— И не слыхал в жизни про такого! — рубанул ладонь в ладонь Мельник.

— Как же не слыхали, когда вы на его имя отправляли письмо? — спросил я.

— А-а! Вы про энтого? Да я и забыл ужо! — немного растерялся Мельник. — Письмо опустил да позабыл! А видать в жизни не доводилось! — И, приложив руку к сердцу, заверил: — Поверьте, не вру. Ей-богу…

— А может, доводилось, да позабыли — как с

письмом?

— Не видал, не знаю, не бывал! Сказал — и баста! — заорал в голос Мельник.

— Ну-ка, тихо! Тихо! — угомонил я его. — Значит, записать, что Иконникова вы никогда не видели и сидящего перед вами гражданина Белаша тоже не знаете?

— Точно. Так и запиши.

Белаш пожал плечами и совершенно спокойно сказал:

— Могу дать голову наотрез, что это был именно он…

— А что? Удивление — это эмоция положительная, — засмеялся комиссар.

— Ничего себе — положительная! Я думал, его от испуга кондрашка хватит.

Комиссар сдвинул на лоб очки, прищурился хитро:

— Так он и на испуг законные скидки имеет: у тебя в кабинете не Поляков сидел. А человек, которого он видел у Иконникова незадолго перед кражей, после чего — тоже вскоре — Иконников умер. Тут его понять можно: состояние у него душевное сейчас препаршивое. Ты не задумывался, почему Содомский говорил именно о Белаше?

— Мне кажется, он наводил меня на него. Про

Дзасохова Содомский прямо сказал: мог украсть, и видел, что я ему не поверил. А рассуждения о Белаше были много тоньше. Противный человек этот Содомский. Может быть, профессия накладывает отпечаток?

— Почему профессия? — не понял комиссар.

— Ну, все эти уверточки, «вам билетик оставлю, вам достану, не будем друг на друга в обиде, я вам — вы мне»…

— Это ты брось, — махнул рукой комиссар. — Род занятий к душевной силе не имеет отношения: Кузьма Минин до того, как Русь освободил, мясом на рынке торговал. А то, что Содомский противный — это не основание полагать, будто он участвовал в краже.

— А старая скрипка?

— Вот именно. Я у тебя как раз хотел спросить — что старая скрипка?

— Хочу подготовить план параллельного оперативного поиска.

— Правильно, — кивнул комиссар. — Только не параллельного. В параллельных электрических цепях напряжение тока падает. Ты сначала мне «Страдивари» найди, а потом уж этой занимайся.

— А если Содомский примет пока что контрмеры?

— Дудки. Это ты был прав, что ему новый хозяин скрипки в жизни ее теперь не вернет. Да и денег у Содомского таких нет, чтобы скрипку назад выкупить. Он ведь, в общем-то, вместе со своей нерповой шапкой и мудрой философией — босяк. Хватает, где может, на удовлетворение микроскопических страстишек. И еще… — Комиссар закурил, отогнал дым от глаз и закончил: — Это ведь ты ему только на бумаге так гладко объяснил, что мигом скрипку сыщешь. А как там, на ухабах, будет, совсем еще неизвестно. Так что вопрос пока отложим. Пока отложим…

Зазвонил телефон. Комиссар снял трубку:

— Да. Слушаю. Здравствуйте. А, знаю… Мне докладывали уже. Ну и что? Хороший он футболист, за «Динамо» играет, знаю, незаменимый нападающий. Да вы меня напрасно уговариваете — я за «Спартак» болею… Ага… Ах, серьезно?.. Так вот, если серьезно, то вам надо было раньше заботиться — мои ребята его третий раз в пьяном виде в кафе «Лира» забирают… Да-да-да, оформим его по мелкому хулиганству, как из пушки… Пусть метлой на улице помашет, подумает, как жить дальше… А вы пожалуйтесь на меня — МВД СССР, улица Огарева, 6… Вот так… А вы думали?.. Всего хорошего…

Комиссар в сердцах брякнул трубку на рычаг.

— Адвокаты. Заступники. Заразы. Им бы только голы, чтобы он забивал, а там хоть трава не расти. То, что он в тюрьму попадет при таком поведении, это чихать! Ну ладно, что ты говорил?

— Третий месяц сегодня пошел со дня кражи, — сказал я расстроенно. — И за такой громадный срок — такие результаты.

— А какие результаты? — сердито спросил комиссар, как будто успехов у нас полно и надо только бабки подбить для победных реляций.

— Перепуталось все окончательно. Вороватый человек Содомский наводит нас на Белаша, Белаш опознает Мельника, а тот, мечтая, чтобы мы побыстрее нашли Креста, в то же время категорически отказывается от знакомства с Иконниковым. Черт те что! Какая-то игра в бирюльки у меня получается…

— А ты видел, как в бирюльки играют? — невинно спросил комиссар.

— Разве есть такая игра? — удивился я. — Я думал всегда, что это фигуральное выражение.

— Есть, — качнул головой комиссар. — Навалом складывают в тарелку маленькие причудливые игрушечки — бирюльки. И палочкой с петлей их надо все оттуда вытащить так, чтобы не по-

тревожить остальные. Большо-ое терпение для такой игры надо! Терпения и трудолюбия тебе не хватает.

— Мы и так работаем по вашей любимой схеме — пораньше начать, попозже кончить, зато без перерыва. Куда уж больше!

— Не знаю. Может быть, еще два часа надо. Откуда мне знать — ты ведь в розыске хозяин. Сам и решать должен.

— Но дело не в количестве работы! Тут новая идея нужна! А никаких подступов не видно.

— Не видно, говоришь? А жаль — я бы шофера своего, Лешу, послал туда, где видно, он бы мне скрипку и доставил. А результаты есть — и не малые.

— Какие?

— В этой еще недавно монолитной стене появились трещины. Надо теперь просто работать — день за днем расширять их, углублять, пока вся эта конструкция не завалится.

— Хорош совет! Надо ведь трещину угадать! Только одна ведет к тайнику, а остальные-то — в никуда!

— А раньше все вели в никуда! — сказал комиссар. — Вопрос у меня к тебе: почему Белаш раньше не говорил, что Иконников был его учителем?

— Не хотел, чтобы люди этого круга знали — это была воля Иконникова.

— А ты разве в филармонии служишь? Я перечитал его показания — не так он защищал своего учителя, как мне бы этого хотелось! В жизни всякое случается, и я бы не хотел, доведись такое, чтобы ты меня так защищал!

— Не обязательно защищать, захлебываясь от восторга, — сказал я.

— Конечно, если бы ты в жюри на конкурсе заседал, а Белаш докладывал об исполнительских заслугах Иконникова. Но ты-то допрашивал Белаша по ситуации, которая сводится к общему знаменателю — мог украсть Иконников скрипку или нет.

— Белаш и заявил категорически: нет, не мог.

— Верно, заявил. Но все равно меня что-то коробит во всем этом. Я бы на твоем месте поглубже выяснил вопрос взаимоотношений Иконникова и Белаша.

Я помолчал, покрутился, потом сказал:

— Не думаю, чтобы это было целесообразно.

— Дело хозяйское, — пожал плечами комиссар, — А почему?

— Во-первых, это значит, что я пойду на поводу у Содомского, а один раз нас уже навели на

Иконникова. Во-вторых, Иконников мертв, и я неизбежно вернусь к Белашу. Круг получится.

Комиссар встал, в задумчивости походил по своему просторному кабинету, подошел ко мне и положил руку на плечо:

— Я ведь не утверждаю, что обязательно что-нибудь найдешь. Но трещины нельзя оставлять без внимания. И Белаш — вовсе не единственный источник информации об их отношениях с Иконниковым. Они ведь не из лабораторной колбы вылупились накануне кражи. Они жили среди людей, а у людей до-о-лгая память. Много чего они помнят, потому что мы и в чужой жизни оставляем семена своих поступков — добрых и злых. И проходит иногда много лет, пока эти семена дают росток. Мы уже и сами-то забыли, а люди помнят, потому что — сорняки ли, злаки ли, а взошли они на их земле…

Я не мог найти никакого логического объяснения испугу Белаша. Скорее всего он действительно видел Мельника у Иконникова. Но его волнение при встрече с Мельником у меня все равно было неадекватно тем переживаниям и неприятным чувствам, которые эта встреча могла вызвать.

С другой стороны, мне было абсолютно непонят-

но поведение Мельника — почему он отпирается от знакомства с Иконниковым? Какая ужасно нелепая мешанина…

Я раздумывал об этом, сидя в преподавательской комнате Центральной детской музыкальной школы, где я дожидался Николая Сергеевича Трубицина — преподавателя класса скрипки. Около семнадцати лет назад он писал характеристику, которую я нашел в архивном деле абитуриента Г. П. Белаша в приемной комиссии Московской консерватории.

— Белаш? Конечно, помню! Это, так ска-ть, был мальчик исключительный. Так ска-ть, в смысле музыкальных способностей и человеческих свойств характера…

Худощавый белокурый человек совершенно неопределенного возраста, Николай Сергеевич Трубицин относился к той категории застенчиво-нервных людей, для которых вступление в контакт с любым новым знакомым мучительно. Такие люди, испытывая болезненную неуверенность в себе и своих поступках, в своих выводах и решениях, обычно изо всех сил стараются в первые же мгновения знакомства скорее понять своего собеседника, выбрать подходящий ключ поведения. От этого они — погруженные в свои

размышления — невнимательны, рассеянны, сбиваются с нити своего изложения и, пытаясь сосредоточиться, беспрерывно загружают руки какой-то ненужной работой: потирают виски, поправляют очки, листают перед собой бумажки, крутят карандаши и, что самое главное, все время отводят в сторону глаза, из-за чего невольно создается впечатление, что тебя обманывают или недоговаривают чего-то важного.

— …Не помню сейчас точно, не один год уже, так ска-ть, прошел, а звали его Гриша. Это ведь, так ска-ть, распространенное имя?.. Мы с ним, так ска-ть, не один год здесь вместе провели…

— А точнее вы не можете вспомнить?

— Почему же не могу? Конечно, так ска-ть, могу. Он выпуска 1957 года, а работал я с ним, так ска-ть, четыре года — значит, он пришел, так ска-ть, в 1953-м.

— Встречались ли вы после того, как он окончил школу?

— Нет. То есть да. Так ска-ть, случайно, один раз. Два года назад.

— Как бывает в таких случаях, обменялись приятными воспоминаниями об ушедших годах? — настырно спросил я.

— Да. То есть скорее нет. Ему помешало… Так

ска-ть, обстановка была неподходящая.

— Какая же это обстановка может помешать разговору со своим бывшим учителем? — изобразил я невероятное удивление.

— Видите ли, я его, так ска-ть, не осуждаю. Я даже, упаси бог, не подумайте только, не обижен нисколько. Я доволен, так ска-ть, что хоть помнит меня. А разговаривать со мной в тот вечер ему, так ска-ть, недосуг было…

— А что за вечер был?

— Да, ей-богу, и говорить-то не о чем! Это был, так ска-ть, в некотором роде юбилей — тридцать лет нашей совместной жизни с супругой. Отметить мы решили, так ска-ть, в ресторане. Премило посидели, так ска-ть, помянули ушедшие годы, со всем былым добром и горем. И увидел я там Гришу. С компанией, так ска-ть, он был там. Я к нему, так ска-ть, бросился, а он говорит — я к вам, Николай Сергеевич, позже подойду, так ска-ть. Узнал я его сразу — совсем он мало, так ска-ть, изменился за это время. Хотел я его расспросить — как живет, что поделывает, но не подошел он, времени, так ска-ть, не хватило. Прислал к нам с супругой на стол бутылку шампанского. А сам, так ска-ть, на пришел…

— Да-а, некрасиво получилось, — покачал го-

ловой я.

— Нет! Нет! — замахал руками Трубицин. — Вы не подумайте только, что я жаловался, так ска-ть! Ведь сколько лет прошло, забывается многое. Исполнена забот, хлопот и волнений человеческая жизнь. Ну учитель, так ска-ть! Мало ли их по нашей жизни проходит — всем благодарности не накопишь, каждому памяти не сохранишь!

— А ученик он был хороший?

Трубицин потер лоб ладонью, будто вспоминал, хотя ничего он не вспоминал, а просто хотел поточнее сформулировать свою мысль.

— Ученик он был неважный. А музыкант — исключительно способный. Он был, так ска-ть, безусловно талантливый молодой человек.

— А в каком же смысле он был неважный ученик?

Трубицин снял очки, быстро протер стекла, вновь надел их, забарабанил сухими, желтыми от канифоли пальцами по столу, и на лице его было мучительное непонимание этого разговора, которое прорастало из тех далеких пор, когда он стремился и не смог понять своего талантливого и нерадивого ученика.

— Вы курите? — спросил он.

Я отрицательно качнул головой.

— Вам не помешает, если я буду курить? — сказал он, будто я был хозяином в этой маленькой комнате с гипсовым бюстиком Чайковского и портретом Глазунова.

Трубицин достал из кармана пачку папирос «Север», и я обратил внимание, что, хотя в пачке осталось всего несколько папирос, пачка была аккуратна и не смята, как будто он только что ее распечатал. И весь он был такой аккуратный, скромно одетый, и на стареньких брюках была такая точная ровная стрелка, и говорил он так застенчиво-тихо, подбадривая самого себя бесконечными «так ска-ть», что мне все время хотелось похлопать его по плечу — ну давайте же, смелее!

— Этот мальчик с первого взгляда, так ска-ть, произвел на меня большое впечатление. В любые, самые элементарные композиции, так ска-ть, он умудрялся внести что-то свое. Как бы это выразиться — он ненавидел прописи. И на этой почве мы с ним все время ссорились. Я твердо знаю, так ска-ть, что человек способен на открытие нового только тогда, когда он в совершенстве знает старое. И я постоянно с ним бился, доказывая это, а он все время внутренне, так ска-ть, ну, как бы… усмехался. Я чувствовал это. Я чувствовал, что мои усилия словно натыкаются на несокру-

шимую стену, и это не могло быть, так ска-ть, простое детское упрямство или непризнание авторитета взрослых…

— А что же? — спросил я.

— Мне казалось, особенно в последнее время, что за этим упорством есть убеждение, построенное на вере. В себя или в какой-то другой, неизмеримо больший, чем у меня, авторитет.

— Как это выражалось?

— Так ска-ть, в неприятии моей методы. Мы бились, например, с ним над какой-то вещью, и я, так ска-ть, убеждал его, показывал, объяснял, и он соглашался, и мы добивались нужного, с моей точки зрения, акцента, интерпретации, смыслового прочтения, наконец, решения техники исполнения. Через несколько дней возвращались — и он играл совершенно по-другому…

— Хуже?

— Нет. Но совсем, так ска-ть, по-другому. И было в его игре очарование таланта, ужасно непривычная и свежая манера, и его игра мне все время напоминала что-то слышанное уже или, может быть, это мне казалось, но я затрудняюсь вам объяснить это — я боялся с ним спорить, потому что нечто подобное, необычайно сильное, уверенное, апробированное талантом и вдохновением я уже

когда-то слышал. Иногда мне казалось, так ска-ть, что он знает больше меня и потихоньку посмеивается надо мной. Это большое, так ска-ть, не по годам знание меня пугало. Я боялся за него…

Трубицин вновь снял, протер очки, и когда он опять приспособил их на переносицу, я подумал, что в очках он похож на молодого актера, которому специально надевают очки, чтобы сделать его старым, но старым он от этого не становился, а просто возникает обозначение — этого молодого человека надо считать старым.

— …И скоро мои опасения стали сбываться. Хотя и в неожиданном, так ска-ть, направлении. В его поведении появилась какая-то бесшабашность, залихватство, неудержимое стремление показать, что ему все доступно, что он может все. Наверное, в это время он мечтал стать, как легендарный тамбур-мажор Иван Степанович Лушков, ростом в два с половиной метра — тогда бы его все замечали и видели, знали, что он есть. Однажды меня вызвали в милицию и сказали, что его привлекают к суду за хулиганство. Со своими приятелями он совершил вещь непостижимую…

Даже сейчас, спустя почти два десятка лет, от воспоминания о том, еще неизвестном мне, безобразии Николай Сергеевич Трубицин задох-

нулся в волнении.

— А что же они сделали? — поинтересовался я.

— На углу Сретенки и Рождественского бульвара у троллейбусной остановки сидел в будочке старый усатый чистильщик обуви — айсор. Белаш с приятелями привязали веревку к стенке будки, а другой конец накинули на крюк троллейбуса. Когда машина отошла от остановки, то она, естественно, поволокла за собой по улице будку с вопящим айсором и до смерти перепуганным клиентом…

Я представил себе эту картину и невольно улыбнулся. Трубицин удивленно посмотрел на меня:

— Вы смеетесь? Вы находите это смешным?

— Ну, есть же безусловно смешные вещи, — пожал я плечами.

— Я вас не понял. Как можно смеяться над хулиганским поступком? — взволнованно спросил Трубицин. От этого настоящего волнения — по существу рассказа — он даже потерял свои бесконечные «так ска-ть».

Я попытался оправдаться:

— Помимо умысла существует внешняя сторона поступка. Мы же с вами смеемся в цирке, когда один клоун ударяет другого так, что тот делает три кульбита. А когда такое происходит на

троллейбусной остановке, оно квалифицируется как хулиганство.

Трясущимися пальцами Трубицин снял очки и близорукими глазами, сильно щурясь и чуть-чуть подмаргивая, внимательно посмотрел мне в лицо, и от этого пристального подслеповатого внимания я показался себе маленьким, прыгающим, как блоха.

— Я тоже был молодым, так ска-ть. И был подвержен всем устремлениям, свойственным юности. Но я никогда не мог допустить такого возмутительного поступка. Белаш ведь должен был понимать, что это не только обидно, но и опасно в конце концов…

Он весь был маленький, возмущенный, встопорщенный и в то же время все равно оставался очень аккуратным. Он все время ходил по комнате, наверное, чтобы не садиться и не измять строгую, как меридиан, линию своих стареньких заглаженных брюк. И я подумал, что его наверняка обижали мальчишки — его сверстники, и потом пытались подшучивать над ним ученики. И хотя ему было не меньше пятидесяти, он все равно казался мне совсем молодым. Трубицин был молод особой, старообразной принципиально-запальчивой молодостью, в

которой всегда есть покушение на несостоявшуюся значительность, подчеркнутая серьезность, взращенная сознанием своей совсем маленькой ответственности. И все это — тонкая, хрупкая броня, звенящая от постоянного напряжения, как молодой лед. Потому что внутри — очень нервная, испуганная, легко ранимая сущность ребенка, которому было ненавистно и страшно его физически немощное детство и неприятна затравленная многочисленными комплексами юность, поскольку эта пора требовала от него непосредственности, самостоятельных решений и силы воли. Он вырвался из детства, как из тесной рубашки, чтобы скрыться в обезличивающем балахоне взрослости.

Трубицина пугали мальчишеские выходки Белаша и скрипичный почерк Павла Иконникова, который он каждый день слышал на занятиях с мальчиком и не мог вспомнить, и не мог принять этого волнующего и мощного, как подводное извержение, влияния, но оно было сильнее всех его устремлений, и он, даже не подозревая об этом, вел заочный бой с таким скрипачом и человеком, как Иконников. И, не понимая, каждый день все острее чувствовал свое поражение, и эта необъяснимость повседневного ухода его ученика в

какие-то неизведанные им самим миры угнетала, и сводила на нет все его миропредставления, и с пугающей ясностью ставила вопрос о том, что в юности можно быть и не таким, каким был он, Николай Сергеевич Трубицин…

— Чем же закончилась эта история? — спросил я.

— Школа заступилась, их оштрафовали и отпустили. Через несколько дней Белаш выступал на Московском фестивале юных музыкантов и получил первую премию. А через месяц сдал конкурсный экзамен в консерваторию по классу скрипки…

— Однако, кроме экзамена по специальности, он больше ничего сдавать не стал. С чем это было связано?

— Ах, если бы я знал! — взмахнул руками Николай Сергеевич. — Он ведь уехал, даже не попрощавшись со мной. При всей эксцентричности его натуры этот поступок для меня до сих пор непостижим. Человек с его способностями, с его интересами и склонностями вдруг в одночасье собирается и уезжает работать на целину! Тогда это, правда, было модно, но ведь он должен был сдавать экзамены в консерваторию!

— И больше вы не виделись?

— Нет. Кроме того нелепого случая в ресторане. Я понимаю, что он мог быть занят, но я ведь и не требовал много — я просто хотел узнать о нем что-нибудь.

И как-то робко добавил:

— Я все-таки в него много сердца вложил. Это был один из самых способных мальчиков, которых мне довелось учить…

В этот момент мне стало его остро, просто болезненно жалко — такой он был маленький, потерянный, униженный чужой сухостью и неблагодарностью.

— Знаете, ведь мать Белаша одна воспитывала своего сына. Я не знаю деталей, но отца в семье не было. А воспитание она давала сыну кошмарное. Любое его требование выполнялось, хотя для этого ей приходилось работать нечеловечески.

— Чем она занималась?

— Она была тогда аккордеонисткой в джазе ресторана «Нарва». Пока Гриша учился у меня, я много раз говорил с ней и после каждого разговора ужасался: при таком воспитании сын должен был вырасти черт знает кем, а вырос немного балованный, но в целом добрый мальчик.

— А что вас ужасало?

— Все. И в первую очередь низкая культура,

помноженная на мелкопотребительскую философию. Каждого человека, который не умел устроить что-либо «по блату», она называла придурком. И что самое ужасное — она говорила это при сыне, совершенно не скрывая низменности своих воззрений. Я с ним отрабатывал пассажи повышенной сложности, чтобы расковать пальцы, а она ему говорила — выучишься на виртуоза, будешь по заграницам кататься. Я ей говорю, что великий виолончелист Карл Давыдов никогда так не играл за границей, как он блистательно играл на родине, а она мне в присутствии сына отвечает: другие были времена и совсем другие заработки.

— Так что она вам тогда сказала по поводу отъезда сына?

— Что сама не знает, почему и куда уехал Гриша. Но я не верил ей. Такая мама, случись это без ее ведома, Совет Министров подняла бы на ноги. А она — нет, ничего… И я понял, что решение об отъезде было принято ими совместно.

— А почему вы решили, что она тяготится вашими визитами?

— По тону, по тому приему, что она мне оказывала. Наконец, однажды она мне сказала: «Что вам, больше всех надо? Без вас не обойдется?..» И

я перестал туда ходить. А спустя два года я узнал, что у Белаша был тяжелый перелом левой руки, вызвавший контрактуру пальцев.

И сразу же в коридоре задребезжал, забился звонок — кончился урок, перемена. Мы проговорили ровно один урок. Академический час. Бесплатный урок по музыке, этике, человеческой памяти, преподанный мне во время «окна» педагогом по классу скрипки Трубициным, добрым, слабым, аккуратным человеком, так и не узнавшим, к счастью, что семнадцать лет назад его сердце, вложенное в ученика, было нужно только для получения аттестата перед конкурсным экзаменом.

Глава 5
Бабка Трумэна

Какая честь! Какое уважение! Какая милость оказана бедной семье Гварнери! В их убогий дом пожаловал в гости сам каноник прихода святого Доната монсиньор Джузеппе Страдивари! Простите, монсиньор, у нас здесь темно и грязно, вот сюда садитесь, пыль уже смахнули… А не желаете перекусить? У нас, правда, только сыр и помидоры, спасибо, вы — истинно добрый человек…

Молодой Гварнери не садился. Он стоял, прислонившись спиной к стене, а голова кружилась, в глазах вспыхивали ослепительные круги и тяжело теснило в груди. И когда вытирал платком рот, на полотне оставались черно-алые пятна. Отец толкнул его в бок:

— Приглашай, не стой чурбаном. Видишь, какая радость в доме. Известный своей святостью отец Джузеппе пожаловал.

Джузеппе Страдивари сказал ему не громко и не тихо, не сердито и не ласково, а так, мертвым каким-то голосом:

— Оставьте нас, почтенный Гварнери. Мне надо

поговорить с вашим сыном.

Захлопнулась дверь, и монах все тем же безжизненным голосом спросил:

— Джузеппе Гварнери, ты можешь сделать скрипку лучше, чем делает мой отец — Антонио Страдивари?

Юноша устало опустился на лавку, с интересом глянул своими быстрыми черными глазами на монаха.

— Ваш отец — гений, монсиньор.

— Это не ответ.

— Кто знает себя, монсиньор? — Гварнери улыбнулся. — Есть талант, или это только кажется? Ваш отец…

— Гордыня богопротивная обуяла моего отца и затмила разум его. А что ты думаешь о себе?

— Не знаю. Может быть, с годами я смогу построить скрипку, подобную инструментам вашего отца.

— Что мешает тебе?

— Нищета. Я не могу даже купить потребных мне материалов.

— А если найдется человек, который даст тебе денег?

— Я всю жизнь молил бы за него бога и славил его доброту звуками своих скрипок.

— За твое усердие и за твои способности ручается купец и посредник Дювернуа.

— Что толку? — с досадой воскликнул Гварнери. — Он сам разорен и не может мне дать ни одного байокко.

— Его деньги и не нужны, — усмехнулся монах. — Нужно было только его мнение знатока.

— Разве кто-нибудь хочет одолжить мне денег? — с испугом и надеждой спросил Гварнери. — Разве есть такая добрая душа на свете?

— Есть. Но в суете мирской мы часто забываем о том, кто печется о нас денно и нощно и ведет нас за собой к свершению, — сказал тихо Джузеппе Страдивари. — Орден Иисуса именем божьим протягивает тебе руку помощи в минуту тягостных испытаний и сомнений.

Из бездонного кармана сутаны монах достал и бросил на стол туго набитый кожаный мешочек.

— Здесь тысяча пистолей. Ты сможешь открыть мастерскую и делать скрипки, которые восхвалят своим пением имя божье и добрые дела его верных слуг.

Гварнери пал на колени и стал исступленно целовать худую белую руку Джузеппе. Слова благодарности сбивались у него в горле, он хотел сказать, как счастлив, как высоко он ценит эту

безмерную помощь, что он все, до последнего гроша вернет с низким поклоном любви и веры, но слова все забылись, перемешались, и только больно и сильно клокотали в узкой, впалой груди, и светлые слезы безостановочно катились из глаз.

Монах встал, сухо сказал:

— Не благодари меня. Я действую по воле всевышнего и от имени господа нашего Иисуса Христа. Да, хорошо, что я не забыл: тебе надо подписать бумагу. Ты учен грамоте или тебе прочитать?

Гварнери трясущимися от радости руками развернул свиток, торопливо кивая:

— Да-да, я знаю грамоту…

Буквы прыгали перед глазами, не хотели выстраиваться в строчки, и, медленно шевеля губами, Гварнери углублялся в их страшный смысл, но не хотел, не мог поверить…

> «…В течение пятнадцати лет, считая со дня сего, я, Джузеппе Гварнери, внук Андреа, жертвую приходу святого Доната все инструменты, сотворенные мною в знак благодарения за милость, ниспосланную мне всевышним, на укрепление дела

и веры, отстаиваемых святым орденом Иисуса Христа — истинным служителем веры, осененным подвигами и мученичеством нашего достославного пастыря Игнациуса Лойолы… И клянусь клятвой крови подписывать все свои инструменты именем своим, освященным именем страдальца за грехи человеческие, — Джузеппе Гварнери Дель-Джезу…»[1]

— Как же это? — шептал помертвевшими губами Гварнери. — Я ведь хочу, чтобы на них играли люди…

— На них будут играть достойные люди, — сказал Джузеппе Страдивари. — Церковь позаботится об этом.

— Но я не могу продать себя на пятнадцать лет! — в отчаянии выкрикнул Гварнери. — И я хочу знать, что станет с моими скрипками…

— Мы отданы богу на всю жизнь, и тебе оказана большая честь служить ему. И если ты не сможешь оценить милость, то умрешь в нищете и забвенье…

— Но у меня плохое здоровье — я не знаю, про-

---

[1] Примечания: 1
Дель-Джезу — сын Иисусов.

живу ли я больше пятнадцати лет. Неужели я никогда не смогу работать для себя?

— Ты работаешь для бога, и эта участь много слаще. Пусть волнует тебя одна забота — твои скрипки должны быть лучше, чем у моего отца.

— Но зачем вам это надо? — с недоумением спросил Гварнери.

— Он забыл бога. И если ты станешь таким же мастером, то впереди тебя пойдет церковь, и ты будешь единственным. Один лучший мастер мира. И пусть лучшие скрипки мира славят господа.

Будущее скрыто от человеческих глаз. И монах Джузеппе Страдивари был человек, и не мог знать он, что, замышляя против отца своего, он уготовал ему окончательное бессмертие, и, собирая для ордена иезуитов скрипки Гварнери, он не сможет упрятать самую лучшую, которую на весь мир прославит гонимый и проклятый иезуитами безбожник и враг церкви — Никколо Паганини…

* * *

В Центральном адресном бюро мне сообщили, что Белаш до переезда в свою нынешнюю квартиру в Брюсовском переулке проживал в квартире 29 дома 15 по Рождественскому бульвару. Дом

был расположен на территории 18-го отделения милиции. В этой же зоне произошел эпизод с айсором, его будкой и троллейбусом. И я пошел в 18-е отделение.

Я и сам не знаю, что рассчитывал найти — вряд ли за столько лет там остался хоть один старослужащий. Кто-то пошел на повышение, кто-то переехал на новое место жительства и работает ближе к дому, остальные демобилизовались. Все-таки семнадцать лет прошло. Это очень много времени, семнадцать лет…

А мне надо было разыскать тех ребят, с которыми Белаш семнадцать лет назад привязал канат к будке айсора. Этот канат уходил в прошлое, в юность, с детства устоявшиеся привязанности, в мальчишескую дружбу, не знающую секретов, в совместное обсуждение планов жизни, общие радости и солидарное решение горестей. Эти мальчишки были связаны канатом своей дружбы прочнее, чем они привязали будку к троллейбусу. Они обязательно должны были знать, почему их друг Гришка Белаш так внезапно изменил свои планы, причем планы незаурядные, и уехал на целину, откуда вернулся уже с необходимостью оставить эти планы навсегда. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы вдруг из-

менить так решительно свой жизненный курс.

Я знал, что книги регистрации происшествий не имеют сроков хранения, они лежат в архиве вечно. Но книга регистрации содержит очень скупые сведения и отсылает к материалам дела. Вот дела только этого не было.

Начальник уголовного розыска отделения, молодой парень с университетским значком, просматривавший вместе со мной старую книгу за 1954 год, спросил:

— А в каком месяце это произошло?

— Не знаю. Но я думаю, надо смотреть что-нибудь с апреля — зимой редко пользуются услугами чистильщиков.

Медленно листали мы страницы, старые, волглые, с завернувшимися уголками, засаленные на краях, в чернильных кляксах и бурых каплях грязи — печальную летопись неправильного поведения людей на территории с населением немного меньше, чем в Люксембурге. Муж избил жену… Украли сохнущее на чердаке белье… Учинили драку в пивной на Сретенке… Доставлен и предупрежден о систематическом нарушении положения о прописке… Задержан в автобусе во время карманной кражи… Из ларька похищено семь бутылок вина «Кюрдамир»… Сосед вышиб

дверь в ванной… Вырвал сумку из рук и скрылся… В трамвае «А» нецензурно выражался, будучи в пьяном виде… Несовершеннолетние из дома тринадцать угнали голубей… Пропал ребенок семи лет… Падерин, пытаясь привлечь внимание Кононовой, выстрелил через окно в ее комнату из ракетницы, чем вызвал пожар… Доставлен пьяный водитель автомобиля «Победа»…

…12 мая, 17 ч. 20 мин. — несовершеннолетний Белаш и еще двое неустановленных граждан привязали будку чистильщика к троллейбусу, что вызвало волочение будки по проезжей части улицы Сретенка вместе с чистильщиком и обслуживаемым клиентом. Материал передан участковому…

Вот и все. Материал был передан участковому, который наверняка очень быстро установил личности двух «неустановленных граждан» и, учитывая, что эти личности ранее не судимы, школой и по месту жительства характеризуются положительно, в совершенном проступке искренне раскаиваются, ограничился штрафом, материал пошел в архив, а через год за малозначительностью был ликвидирован.

Значит, здесь мне этих ребят не найти. Я сидел и думал, как бы мне добраться до них, не обраща-

ясь с расспросами к Белашу, и почти механически листал журнал происшествий дальше, и все та же струйка маленьких человеческих горестей неровным фиолетовым чернильным ручейком текла у меня между ладонями:

Сизоненко хулиганил в фойе кинотеатра «Уран»… В клубе глухонемых украли с вешалки пальто… Монахов угрожал ножом Колюбакину…

В Колокольном переулке 10-летнего Сашу Басова искусала собака, подозрительная на бешенство…

Никифоров доставлен за безбилетный проезд в автобусе и отказ платить штраф…

А, может быть, спросить у Белаша? Кто был с ним? Нет, пожалуй, нельзя. Если я не прав в своих домыслах, мой вопрос глубоко уязвит его. Он, конечно, назовет людей, но результат разговора с ними остается сомнительным. Если же я прав, то, во-первых, насторожится Белаш и поймет, что я стал копать вглубь. Людей не назовет — забыл, и точка. Но, во всяком случае, будет готов к атаке. А так сохраняется надежда на фактор внезапности… Что же делать? Как поступить? Неужели тупик?

…Неустановленный мошенник продал Лаптеву медное кольцо под видом золотого…

…Ерохин выстрелил из охотничьего ружья, заряженного солью в спину Селиверстову…

…Щукин выгнал из дома семью и буйствует в пьяном виде… Калугин задержан в момент попытки обворовать машину «БМВ»…

Почему он так скоропалительно уехал тогда? Или, может быть, это вообще все чушь? А если даже что-то важное подтолкнуло его, то какое отношение оно имеет к нынешним делам? Ведь было это все так давно! Или я сам боюсь себе признаться, что окончательно потерял маршрут поиска? Интуиция? Но она молчит — ничего она мне не говорит сейчас. Или этот ненормальный интерес к личности Белаша, несостоявшегося преемника дел и мук Иконникова, и есть интуиция? Но интерес — это не интуиция. Выходит, я удовлетворяю свое любопытство за казенный счет? Разве я смирился с пропажей скрипки? Или был прав Белаш, когда говорил мне, что не для того воруют скрипки, чтобы попадаться? Так что — я подозреваю Белаша? В чем? Наверное, это не так линейно: я просто уверен, что Белаш гораздо больше знает, чем говорит мне.

Значит, я ищу в бумажках, старых, истертых, забытых, ключ? Ключ к пониманию его поведения спустя столько лет? Но разве так бывает?

«Времена меняются, и мы меняемся в них». Люди сильно меняются «во временах». Уж очень много лет утекло…

…Убийство. Ограблена квартира гр-на Семынина, и убита его мать, 76 лет. Розыск ведет оперсостав отделения и Московский уголовный розыск.

Эта строчка, написанная торопливо, прыгающими, разбегающимися по странице буквами, просто брызнула мне в глаза, будто в стоялую воду забытого омута давно истаявших людских бед с силой бросили камень, потому что так уж, наверное, устроен человек: убийство и через семнадцать лет, и через сто семьдесят привлекает к себе острое внимание, особенно если ты прослужил уже много лет в уголовном розыске, и от этого, читая скачущую журнальную скоропись, сразу представляешь себе мгновенную тишину, что, как варом, заливает дежурку, и тяжелый торопливый топот наряда, бегущего к машине, и сразу осунувшееся лицо оперативника, который сейчас примет на себя всю власть и всю ответственность за начальный розыск, и горячечный перезвон телефонов, истошные крики родственников и испуг соседей. И чем ты больше повидал такого, тем меньше можешь к

нему привыкнуть…

И все-таки, прочитав эту строчку, я, наверное, пошел бы дальше. Но запись была сделана именно тогда — 00 часов 35 минут 7 августа. А перед этим я долго думал о Белаше. 10 августа он должен был писать сочинение на приемных экзаменах в консерваторию. И у меня перед глазами стоял его экзаменационный листок:

1/VIII — специальность — отлично.

10/VIII — русский письменно — не явился.

В те незапамятные времена, когда я еще был не в силах одолеть премудрости игры в домино, я любил выстраивать костяшки ровным длинным рядком, одну за другой, и, соорудив сложную конструкцию, легонько толкал крайнюю кость. Падая, она толкала следующую, та — третью, и весь ряд с негромким треском заваливался на бок.

Найдя сообщение об убийстве семнадцатилетней давности, я толкнул крайнюю костяшку в длинном ряду человеческих судеб, которым пришлось стоять рядом — на расстоянии одного человеческого падения…

— А в наших материалах, в МУРе, вы нашли что-нибудь интересное? — спросила Лаврова.

— Нет, их же арестовали через два дня — Баранова и Костылина. Пришли в «скупку» два таких важных сопливых деятеля с меховым манто. А уже ориентировка прошла. Ну, их прямо там и взяли. Допросили и, передали в прокуратуру, они ведь оба были несовершеннолетние. К вечеру они рассказали про Лопакова.

— И ни в следственном, ни в судебном деле ничего нет? — спросила снова Лаврова.

— Нет, о Белаше там нигде не упоминается ни единым словом. Но все трое осужденных проживали с ним в одном доме, и через день или два после убийства Белаш не явился на экзамен, срочно выехав из Москвы. Это, конечно, может быть совпадением, но…

— Дело большое?

— Нет. Они сразу во всем признались, расследование было закончено за месяц.

— А как формулировалось обвинительное заключение?

— Ну как обычно! Трижды судимый Лопаков, двадцати шести лет, вовлек в преступную группу несовершеннолетних Баранова и Костылина и, уверив их, что семья инженера Семынина находится на даче, уговорил обворовать квартиру. Но когда вскрыли дверь, неожиданно для себя они

застали в квартире перепуганную старуху — мать Семынина. Старуха закричала, и тогда Лопаков ударил ее по голове ломиком.

— Как квалифицировал суд их действия?

— Суд признал убийство эксцессом исполнителя, поскольку оно выходило за рамки преступного сговора. Лопакову дали двадцать лет, а Баранову и Костылину — по девяти.

— А что с ними стало?

— Адресное сообщило, что Баранов проживает в Москве по старому адресу. А ответ на мой запрос о Лопакове и Костылине еще не пришел.

— Вы, конечно, собираетесь говорить с Барановым?

— Конечно.

Лаврова прошлась по кабинету, закурила, быстро взглянула на меня:

— О скрипке уже забыли все. Господи, как давно все это началось, будто сто лет пробежало.

— Сто — не сто… — пожал я плечами.

— Два месяца с небольшим, — уточнила Лаврова.

— Не-ет, — показал я головой. — Это началось не с минуты кражи. Я уверен — много лет назад все это началось.

— И вы хотите реставрировать поступки людей

и время, которое уже безнадежно утекло? Даже если в этом прошлом и были заложены мины, то их взрыватели давно отсырели. Даже фейерверка не получится, не то что взрыва!

— Во-первых, в старую мину можно вставить новый взрыватель, и она громыхнет за милую душу. А во-вторых, не все забыли о скрипке. И я тоже…

— Станислав Павлович, но поймите, со стороны это виднее — вы хотите совершенно умозрительно связать канатом будку чистильщика и скрипку «Страдивари»! Ведь вы именно этого хотите, что бы вы ни говорили о стремлении познать глубинную природу поведения человека! А это логический произвол, и приводит он всегда к абсурду.

— Может быть! — упрямо сказал я. — Но я сам видел, понимаете — видел! — как испугался Белаш при встрече с Мельником. Почему Белаш должен был или мог так сильно испугаться при встрече с неизвестным ему, по существу, человеком?

— Но это не довод! Не довод! И во всяком случае, вы никогда не прочертите отсюда логическую цепь в прошлое. Ведь Мельник, в свою очередь, с пеной на бороде доказывает, что видит Беляша

впервые! Значит, он врет, а ему сейчас врать нет никакого резона.

— А Мельник, может быть, и не врет.

— Но вы же противоречите себе! Если Мельник с Белашом никогда не виделись, то и волнение Белаша скорее всего вызвано обстановкой, ошибкой или тысячью других причин.

— Есть еще один вариант, — сказал я.

— Какой?

— Вот если, к примеру говоря, я выйду за дверь и буду смотреть оттуда на вас в замочную скважину, то вы меня не будете видеть, а я вас прекрасно рассмотрю.

Лаврова развела руками:

— Ну, знаете ли, таких вариантов можно придумать сколько угодно. Хорошо, давайте встанем на вашу точку зрения — предположим, что Белаш имел какое-то отношение к преступлению семнадцать лет назад и следствием установлен не был. И что? Сроки давности уже много лет как истекли. Он не может быть подвергнут уголовному наказанию и, следовательно, вас не боится.

— Ага! — злорадно сказал я. — Вот это уже другое дело! Мне не надо подвергать Белаша уголовному наказанию! Мне надо выяснить, способен ли он на такой поступок.

— Да ничего вы не выясните! — с досадой сказала Лаврова. — При всех обстоятельствах он был тогда еще мальчик, ребенок! А человек сильно меняется с годами…

— Верно, — согласился я. — Тогда этот мальчик, еще ребенок хотел быть, как тамбур-мажор Иван Степанович Лушков — двух с половиной метров роста. И очень нехорошо играл со своим учителем.

— В каком смысле? — удивилась Лаврова.

— В смысле старого анекдота о том, как в вагоне едет надоевший всем игрой на гитаре заяц. Сделала ему лиса замечание, он ей говорит — идем в тамбур потолкуем. Вышли. Через минуту возвращается и бросает на лавку лисью шкурку. И за прежнее. Не выдержал волк — пошел в тамбур с зайцем толковать, — возвращается вскоре заяц с волчьей шкурой. Заревел медведь — сейчас, мол, я тебе покажу игру, а тут открывается дверь из тамбура, просовывает голову лев: «Эй, заяц, кому тут еще наша музыка не нравится?»

— Не понимаю, — растерянно сказала Лаврова. — Вам же самому еще недавно так нравился Белаш?

— Да, нравился. Но его старый учитель Трубицин хотел с ним поговорить, а Белаш послал ему

с барского стола бутылку шампанского…

— Станислав Павлович, дорогой мой, но ведь это же несерьезно, — почти сочувственно сказала Лаврова.

— Нет, серьезно. Старым учителям на многое рассчитывать не приходится, но на благодарную память они право имеют…

Николай Баранов, семнадцать лет назад называвшийся смешным дворовым прозвищем Бибика и приговоренный к девяти годам колонии общего режима за разбойное нападение, условно-досрочно освобожденный за примерное поведение и добросовестное отношение к работе, в тот момент, когда я пришел к нему домой, высаживал на горшок трехлетнюю дочку.

У девочки были такие же, как у отца, прозрачные голубые глаза и белые кудряшки. Сидя на своем троне, она что-то строго выговаривала отцу, а тот покорно и согласно кивал головой.

— Заходите в комнату, — сказал он, когда я назвался. — Сейчас приду и поговорим…

И вот говорим…

— А зачем вам это? — искренне удивился Баранов. — Все это было и быльем поросло!

Я засмеялся:

— Точно. Даже все сроки давности истекли. Но

меня, Николай Иванович, не интересуют юридические тонкости этого дела. Просто, я думаю, кое-что из того, давнишнего, не умерло совсем и проросло в сегодня…

— В каком смысле? — насторожился Баранов.

— Я думаю, что судили вас троих, а на месте преступления было четверо.

— Почему вы так думаете? — осторожно спросил Баранов. — Откуда вы можете такое знать?

— А я и не знаю. Я же говорю, что просто так думаю. Вы ведь будку с чистильщиком к троллейбусу вместе с Костылиным и Белашом привязали?

— Да, было такое дело, — смущенно улыбнулся Баранов.

— Я не знаю почему, но вы на следствии, а потом и в суде скрыли участие в преступлении Белаша, и мне кажется, он сделал из этого неправильные выводы. Прошло много лет, и он уже освобожден от ответственности. Но мне не хочется, чтобы он поверил, будто такие вещи можно делать безнаказанно всю жизнь.

Баранов долго думал, морщил лоб, качал головой, тер щеки пальцами, потом сказал:

— Не знаю я там про его выводы, а мужик он дерьмо оказался…

— Я уже об этом начинаю догадываться. А кон-

кретнее?

— Да тут в двух словах на скажешь. Когда я вернулся из колонии, разыскал его — пусти, говорю, пожить немного, — не хотел я сразу таким голеньким домой возвращаться, думал за неделю-другую устроить свои дела — с пропиской, работой, ну, в общем, все как полагается.

— А он что?

— Я думал, от страха обделается. Вот, говорит, на тебе на первое время — сто рублей мне сует, а жить нельзя — я, мол, с удовольствием, но соседи паршивые, вызовут участкового — и тогда нам хана. Ну, засмеялся я, конечно, убери, говорю, рубли твои, я четыре тысячи на аккредитивах привез. И ушел. Он мне вслед кричит: «Позвони, я что-нибудь придумаю…» Да, денек это был у меня ни фига себе!

— И что стали делать?

— Что делать?.. Тут вот какая штука: вышел я под чистую, с досрочным освобождением, и в колонии я был человеком ну просто знаменитым — сварщиком седьмого разряда, — сказал Баранов просто. — Работали мы на строительстве газопровода, и моя бригада была нарасхват, где прорыв — нас туда. Вкалывали мы знаменито, конечно, но и заработки были хорошие, послед-

ние три года — без конвоя. Доска Почета и тому подобное. А тут все вроде снова начинается — с такой статьей до снятия судимости проживание в Москве запрещено, и тэдэ и тэпэ.

— Так-так…

— Ага, так… Я к чему это — девушка тут у меня была, Галя, — Баранов кивнул на стену, где в простой рамочке висела фотография — совсем еще молодой парень с короткими неотросшими волосами и прозрачными светлыми глазами бережно обнимает за плечи круглолицую девушку со смущенной улыбкой. — Она, — подтвердил Баранов, — Я всю свою жизнь тот день буду помнить.

— А что ж такого в этот день случилось? — улыбнулся я.

— Да случиться ничего не случилось. Просто заехал я к Гале, повидались… Говорю ей — если можешь, дождись от меня добрых вестей, Галя… Ладно, уехал я в Конаково — там тогда строили огромную ГРЭС. Ну, с моей-то квалификацией там со всей душой приняли. И до Москвы ехать — несколько часов. Короче, через год судимость с меня сняли по ходатайству коллектива.

— Дождалась, значит, Галя, — сказал я.

— А она не дожидалась, — радостно засмеялся Баранов. — Как получила от меня письмо из Кона-

кова, так в первую субботу прикатила. «Николай, надо учиться!» — весело передразнил он ее.

— И что, учились?

— А что поделаешь? — развел он руками. — От нее ведь не отвяжешься, если она себе что в голову вобьет. А она себе вбила, что отвечает за мое перевоспитание. Вот и перевоспитывала до тех пор, пока замуж за меня не вышла.

— А потом перестала?

— Что вы! Продолжает каждый день, — в голосе Баранова прозвучала ласковая гордость.

Как я мог заметить, это был случай семейной гармонии, построенной на добровольном и счастливом подчинении одного из супругов, и я видел, что разговоры, размышления и воспоминания Николая Баранова о его семейной жизни ему были бесконечно приятны. Десять лет совместного проживания не пресытили его скукой однообразия, не выпали досадливым осадком необходимости подчинения чужой воле… И в эту минуту душевной расслабленности Николая, его абсолютной незащищенности, когда был он открыт, как хоккеист, сбросивший с себя доспехи, мне очень не хотелось его расспрашивать обо всем том горестном и тяжком, что предшествовало этой счастливой семейной жизни. Но и не

спрашивать я не мог — ведь я, к сожалению, пришел к нему не в гости, и он был единственным человеком, который мог провести меня по лабиринту забытого прошлого. Но он неожиданно вспомнил сам:

— Да, так мы о Гришке говорили. Собственно, сейчас-то уже и тайны никакой нет — все сроки прошли, пусть себе живет как хочет. А тогда он действительно был вместе с нами. Если бы ему сейчас что-нибудь грозило за это, я бы говорить не стал.

— Почему?

Баранов пожал плечами:

— Ну как вам сказать? Он свое наказание, считай, отбыл — это ведь не шутка, столько лет в себе такой страх держать. Только вряд ли он лучше стал.

— Почему? — спросил я требовательно.

— Не знаю, — Баранов наморщил лоб и сказал угрюмо: — Пускай не из благодарности, что на следствии про него молчал, а хоть бы как товарищ — ведь не имел он права меня тогда выгонять.

— А почему вы его не назвали на следствии?

— Ну как теперь это объяснишь? Мы ведь все тогда от глупости своей да беспризорности в эту историю попали. У Гришки мать, конечно, хоро-

шо зарабатывала, зажиточно они жили, только присматривать за ним все равно некому было. А главный воспитатель у нас был Хрюня…

— Хрюня — это Юрий Лопаков?

— Да, Лопаков. Сейчас уже нет таких гусей, да и тогда он выделялся… Было ему лет двадцать пять, и нам, соплякам, ясное дело, он казался прямо героем. Вот он очень любил сидеть с нами на лавочке и рассказывать неспеша всякие лагерные да блатные истории; конечное дело, слушали мы его, разинув рот. С челкой ходил он, под Радж Капура. А песни какие пел блатные! Голос у него хороший был… Не знаю уж почему, но особенно он обхаживал Гришку. Нам с Фатиком — так мы Феликса Костылина звали — Хрюня всегда говорил: «Дурачье вы неотесанное, бросили седьмой класс, всю жизнь будете дерьмовозами, а вот Гришка — молодец, станет ученым человеком, скрипачом — большие деньги загребет, всю жизнь — барин…» Уважал, в общем, Хрюня Гришку. Когда нас взяли, то по ошибке как-то получилось так в тюрьме, что мы на одной сортировке оказались. Испугались мы с Фатиком, думали, Хрюня нас прикончит, а он подошел и первым делом спрашивает: «Вы, загребанцы, Гришку сдали?» Нет еще, говорим, не поспели.

Хрюня вздохнул так это, от души и сказал: «Молодцы! Запомните на всю жизнь — настоящий блатной за друга сам скорее погибнет, а его не сдаст. Смотрите, о Гришке ни гугу!»

— Но вы же и сами до этого о Белаше не говорили?

— Тут штука такая — очень мы с Фатиком Гришку любили, он у нас в компании, конечно, главный был. Мы на это дело со страхом пошли, а уж Гришка тем более. Он согласился, потому что не хотел, чтобы Хрюня его стыдил и считал трусом. Поэтому он и пошел.

— А как получилось это все?

— Мы вечером во дворе все трое сидели, трепались. Гришка нам про экзамен рассказывал. Тут как раз Хрюня пришел, достает две бутылки из кармана — давайте, говорит, вспрыснем Гришкину победу. Нам и пить-то было противно — не привыкли еще, но побоялись Хрюне признаться — мы же вроде взрослые! Выпили по стакану, закусили конфетой «Ромашка», захмелели, конечно, Хрюня нас подначивает: слабаки вы, только врать да хвастаться здоровы, а на самом деле трусоватые вы кони. Ах, «кони» — давай проверим! Вот Хрюня и решил нас проверить на квартире Семынина. Жил в нашем доме такой

человек, тихий, вежливый, всегда ходил в галстуке-«чкиске» и темных очках. Мы его за это Трумэном называли и почему-то считали очень богатым. А потом уж оказалось, что совсем он не богатый, да и вообще несчастный человек. Только узнал уж я это все потом…

— И вы не пробовали отказываться?

Баранов покачал головой.

— Нет. Мы с Фатиком поэтому и приговор не обжаловали — свое, законное, получили. В тот момент нам отказаться было страшнее, чем влезть в пустую квартиру. Нам и наказание-то отвесили в основном за трусость… Да. Так вот мы с Хрюней пошли в квартиру, а Гришка остался в подъезде — «на стреме».

Видимо, сильно разволновавшись от этих воспоминаний, Баранов встал, походил по комнате, закурил сигарету, потом, недокурив, сломал в пепельнице.

— Сколько лет прошло, а вот помню все до миллиметра. Мы когда оттуда вышли, Фатика вырвало. Как я теперь понимаю, не столько от водки, сколько от испуга. Мы уже были совсем трезвые, и Гришка сказал Хрюне: «Доказал я, что не испугаюсь? И все. И больше с тобой дела не имею». А Хрюня засмеялся: «Брось, Гриша, пар

пускать, мы с тобой теперь друзья на всю жизнь, повязала нас теперь бабка Трумэна».

— А что стало с Фатиком?

— Жив, здоров он, в рыболовном флоте на Камчатке работает — тралмейстером.

— А Хрюня-Лопаков?

— Не знаю. После суда я его больше никогда не видел.

— Николай Иванович, а вы никогда не задумывались, почему Лопаков так любил и обхаживал Белаша?

Баранов пожал плечами.

— Ну, мало ли, может, он ему больше нравился… Не знаю…

Да, этого Баранов не знал, не понимал и не мог понять, как не мог проникнуть в сущность много лет назад продуманного плана…

— Ты думаешь, он был способен на такую предусмотрительность? — спросил комиссар.

— Я в этом просто уверен. Баранов говорит, что к тому времени Хрюня был уже трижды судим. Это был опытный уголовник, и «в дело» он взял Белаша только для того, чтобы нацепить его на крюк.

— Но ведь ты сам говоришь, что кое в чем Хрюня отклонялся от знакомых нам форм: помнишь,

он стыдил ребят за то, что они не учатся, и приводил им в пример Белаша? Старые уголовники обычно только сбивают ребят с учебы.

— Здесь нет вопроса, — уверенно сказал я. — Хрюня понимал, что ему надо прочно заарканить Белаша, пока тот еще сопляк и находится под его влиянием. А в успехах Белаша на музыкальном поприще он был кровно заинтересован — мамаша на весь двор кричала, что Гришенька — вундеркинд. Значит, с годами Белаш должен был неизбежно обрасти прочными знакомствами среди крупных музыкантов. Представляете, каким незаменимым подводчиком для Хрюни мог стать Белаш, находясь постоянно под угрозой разоблачения?

— Поэтому Хрюня и на суде молчал?

— Молчал и категорически запретил упоминать о нем ребятам. Я думаю, он на Белаша сделал ставку в расчете на времена своего возвращения.

— А для тебя вопрос с Белашом решен?

Я помолчал, потом утвердительно кивнул:

— Да, я считаю, что он принял участие в похищении скрипки.

Комиссар снял очки, положил их на стол, не спеша полистал бумажки в деле, достал из пачки

сигарету, чиркнул зажигалкой.

— Какую же ты отводишь ему роль?

— Не знаю. Но иногда мне кажется, будто Хрюня — это и есть Яков Крест. А Белаша я подозреваю всерьез.

Комиссар пожал плечами:

— Ну подозрение — это штука довольно общая, а факты — вполне конкретная. Вот факты эти самые убеждают нас в том, что Белаш был во время кражи в Ленинграде. Сомневаться во всем глупо. Глазам-то своим мы должны верить?

Я не мог понять — проверяет меня комиссар или он действительно так думает. Но, что бы он ни думал, мне это сейчас было безразлично — я принял для себя решение, и никто не смог бы меня переубедить или заставить делать что-нибудь другое.

Я и сказал комиссару:

— Если на то пошло, глаза нас всегда обманывают.

— Это как же? — ухмыльнулся комиссар.

— А так: оптический механизм глаза воспринимает мир перевернутым. А мозг все ставит на свои места. В учебнике физики написано.

— Ты уж прости меня — я последний раз читал его лет тридцать назад. Если бы не ты, совсем бы

запамятовал, — комиссар извиняющимся жестом прижал руки к груди. — И что — прямо-таки все перевернуто?

Я кивнул.

— Серьезный ты человек, Тихонов, — засмеялся комиссар. — А вот как же грудные мальцы — у них надежды на мозг совсем чуть-чуть, а гляди, за титьку всегда точно хватают?

— Инстинкт. Кроме того, я заметил, что и взрослым, чтобы за титьку ухватиться, много ума не надо, — сказал я и вдруг вспомнил, как Иконников, стоя в дверях, устало сказал: «…но в тот момент, когда он появляется на свет, ангел ударяет его по устам и заставляет забыть все…»

Ах, глупость какая! Нет ангелов, и нет великого знания, которое могло бы спасти человека. И нет больше Иконникова. И в этот момент я почувствовал себя новорожденным младенцем, которого ударило по устам огромное неведение, я чувствовал, как оно заставляет меня позабыть все, и это все было тоже огромно — под стать моему неведению, и в него вместились старинный инструмент с мальтийским крестом и датой «1722 год», и счастье Белаша на конкурсном экзамене, и душный ужас ребят в квартире, где их встретила бабка Трумэна, и тоскливое отчаяние

Трубицина, оказавшегося слабее своего ученика, и заботливо оберегающий Гришку-скрипача рецидивист Хрюня, и бесконечное горестное утомление Иконникова, дописывающего мне свою отходную — завет быть первым сыщиком. Во всем этом неведении был призыв к забвению уже отгремевших и иссякших навсегда событий, но тогда бы мне пришлось признать, что разум и поиски правды не могут принести человеку счастье, то есть зачеркнуть всю свою жизнь, а сделать этого я не мог и не хотел.

Но сказать я ничего не успел, потому что зазвонил телефон, комиссар снял трубку.

— Да. У меня Тихонов. А что? А-а… Тогда вот что, несите прямо сюда, мы уж заодно вместе посмотрим. Давайте галопом.

Бросил на рычаг трубку и сказал мне:

— Из Центральной картотеки пришел ответ на твой запрос о судьбе осужденных по этому делу.

— Меня сейчас интересует только Лопаков-Хрюня.

— Вряд ли это Крест. Мельник его описывал старше Хрюни лет на десять.

— Посмотрим.

Комиссар засмеялся:

— А чего смотреть — ты же глазам не веришь.

— Да, — сказал я. — Я верю только разуму.

— Это хорошо, — согласился комиссар. — Нехорошо только, когда начинает заносить куда-нибудь в одну сторону. В нашем деле нужен железный баланс между умом и чувствами.

— Такой баланс в любом деле не мешает.

— Это верно. Только пойди рассчитай точно — не в аптеке ведь… Вчера вот дочка привела такого лохматого джентльмена — папа, говорит, мы решили с Герой пожениться. А у жениха Геры под носом пух с соплями вперемешку. Эх, чушь какая! — комиссар с досадой и горечью махнул рукой.

Я представил себе процедуру представления такому обходительному тестю, как мой комиссар, и мне стало смешно и немного боязно.

— А вы что сказали?

— Женитесь, сказал, раз решили. А что я еще скажу? Двадцать лет девчонке, она ведь наверняка считает, что не хуже меня в жизни разбирается. А уж про Геру-то этого и говорить нечего, он небось уверен, что мог бы меня многому научить… если б я согласился.

— Нет, вы бы поговорили с ней всерьез, что ли? — сказал я неуверенно.

— Эх, Тихонов, посмотрю я, коли доживу, как

ты со своей дочкой на эти темы будешь всерьез разговаривать. О чем? Хаять парня я не могу — не знаю ведь его совсем. Может, он ничего мальчишка? А стану объяснять, что не мешало бы повременить, в жизни осмотреться — они меня на смех подымут.

— Так действительно рановато вроде?

— А ты попробуй им это объяснить. Понимаешь, беда всех людей в том, что они не верят, будто станут со временем много умнее. В каждый сей-момент им кажется, будто они уже достигли вершин понимания. Вот и выходит со временем петрушка всякая.

— А если с парнишкой поговорить всерьез? По-мужски?

— Да брось ты! Они ведь, ребята, сейчас выросли очень уверенные, спокойные. Акселераты, елки-палки! В институте учится, а вечером в самодеятельном ансамбле пляшет. Пляшет, — повторил он как-то неуверенно и спросил: — Зачем?

И в глазах его, стальных, пробойных, не было обычной остроты и твердости, а плавала какая-то недоуменная растерянность и абсолютное непонимание — как это здоровый взрослый парень в свободные часы, такие короткие, такие дорогие,

пляшет. Зачем?

Я засмеялся:

— Ничего страшного. Это вместо физкультуры.

Комиссар пожал плечами:

— Не знаю, не понимаю. На вешалке в прихожей мою шинель увидел и спрашивает: это чья здесь генеральская шинель висит? Я говорю: гости были, на память оставили. А можно, говорит, померить? Валяй, говорю. Покрасовался он перед зеркалом, погонами поблестел и меня одобрил — хорошие, говорит, у вас гости, молодцы! Сели чай пить, рассказал я ему чуток про нашу работу. Он послушал и подвел итог — работа у вас интересная, но какая-то очень сиюминутная, прикладная и с точки зрения футурологии бесперспективная. Вот и говори с ним всерьез…

Я подумал, что в жизни постоянно возникают удивительно нелепые комбинации: комиссар с ходу, в одно касание точно выбиравший правильную манеру поведения и умевший «разговорить» самого прожженного человека, прошедшего огонь и воду, не может найти правильный ключ к разговору с каким-то сопливым мальчишкой. Правда, те прожженные люди не считали его профессию сиюминутной, бесперспективной и не собирались к нему в зятья.

Дежурный по Управлению принес пакет. Комиссар повертел его в руках и протянул мне:

— Ты инициатор розыска, ты и читай. А я послушаю.

Я стал поспешно разрывать пакет, но плотная коричневая бумага не поддавалась, а только скрипела и мялась. Комиссар придвинул ко мне ножницы:

— Не суетись… Семнадцать лет прошло, минуту еще подождешь.

«…Баранов Николай Иванович… условно-досрочно освобожден…

…Костылин Феликс Сергеевич… условно-досрочно освобожден…

…Лопаков Юрий Митрофанович… отбывая наказание, совершил новое преступление и был приговорен за грабеж в колонии еще к 10 годам… 18 апреля 1966 года вместе с заключенным Никодимовым совершил побег из мест заключения… Во время погони, предпринятой за преступниками, они пытались перейти по льду Енисей… На реке в это время происходило торошение и передвижка льдов. Когда группа преследо-

вания вышла на правый берег Енисея, преступники находились на середине реки… Неожиданно лед под Лопаковым проломился, и он упал в промоину… Никодимов, находившийся рядом, несмотря на отчаянные крики Лопакова, помощи ему не оказал и продолжал движение к левому берегу… Наряд в составе сержанта Коновалова и солдата Апраксина вступил на лед… Через несколько метров лед начал интенсивно ломаться, и полынья между нарядом и Лопаковым стала непреодолимой без плавучих средств. Апраксин разделся и вплавь направился к тонущему Лопакову, однако тот вскоре исчез под кромкой плывущей льдины… Апраксину было приказано вернуться… Заключенный Никодимов добрался до левого берега и скрылся…

Никодимов Данила Спиридонович, 1921 года рождения, ранее судимый Ленинградским военным трибуналом — в 1943 году, отбывавший наказание по приговору Мосгорсуда с 1959 года, — объявлен во всесоюзный розыск, и местопребывание его до сих пор не установлено…»

— Хм, однако, — бормотнул комиссар. — Ловкач, видать, этот Данила Спиридоныч…

Включил тумблер на селекторе, загорелась зеленая лампочка, комиссар в микрофон сказал:

— Срочно затребуйте данные на Никодимова Данилу Спиридоновича, самым спешным образом запросите из архива Верховного суда дела о его судимости в 1943 и 1959 годах — Ленвоентрибунал и Мосгорсуд, все оперативные данные, фотографии. Все. По мере поступления материалов передавайте их Тихонову, а мне докладывайте.

Комиссар помял сигарету в руках, и делал он это так энергично, что я боялся, как бы он не растер табак в пыль.

— Вот видишь, давно нет никакого Хрюни, — сказал он.

— А кто его хоронил? — упрямо спросил я. — Это еще надо доказать, что его нет. Зато уже наверняка есть Никодимов.

— Не факт. Из тайги на своих двоих выйти — дело нешуточное. Да от людей по возможности скрываясь. Да четыре года нам на глаза не попасться. Это серьезный коленкор. Тут надо мозговать по-настоящему…

Зазвонил телефон. Комиссар ленивым движе-

нием поднял трубку.

— Да. Это я, Елена Сергеевна… Лаврова? Зачем? Да, у меня. Сидим, мозгуем. Вам нечем помочь? Ах, так… Ну что ж, милости просим…

Комиссар положил трубку и объяснил:

— У Лавровой есть какие-то важные соображения, сейчас она их нам изложит. Слушай, а Лаврова не замужем?

— Нет, а что?

— Ничего, это я так просто. Наверное, выйдет замуж, уйдет от нас. Какой муж нашу колготу терпеть станет? Бабы — и те бастуют время от времени, а они куда как терпеливее мужей. Жалко, конечно.

— Жалко, — согласился я. — Мы уже с ней сработались.

Отворилась дверь, и вошла Лаврова, не подозревающая, что мы уже распрощались с ней и даже пожалели об этом.

— Добрый день, — сказала она, и я подумал, что Лаврова, здороваясь с комиссаром, никогда не говорит уставного «здравия желаю» — наверное, ей не позволяло чувство женского достоинства.

— День добрый, Елена Сергеевна, — ответил комиссар. — Слушаем вас.

— В резолютивной части приговора пишется:

преступников подвергнуть заключению в колонии, имущество возвратить потерпевшим, орудия преступления уничтожить или передать в Музей криминалистики. Разговор со Станиславом Павловичем навел меня на мысль посмотреть приговор по делу Лопакова — Баранова.

И там я нашла, в частности, указание — «…связку ключей и ломик-«фомку» уничтожить». Меня заинтересовала «фомка». Я стала внимательно читать материалы дела и в протоколе обыска на квартире Лопакова нашла запись — «ломик стальной, зауженный, с расплющенным концом, в торцевой части две давленые короткие молнии». Вот об этом я и хотела вам рассказать.

— Выводы? Идеи? — спросил комиссар.

— Я предлагаю проверить, не являются ли одним и тем же лицом Хрюня-Лопаков и разыскиваемый нами Яков Крест.

Комиссар покачал головой.

— Нет. По-моему, это исключено. А весть вы принесли исключительно важную.

— Если я заблуждаюсь, то почему же моя весть важная? — спросила Лаврова.

— Потому что вы подтвердили нам с Тихоновым другое очень серьезное предположение. А именно: что Яков Крест — это Данила Никодимов.

Как думаешь, Стас?

— Как вариант — реально. Особенно если предположить, что еще в колонии, планируя побег, Лопаков рассказал Никодимову о своем талантливом воспитаннике и дал на всякий случай явку на Мельника. Хрюня ведь не знал тогда, что Белаш не станет большим скрипачом…

— Согласен, — кивнул комиссар. — Что собираешься делать?

— Предъявление Мельнику фотографий обоих, срочное изучение по архивным документам личности Никодимова и сразу же — выезд в Ленинград.

— А зачем в Ленинград? — спросил комиссар.

— Белаша больше трогать нельзя ни в коем случае. А мне надо узнать, что он там делал, когда по его наводу «чистили» квартиру Полякова.

— Но ведь у него стопроцентное алиби, — сказала Лаврова.

— У подозреваемого алиби, если в момент преступления он находился вместе со мной…

Я сошел с подножки на платформу и сразу почувствовал, что здесь, в Ленинграде, намного теплее. На торцевой стене вокзала ярко светили лампочки электротабло — 8 часов 27 минут. Разом погасли на мачтах ртутные фонари, и

вокзал погрузился в мягкий дымный сумрак, прохладный, фиолетово-синий, с легким запахом угольной гари и еле ощутимым ароматом моря.

Была непривычная для вокзала тишина, не слышно гомона и суеты носильщиков: «Красная стрела» — деловой поезд, большинство пассажиров с портфелями и маленькими чемоданчиками — тут носильщикам делать нечего. Устало пыхтел тепловоз, будто успокаивал дыхание после долгого и быстрого пробега, у дверей кабины стоял машинист в накинутой на плечи куртке и не спеша покуривал сигаретку, и во всей его фигуре было спокойное утомление, тихое удовлетворение выполненной нелегкой работой и ожидание скорого заслуженного отдыха. И я почему-то остро позавидовал ему — нельзя сейчас мне вскарабкаться в широко остекленную рубку, отогнать в сортировочный парк состав, потом крепко попариться в бане, выпить пива и лечь спать, а вечером у этой же платформы дать густой протяжный гудок и помчаться назад в Москву, и с каждой секундой колеса будут оставлять за собой двадцать три метра стального полотна, и хоть вокруг мгла, ночь и снег, дорога намного вперед высвечена мощным лучом прожектора, в котором серебряно сияют рельсы — семьсот ки-

лометров прямой дороги с одним-единственным поворотом, да и тем известным задолго вперед.

На Московской площади бесшумно плыли истекающие голубым светом троллейбусы, перемаргивались светофоры, низко гудели зализанные корпуса трамваев «татра». И от неверного, ломающегося зеленовато-синего света утра казалось, будто на деревьях повисли не пушистые пряди инея, а текучие заросли морских водорослей. На Невском проспекте гасли огни витрин.

В подвальчике-пирожковой было пусто и очень чисто. Мне дали чашку бульона, горячих пирожков, крепкий кофе — подкрепиться надо было авансом на весь день. А будет он, наверное, нелегким. По архивным фотографиям Мельник безоговорочно опознал в Никодимове Якова Креста — «только больно молодой он здесь»... Глядя на фотографию Хрюни-Лопакова, он неуверенно сказал: «Помнится, был вроде один криворылый, а точно сказать боюсь»...

Два месяца я ходил по лабиринту, оставляя на стенах засечки, и только теперь мне понемногу становился ясным общий его строй, принцип конструкции. Но общая идея — это еще не план, и по-прежнему оставалось неизвестно, где надо поставить заслон, чтобы не выскочил на свобо-

ду затаившийся в хитросплетениях задолго и внимательно продуманных ходов Минотавр. Я был твердо уверен, что в длинные месяцы и годы совместного сидения в колонии Хрюня и Крест хорошо поняли друг друга и, готовя побег, не просто собирались погулять на свободе — Белаш был надежным убежищем, твердой гарантией безбедной жизни. Хрюня — это ведь не Колька Баранов, плакавший когда-то на бульваре от предательства товарища. Он бы взял Белаша за горло мертвой хваткой — как его взял впоследствии Крест. Во всяком случае, так мне казалось. То, что Белаш принял участие в краже скрипки, у меня не вызывало больше сомнений. Единственно, что оставалось непонятным, — какова его роль? Только предательство, ставшее стереотипом его поведения во все критические мгновения жизни? Или прямое участие в похищении?

Мельник, правда, категорически отказывается от знакомства с Белашом. Но я верил в его искренность, а объективной стороне его показаний не доверял. Они могли быть знакомы, так сказать, односторонне. Поэтому я и приехал в Ленинград. И еще потому, что мне надо было выяснить поглубже личность Данилы Спиридоновича Никодимова.

Кроме инспектора Леонидова, в Ленинградском уголовном розыске я никого не знал, но ребята встретили меня радушно и весело, и произошло наше знакомство как-то необычайно легко и естественно — вот так же Буратино узнали и приняли за своего куклы из театра Карабаса.

— Так что говорят люди? — спросил я Леонидова, который по нашему следственному поручению проверял маршрут Белаша.

— Железно подтверждают. Ни одной осечки. В консерватории, в театре, у приятелей по фамилии Медведевы и у профессора Преображенского. Я даже девушку допросил, ту, что на улице Громова проживает. Все их показания сходятся тютелька в тютельку.

Я достал блокнот с записями, посмотрел в нем необходимые заметки и на всякий случай спросил:

— У кого он был вечером накануне кражи?

— У Преображенского. Профессор с супругой подтвердили, что он сидел у них весь вечер, потом по телефону вызвал такси и поехал к себе в гостиницу. Дежурная по этажу сообщила, что Белаш пришел не очень поздно и попросил разбудить его в восемь часов — об этом есть запись в их книге.

— После этого он мог выйти на улицу незаметно для дежурной? Есть там еще какой-нибудь выход?

Леонидов задумался:

— Мне кажется, что по боковой лестнице можно, минуя дежурную, выйти в ресторан на первом этаже, а там есть проход к парадному. А что?

— А то, что если он сразу вышел на улицу и поехал на аэродром, то через полтора часа он уже был в Москве, на площади Маяковского.

— Не согласен, — возразил Леонидов. — Я уже думал об этом и считаю, что теоретически такой маршрут возможен. Но только до Москвы. А вот оттуда он вернуться к восьми часам утра в свой номер не мог.

— Почему?

— А ты сам посчитай. Допустим, он принимал участие в самой краже…

— Я это уже допустил.

— По твоим словам, вышли они из квартиры около половины первого ночи…

— Это по словам Мельника. Но допустим.

— Добираться обратно он может тремя видами транспорта: самолет, автомобиль и поезд.

— Точно. И что?

— Самолет отпадает. Первый рейс на Ленин-

град в 7.45 — никак не может он успеть к восьми в номер.

— Резонно. Автомобиль?

— Не может. Вот сводка погоды: заморозки до 11 градусов, на почве гололед, туман, высота волны — 1 метр…

— Ну, это у вас здесь ленинградские штучки — высота волны! Не по волнам же он ехать собирался.

Леонидов невозмутимо ответил:

— По гололеду тоже не сильно разгонишься. Ты же ведь сам шофер, знаешь небось — в среднем больше семидесяти по такой погоде не дашь. Так что понадобилось бы ему не меньше десяти часов, и опять же к восьми утра он не попадает в гостиницу. Автомобиль — долой!

— А поезда?

— Тоже не получается. В час пять отходит из Москвы экспресс «Арктика», но в Ленинграде он только в половине десятого. Есть еще несколько московских поездов, но они все или уходят раньше, чем он мог попасть в Москву, или приходят в Ленинград позже восьми.

— Ну что же, — развел я руками. — Значит, его функции ограничились подводом на квартиру Полякова. А поездка в Ленинград была демон-

страцией подчеркнутого алиби. Теперь второй вопрос — дело Никодимова…

— Тут вот что… — Леонидов даже зажмурился в ожидании эффекта подготовленного им сюрприза. — Нашел я одного человека…

— Что за человек?

— Он во время войны служил в ОБХСС…

Федор Петрович Долгов, каменного вида старик, говорил тягучим утробным голосом, и когда он смотрел тебе в лицо пронзительными серо-зелеными глазами, разрисованными красными склеротическими жилками, возникало ощущение, что он гипнотизирует тяжелым рокочущим голосом и вязкой неподвижностью сердитых глаз, и памятниковой громоздкостью фигуры.

— Я ведь из породы добросовестных неудачников, — объяснял он мне. — Даже до полковничьей папахи не дослужился. А может, оно и правильно, потому как я в милицию тоже случайно попал. Я ведь войну командиром особого водолазного отряда начинал…

Лицо у Долгова было опухшее, покрытое сетью бурых и багровых трещин-сосудов, и неистовый блеск стеклянных глаз пугал меня. Его жена — грузная седая женщина с огромным пучком седых серых волос говорила низким голосом:

— Федя, не волнуйся. У тебя криз будет снова. Лучше угощай товарищей…

На стене в раме висело много фотографий. Бравый матрос с надписью на ленточке бескозырки «Марат», он и высокая девушка с шапкой пушистых светлых волос, группа морских командиров с нашивками на рукаве и пилотках. В середине грамота о награждении орденом Красного Знамени младшего лейтенанта Долгова Александра Федоровича (посмертно). Фотография Федора Долгова в парадном милицейском мундире при всех орденах и медалях у развернутого знамени ленинградской милиции — здесь у него уже лицо раздуто, покрыто уродливой сеткой трещин и неестественно выпучены стеклянные глаза.

— Затопили в канале баржу с мукой, я сам пошел ее осматривать — каждый грамм муки был на учете. А тут «мессера» налетели, пока я, значит, под водой был. Ну и — шарах! — прямое попадание в водолазный бот. Естественно, будь я чуть слабже организмом, так бы в трюме на барже и остался. Но вот нет, не дождались, гадюки, выполз. Хотя, ясное дело, у меня все это, — провел он ладонью по лицу, — сотворилось. Полгода в госпитале, и списывают меня с флота под чистую. Нарушение кровоснабжения, говорят мне. Делать

нечего, пошел я в милицию — не на складах же пастись. А тут как раз это дело подоспело, и меня подключили для получения опыта.

— Федя, дай людям перекусить немного, — сказала жена. Она стояла у него за спиной и поглаживала его багровый, в рубцах и синих жилах затылок.

Долгов отмахнулся:

— Перестань! Они не за чаем пришли, им про дело интересно. Или, может, действительно поедим сначала? — спросил он нас с Леонидовым.

— Лучше всего — если вместе, — сказал Леонидов. — Чаек будем попивать и слушать.

Мгновение Долгов недоуменно смотрел на него, потом рубанул рукой:

— Ну да! Конечно! Вы пейте, а я буду рассказывать. Мне это тоже приятно — знать, что кому-то понадобились труды мои давние. Я ведь, если бы не это дело, надо полагать так, в милиции не остался бы.

— Почему? — спросил я.

— А то как же? Я пришел-то совсем с неважным настроением — все воюют на фронте, а я здесь в затишке с жуликами должен возиться! Я даже так думаю, что тогдашний наш начальник Иван Бодунов меня нарочно кинул на это дело, чтобы

у меня личный интерес возник к работе.

— И что, появился интерес? — спросил я.

— Еще бы! Меня за сто мешков муки, искалечило на всю жизнь, а эти гады ползучие у голодных людей последние крохи разворовывали. Ух, сволочи! До сих пор, как вспомню, злость охватывает! Ведь работали мы не то, что сейчас. Недоедали, недосыпали, а дело делали, как родное. И мазуриков меньше было. Это сейчас придумали там поруки всякие, суды товарищеские. Участковый на дружинников полагается более, чем на себя…

— А это разве плохо? — спросил я.

— Чего же хорошего? Ерунда получается, не чувствует человек ответственности за свою должность. Либерализм пустой разводят. А с преступниками не нюни нужны, а строгость железная! Строгости нет, и баловства от этого много… В мои времена не терпели этого. Сейчас судят убийцу, так он в десяти инстанциях жалость найдет. А я бы его — раз! — и в расход!..

— Ну, это ты брось, Федор Петрович, устарела такая методика, — сердито сказал Леонидов. — Принципы судопроизводства теперь совсем другие.

— Может, зря? — повернулся к нему всем гро-

мадным телом своим Долгов. — Зря, может быть, ко всякой твари жалость имеем? Кабы не пожалели тогда Никодимова, может быть, ты ко мне сейчас не прибежал? А-а? То-то! И не какая это не гуманность, а гнилой либерализм! Этот Никодимов наших людей не хуже немцев убивал!

Я хотел вмешаться в спор, но Леонидов незаметно сделал мне знак — молчи, а то разведем дискуссию до вечера. Тогда я спросил:

— А что он делал-то все-таки?

— Значит так, началось это все с Никодимова и приятеля его Паршина. Главным там, конечно, был Паршин, а Никодимов у него на подхвате. В общем, познакомился Никодимов с одной девчонкой, которая работала в типографии Гознака. Парень он был из себя видный, служил каким-то писакой в исполкоме — в сапогах хромовых щеголял, языкатый, веселый — ну и закружил девке мозги. Привел к себе домой и напоил. А пьяная девка, известно, себе не хозяйка. Сбил он ее на блудоход, а потом помыкал, как хотел. Вот и уговорил он ее притащить из типографии буквы из шрифтов, которыми продовольственные карточки печатали. Потом втянули подругу этой девчонки — та работала в обрезном цехе, стала она им таскать обрезь водной бумаги…

— Так на обрези ведь карточку не напечатаешь? — спросил я.

— А они карточки и не печатали — на этом проще было засыпаться. Они печатали только отрывные талоны. Почти год шуровали…

— Разве талоны без корешка принимали? — спросил Леонидов.

— Не спеши, — одернул его Долгов. — Когда талоны они изготовили, то стали вовлекать потихоньку директоров продовольственных магазинов, всяких сук, жадных да продажных. Сдавали такому гаду талоны на два ящика водки, например, он брал один себе, а другой — им. А бутылка водки тысячу рублей стоила, буханка хлеба — триста, кило масла — девятьсот. А-а, да что говорить! До тысячи человек в день от голодухи помирало, последнее люди отдавали за краюху хлеба. И вот эти черви могильные на горе людском, на крови да на слезах жизнь себе развеселую устроили, в золоте купались!

Долгов замолчал, и его стеклянные глаза в красных жилках потемнели, зачугунело его большое изуродованное лицо.

— Когда пошел я к Никодимову на квартиру — брать его, в утро это самое соседская девочка померла. И сам иду — в голове туман, гул от бо-

лезни да от слабости, от голодухи постоянной, от кофея эрзацного. Вошел к нему, огляделся — музей пополам с лабазом. Тут тебе хрусталь и шоколад, картины у стены сложены и бочоночек с икрой зернистой, в шкафу — кольца, браслетки, поверишь — зубы золотые в коробочке сложены, булки белые и сало-шпиг с тушенкой. В ящике со сливочным маслом триста монет золотых. Сел я на табурет и заплакал. «Фашист ты проклятый, — говорю ему, — ты ведь нам в спину из пулемета молотишь». А он стоит и трясется: «Дозвольте все сдать, только не убивайте…»

— А почему же его не расстреляли? — удивился Леонидов.

— Не знаю. Трибунал шестерым по этому делу дал расстрел. Пятерым просьбу о помиловании отклонили, а Никодимова отправили в штрафбат на передовую. Не знаю, может быть, снизошли к его молодости, рассчитывали, что перевоспитается еще под огнем-то. Да, видать, с таким горбом только в могиле исправляться.

— Кто он по происхождению, этот Никодимов? — поинтересовался я.

Долгов усмехнулся, его синие запекшиеся губы чуть раздвинулись.

— Из духовных. Его отец был дьячок где-то в

станице на Кубани. Потом лишили его папашу духовного звания святого, или как там это у них называется — обворовал он церковную кружку. Это мне сам Никодимов на допросе рассказал. Э, чего говорить — там, где было болото, беспременно вода вновь натечет…

День был солнечный, яркий, морозный. Толстыми гроздьями висел на деревьях иней, он облепил плотно решетку Летнего сада, на Марсовом поле полыхал, стелился желтый язык Вечного огня в каменной чаше, скакал в своем неостановимом порыве позеленевший от окиси Медный всадник, и все вокруг было очень покойно, мирно, тихо. Белым-бело было все вокруг…

— В управление? — спросил Леонидов.

— Нет. В гостиницу «Европейская».

— Зачем? — удивился Леонидов.

— Хочу посмотреть, как там проживал мой друг Белаш.

— Так мы же вроде договорились, что он свое московское алиби доказал?

— Нет, — сказал я упрямо. — Не договорились. Это я просто спорить не стал. А насчет алиби сомневаюсь.

— Тогда объясни хотя бы, — недовольно сказал Леонидов.

— Так мне и объяснять нечего. Я только думаю, что если бы он хотел продемонстрировать свое алиби, то не стал бы ложиться спать спозаранку…

— Во-первых, не такой уж спозаранок, время для него, чтобы спать, вполне подходящее.

— Это для тебя, — желчно сказал я. — Для человека, уставшего после трудового дня и совсем не заботящегося о том, чтобы зафиксировать свое алиби…

— Ну, устал-то он не меньше меня. И потом — что же ему было делать для этого? — засмеялся Леонидов. — В милиции зарегистрироваться, что ли?

— Хотя бы, — серьезно ответил я. — Ты ведь не знаешь этого парня, а я думаю, что если бы ему надо было подчеркнуть свое алиби, то он скорее всего слегка нахулиганил бы, чтобы попасть в милицию и на мой вопрос, конфузясь и стыдясь, протянуть справку из милиции. Вот так!

— Ну а если серьезно? — сказал Леонидов.

— А если серьезно, то Белаша с вечера и до восьми утра никто не видел и подтвердить его алиби не может. Вот это для меня серьезно.

Уезжая из гостиницы, я был твердо уверен, что Белаш мог выйти из номера незаметно для де-

журного. Его номер находился в середине очень длинного коридора с двумя поворотами, причем за вторым поворотом была лестница, выходящая в ресторан на первом этаже. Но, к сожалению, мою уверенность нельзя было рассматривать как мало-мальски серьезное доказательство, а это предрешало все остальное: моя поездка в Ленинград выглядела, по существу, безрезультатной. Я попросил Леонидова заказать мне билет на вечерний поезд в Москву. Он отправился в дежурную часть, а я сел за стол, открыл оставленную им папку с материалами по нашим запросам и стал листать протоколы допросов и справки. Вот допрос народного артиста Евгения Константиновича Преображенского: «Г. П. Белаша знаю с наилучшей стороны… безусловно честный… добросовестный… исключительно даровитый мастер… Да, в этот день он провел у нас время с обеда до позднего вечера… Заказал такси и уехал в гостиницу… Без четверти одиннадцать позвонил из номера и поблагодарил за гостеприимство… Очень любезный и внимательный человек… Точное время запомнил потому, что через несколько минут по радио должна была начаться трансляция записи 7-й симфонии Шостаковича под моим управлением… Да, Белаш именно об этом

говорил… Он сказал приблизительно следующее: «Сейчас ложусь в постель и буду наслаждаться музыкой со всеми удобствами…»

Без четверти одиннадцать Белаш говорил из номера с Преображенским. Значит, на последний самолет он никак не поспевал. Последний ТУ вылетает в 22.50. Погоди, погоди! А не является это вот тем подчеркнутым алиби?

Вошел в комнату вечно улыбающийся Леонидов и сказал:

— Твой поезд убывает без пяти двенадцать ночи. Билет в воинской кассе.

— Спасибо, старик Слушай, а ты не интересовался составом последнего авиарейса?

Леонидов ухмыльнулся еще шире:

— Представь себе, интересовался. Пассажира по фамилии Белаш на значится.

— Хм, может быть, я ломлюсь в открытую дверь? У тебя телефон центральной диспетчерской такси есть?

— Есть. А зачем?

— Я хочу узнать точно, когда он приехал от Преображенского. Там в журнале заказов регистрируют время подачи машины.

— Пожалуйста, — Леонидов придвинул к себе аппарат, набрал номер и бойким голосом ска-

зал: — Алле, алле, диспетчерская служба такси? Девушка, с вами говорят из уголовного розыска города. Здравствуйте. Нам тут справочка одна понадобилась, вот я передаю товарищу трубку, вы его проинформируйте, пожалуйста.

Я услышал мягкий девичий голос с украинским выговором:

— Слушаю вас, товарищ…

— Я вас попрошу посмотреть журнал заказов за 15 октября…

— Подождите минутку. — Я слушал, как она ровно и спокойно дышала в трубку, шелестели страницы, где-то там у нее, далеко спросил девичий голос: «Окся, ужинать пойдем?», и она ответила в сторону от микрофона: «Постой, сейчас отвечу и пойдем», и еле слышно пробивался в провод чей-то чужой разговор, потом она сказала: — Открыла за пятнадцатое.

— Заказ был сделан около двадцати часов по телефону А1-26-75.

— Сейчас посмотрим, — сказала девушка, и снова шелестели страницы, и снова я услышал голос: «Окся, ну ты скоро?», потом она сказала своим мягким, просто меховым голосом: — От, нашла…

— Так читайте, — сказал я нетерпеливо.

— Заказ принят по телефону А1-26-75 в 20.36.

Машина номер 66–52 выслана в 21.45. Уведомление о выходе машины по телефону сделано…

Я записывал на листе бумаги и вдруг увидел, что это обратная сторона протокола допроса Преображенского и прямо под моей запиской в анкетной части протокола четким каллиграфическим почерком Леонидова написано: «Дом. адрес — Литейный проспект, дом 18, кв. 45».

Диспетчер, удивленная моим молчанием, сказала в микрофон:

— Алло, алло! — Получилось у нее — «халло», «халло».

— Да, да! — крикнул я. — Девушка, а кто работал в этот день на машине 66–52?

— Коля Савушкин…

— …Следователь — это идеал человека, — сказал таксист Коля Савушкин, решительно отринув мои попытки что-либо возразить ему. — Как только встану на ноги — сразу пойду в юридический. Обожаю эту работу: приезжаешь на место происшествия, а вокруг — мертвые трупы, толпа, оцепление и так далее. И ты начинаешь без сна и отдыха…

— Без сна и отдыха нельзя, — осторожно вставил я.

— Не играет значения, — отрубил Коля. — Ко-

гда мы с ребятами из дружины выходим в рейд, милиция спокойно…

— Так что насчет пятнадцатого числа? — перебил я.

Савушкин удивленно воззрился на меня, потом в прежнем темпе, хотя и в новом направлении, затараторил:

— Необыкновенно! В этот день неприятности у меня были нарасхват! Сначала спустил баллон, потом кончился бензин, потом у вокзала схлопотал от контролера предупреждение… Да. А уж потом эта история: у меня определенно было предчувствие, что так просто она не кончится…

— Вы о чем, Савушкин? Какое еще предчувствие? — с трудом вклинился я в поток извергающейся из него информации.

— Как о чем?! Мне же сказали в парке, что вы спрашивали насчет вызова на Литейный, 18. Так я сразу, тогда еще понял, что дело не чисто…

— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался я.

— Пассажир был очень подозрительный. То есть сначала-то нет, ничего, молодой и разговорчивый, я таких предпочитаю, есть с кем поговорить. Он меня еще, как сейчас помню, сигаретой угостил, марки «Рига», с фильтром…

— А как он выглядел? — спросил я исключи-

тельно из контрольных соображений.

— Вот этого я не скажу, — сокрушенно бормотнул Савушкин. — Нет, врать не буду, особых примет не запомнил — он же мне только потом показался подозрительным! Так вот, закурили, разговорились — он еще посочувствовал нашему брату, шоферам: по городу ездить все труднее, а что будет, когда «Жигули» запустят — беда-а… Про себя рассказал, что сам музыкант, из Москвы приехал по делам… У нас, конечно, клиенты разные бывают…

Сообразив, что Савушкин вновь бросится сейчас к обобщениям, я поспешил направить его в правильное русло:

— А что еще говорил ваш пассажир?

Савушкин напрягся, собрал мучительные морщинки на невысоком лбу, даже неистребимые веснушки под его глазами потемнели.

— Говорил! — выдохнул он наконец облегченно. — Говорил. Устал, говорит, я как собака, сейчас поднимусь в номер и завалюсь, говорит, без задних ног. Помню, я еще ему пожелал с этаким легким ненавязчивым юмором: «Приятных, — говорю, — вам цветных и широкоэкранных сновидений» — на том и разошлись.

Савушкин смотрел на меня честно и несколько

независимо, с сознанием выполненного гражданского долга, слегка гордясь своим легким ненавязчивым юмором.

— Все? — спросил я.

— Все, — гордо сказал Савушкин.

— Позвольте, а что же ваши предчувствия? — поинтересовался я, ощущая безнадежность своего вопроса и опасность новых словоизвержений, которые он мог вызвать.

— Предчувствия? — несколько ошарашенно переспросил Савушкин, немного подумал и, досадуя на мою несообразительность, пояснил: — Так ведь произошло же что-то! Иначе вы не пришли бы о нем спрашивать? Ведь верно же я говорю?

Я посмотрел на него долгим признательным взглядом и душевно сказал:

— Нет, Савушкин, не стоит вам поступать на юридический, вы и не пытайтесь, не выйдет из вас следователя…

По дороге в центральную диспетчерскую Леонидов, выслушав мой план, неуверенно сказал:

— Это очень вольное предположение…

— Правильно. Но ведь это только предположение. Я ничего не утверждаю. Но предположить обязан.

Леонидов усмехнулся:

— Показания Савушкина только укрепили алиби Белаша. В твоих расчетах есть какая-то ошибка.

— Может быть. Но если я прав и украл скрипку Белаш, то он мог попасть в Москву только на самолете.

— Каким же образом?

— Я бы, оказавшись на его месте, заказал два такси…

— Весь внимание. Слушаю гипотезу.

— Ты не заметил, где стоит у Преображенского телефон? В коридоре?

— В таких квартирах это называется прихожая. А что?

— Я думаю, что, когда он заказывал такси и называл адрес, вряд ли кто из хозяев прислушивался к его разговору, А уж когда позвонили из диспетчерской и сказали, что машина вышла, это заметили все. Так он обеспечил себе эту часть алиби — прямо по нотам. Ведь даже таксист подтвердит, что доставил в «Европейскую» музыканта из Москвы, который безумно хотел спать.

— Допустим.

— Ему надо было гарантировать себе машину от гостиницы — там центр, рядом полно театров и филармония, откуда в это время выходит масса

людей, желающих ехать на такси, а у него время было рассчитано по минутам. Поэтому, как я понимаю, он еще раньше заказал себе такси около гостиницы. У него было времени в обрез — пятнадцать минут, пока придет машина, вызванная к Преображенскому, и минут пятнадцать, пока не начнет беспокоиться шофер такси около гостиницы. За это время он доехал до «Европейской», сказал Савушкину, что идет спать, а сам через ресторан вышел на улицу, сел в заказанное такси и помчался в аэропорт. Логично?

— Не совсем. Со звонком Преображенскому неувязочка.

— Увязочка, вполне увязочка! Билет на самолет у него был куплен заранее, поэтому перед самым вылетом он позвонил из автомата и отметился у Преображенского — ложусь в постель и буду слушать вашу музыку. А сам в самолет — и в Москву.

— Прекрасно. А из Москвы? Не забудь, что он вернулся до восьми часов!

— С этим разберемся. Мне нужен диспетчерский журнал…

Судя по записям в диспетчерском журнале, заказы на такси к 9-10 часам вечера в районе гостиницы «Европейская» были сделаны в три

адреса: на Московский проспект, на Охту и на Кировский проспект. Двое водителей, оказавшиеся на месте, объяснили, что на Охту поехал старичок с внуком, на Кировский проспект — две женщины. Третий таксист — Сергей Иванович Могилевский — был в отпуске, и допросить его мы не могли. Но в журнале против его фамилии стояла красная галочка.

— А что за галочка? — спросил я у диспетчера Оксаны.

— Пропажа, — охотно пояснила она.

— Какая пропажа? — насторожился я.

— Та в смысле — находка, — пояснила девушка.

— Ничего не понимаю — пропажа, находка!

— Та в смысле — была у того пассажира — от «Европейской» до Московского проспекта — пропажа в машине Сергея Ивановича… Ну, забыл пассажир в машине вещь свою… Сама железная, вроде скобы, и на деревянной ручке. Ручка красивая…

Мы вышли на улицу.

— Слушай, Леонидов, а ведь ему не удалось нас обмануть, — сказал я и потер руками лицо, чтобы встряхнуться перед последним рывком.

— Не понял… — воззрился на меня Леонидов.

— Сейчас поймешь. Ведь Московский проспект — по дороге в аэропорт, так? Значит, просишь таксиста чуть продлить маршрут, и все. Так-так-так… Порядок… А сейчас посмотрим в камере хранения «находку». Я, кажется, знаю, что это за штука…

Глава 6
Сто процентов алиби

Что может произойти за пятнадцать лет? Много? Мало?

Паоло Страдивари стал богат необычайно и очень переживал, что неаполитанской короной ему было отказано в дворянском достоинстве из-за низких занятий его отца.

Джузеппе Страдивари был пожалован в звание коадъютора святого ордена Иисуса.

Франческо и Омобоно Страдивари по-прежнему готовили отдельные части к скрипкам своего отца и ремонтировали старые инструменты.

Антонио Страдивари строил новые скрипки.

Веселый француз Дювернуа — купец и посредник — умер от грудной жабы.

Старый Гварнери помогал сыну.

А сын его — Дель-Джезу — получил свободу.

Пятнадцать лет строил он скрипки, искал новые конструкции и формы, менял направление разрезов дерева, способы его сушки и пропитки, бился с непослушными и непонятными лаками. Он уже испортил двадцать три инструмента,

когда решил, что понял секрет красоты скрипок Страдивари. Дель-Джезу стал вываривать дерево в льняном масле, и красоты они были неслыханной, но звук вскоре потускнел и погас.

Выбирая конструкции, он начисто зачеркнул все, что сделали Амати, и сразу начал с того, чего достиг на склоне лет Страдивари: самая маленькая скрипка Дель-Джезу была больше, чем «аллонж» Страдивари. Решительным надрезом он высекал на деках длинные острые готические эфы. Скрипки его были длинны и покаты и походили на фрегаты океанские.

Он не знал, что Страдивари полвека назад нашел для своего лака сок эуфорбия маршаллиана, и в долгих мучительных поисках пришел к новому решению: лучший консервант и отражатель звука — молочный сок бразильских фикусовых пальм. Толстым слоем он наносил бесцветный лак на дерево, а сверху покрывал тонкой пленкой цветного, и нижний слой просвечивал сквозь верхний как фольга, и вся скрипка сияла радостным тонким светом.

Скрипки свои Дель-Джезу сушил долго, затем насыпал внутрь разогретый овес и тщательно, долго чистил, а потом обыгрывал инструмент, поскольку был уверен, что у новой скрипки звук

еще не вошел в силу, он еще неподвижный, сырой, он еще затуманен и дремлет.

А когда скрипка бывала совсем готова, приходил монах и забирал ее.

Как в турецкий плен уводили детища его, и больше никогда Дель-Джезу не слышал голосов своих скрипок. Господи, за что же такая мука?!. И не видно было этому ни конца, ни края, потому что пятнадцать лет текут очень медленно…

За делами не успел Дель-Джезу жениться — сначала было недосуг, а потом уже поздно. И внимания его не искали кремонские девицы — кому нужен тщедушный головастый урод, блаженный дурачок, торчащий с утра до заката в мастерской?

Он ел, что случалось, а случалась обычно жидкая похлебка, овечий сыр да кукурузная каша. И одет был скудно и неряшливо. Ходил сутулясь, нелепой, дергающейся походкой, наклонив низко тяжелую голову и в задумчивости держась за длинную рыжеватую бороду, отчего стал совсем похож на карлика из бродячего цирка Эспозито. Людей дичился и, когда с ним разговаривали, застенчиво смотрел в сторону, будто сделал что-то дурное или боялся, что прибьют. Говорить с людьми стало мукой, ибо единственное, что он

мог рассказать им, — это какой волшебный сад звуков цветет вокруг, достаточно взять в руки его скрипку — и станет она надежным другом в этом искрящемся, бушующем и пенном океане. Но больше ни о чем он не мог рассказать людям, потому что изо дня в день гнулся над верстаком, нигде не бывал и никого не видел, а потому совсем ничего не знал, и говорить с ним никому не хотелось, и от этого он не мог никому рассказать про сказочный мир звуков, в котором поселился навсегда. А люди? Люди смеялись над ним и дразнили «Дель-Джезу — деревянная душа»…

И все, о чем он думал в одиночестве, о чем мечтал наедине, что напевал тихонечко во время работы, снилось ему по ночам в долгих, ярких, задумчивых снах, которые вставали из глубин дремлющей памяти, как из морской пучины вздымаются прекрасные и хрупкие миражи. В снах были звуки, движение, цвет, форма, они сулили отдохновение и покой, в них бушевали сила и красота жизни. И звучали удивительные мелодии, и каждый звук жил отдельно, и Дель-Джезу точно помнил во сне звук наливающейся солнцем капли росы, шелест сосновых иголок, тихий треск лопающихся каштанов, ток крови в молодом здоровом теле, свистящий шелест рек,

протяжный резкий крик орлов и синий звон альпийских льдов, во сне дребезжали колокола и грохотал прибой, с гиком и ржанием катилась конница и тяжело гудел пушечный гром, пели люди, могучие великаны, метались птицы и плыл зеленый плеск подводных рыб. Мир был громаден, могуч и свободен, и он был никем не заселен, не занят — в нем хватило бы места для всех, но пока в нем нашел себе одинокий приют лишь маленький Дель-Джезу, больной и нищий.

И об этом сказочном богатстве подвластного ему радостного мира заговорили скрипки Дель-Джезу всем, имеющим уши. Скрипки Дель-Джезу, золотистые великаны, длинные стройные красавцы, простодушные и гостеприимные, они кричали могучими голосами:

— Люди, нас прислал наш отец, добрый властитель волшебного мира! Мы приглашаем вас, отец повелел служить вам, люди, долгие столетия! Люди, мы — ваши, слушайте нас, мы счастливы служить вам!

Но никто не слышал их, а может быть, и не слушал. И они кричали с тоской и с горечью:

— Наш отец в неволе у злых дураков! Помогите освободить его, и он откроет еще много волшебных миров счастья! Люди, ему же совсем ничего

не надо, только капельку свободы!

Но ответом было молчание. И с болью и гневом, голосами страстными, рвущимися от отчаяния, они просили о милосердии:

— Наш отец болен! Он скоро умрет и не успеет сделать виолончель, которую мечтал построить всю жизнь! У него нет времени сделать хоть один инструмент для себя! Помилосердствуйте! Все, что было у него, он отдал вам, люди. Неужели всей силы и богатства мира не хватит, чтобы помочь больному нищему гению? Помоги-и-те-е!..

Их голоса неслись уже по всей Европе, но только эхо возвращалось, искаженное, злое, насмешливое…

— Это скрипки покойного старика Гварнери? Он совсем сошел с ума — это не скрипка, а барабан. Грубые буйные звуки для простолюдинов. На них можно играть только на площади перед толпой…

Ну где же вы, братья гения? Где вы — Гайдн, Моцарт и Госсек? Где вы — Пуньяни, Паганини, Гавинье? Придите на помощь: в тоске и нищете гений раздает свой талант — по дукату за скрипку отбирают долг иезуиты. Расскажите миру о гении, расскажите, что он еще не умер и эти волшебные, плывущие через вечность корабли сделал он, а не

покойный дед Андреа! Времени осталось совсем мало, хотя он согласен подождать. Сколько?..

— Век. Или два.

— Век? Нет, поздно. Он будет жить всего несколько лет. Вам останутся только его дети — его скрипки. Позаботьтесь хотя бы восславить имя Гварнери рядом с вашими именами.

— Мы обещаем…

А сегодня — день свободы. Кончилось рабство у иезуитов.

Джузеппе Страдивари, коадъютор святого ордена, засмеялся длинным, жестким, как напильник, смешком:

— Нет, Дель-Джезу, ты будешь с нами до самой смерти…

Дель-Джезу рассеянно подергал себя за бороду, задумчиво сказал:

— Не буду… И зовут меня теперь только Гварнери. Нет больше никакого Дель-Джезу. Я свободен.

— Дель-Джезу умрет вместе с Джузеппе Гварнери, — покачал головой монах. — Ты стал строптив и дерзок. Мои люди сказали, что ты отдал вчера скрипку бродяге. Это правда?

— Да, — кивнул огромной головой Гварнери.

— И написал в ней слово поклонения Антонио Страдивари, которого назвал своим учителем.

Это правда?

— Правда.

— Ты будешь наказан.

— У вас нет сил наказать меня, — грустно усмехнулся Гварнери. — У каторжника можно отнять только цепь.

— И еще кров и еду, — спокойно молвил монах.

— Я вам больше ничего не должен, — сказал устало Гварнери.

— Ошибаешься. Ты не выполнил договор — скрипки твои не покупают. Судья выселит тебя из дома.

— Кому нужна такая хибарка? — поднял черные печальные глаза Гварнери.

— Только тебе. Вот тебя мы и лишим ее…

Антонио Страдивари, великий мастер! Разве ты не слышишь совсем близко стенания горя? Разве ослаб твой зоркий глаз и ты не видишь, как твой черный выкормыш душит сына души твоей?

Нет, стар, совсем стар Антонио Страдивари. В девяносто лет, если рука еще тверда, а глаз светел, надо спешить, надо строить свои последние скрипки, корабли в далекое завтра, которое скрыто от нас горизонтом нынешнего дня. И последняя земная работа — надо купить, продается недо-

рого, прекрасный мраморный склеп семейства Виллани в часовне церкви святого Доминика и велеть очистить с камня их имена. Надо приготовить себе место последнего упокоения…

Антонио Страдивари, великий мастер, зачем тебе мраморный склеп, когда сын мечты твоей, продолжатель помыслов и жизни твоей, мастер Джузеппе Гварнери Дель-Джезу спит под забором, выхаркивая с кровью куски легких?

Но Антонио Страдивари уже ничего не слышит, он совсем оглох и звуки своих скрипок ощущает только пальцами…

* * *

Находка в машине таксиста Сергея Ивановича Могилевского, которая, по словам диспетчера, была железякой вроде скобы с деревянной ручкой, оказалась камертоном. Это была старинная антикварная вещица: черно-синие ножки из инвара, деревянная, отполированная тысячами прикосновений ручка с еле заметными на ней, неглубоко прорезанными буквами — «П. И.». Я ехал с Ленинградского вокзала домой к Раисе Никоновне Филоновой и держал в руке камертон. Когда я легонько ударял пальцами по нему, он издавал долгий поющий звук. Я подносил поющий

камертон к уху, и звук усиливался, он гудел, пел низко и взволнованно, и, может быть, потому, что я ничего не понимаю в музыке, мне казалось, что в этом однообразном гудении слышны колокола судьбы, тягучее бормотание Мельника, стремительный ветер мелодии, которую играл мне больной Поляков на прекрасном «Вильоме», который был все-таки хуже «Страдивари», и мне слышался в нем грохот катящейся по мостовой будки с перепуганным айсором, и взволнованные «так ска-ть» учителя Трубицина, безмолвный ужас бабки Трумэна, тупое оцепенение ребят, неожиданно для себя в одно мгновение ставших соучастниками убийства, и радостный крик души Белаша в конкурсном концерте Гайдна, грохот ломающихся льдин, и жуткий животный вопль тонущего Лопакова-Хрюни, и хриплое дыхание бегущего среди разводьев Никодимова, и шипение голубого крайта, приготовившегося для смертельного броска, усталый голос Иконникова — «вы еще совсем мальчик…».

— …Да, мне знакома эта вещь, — сказала Раиса Никоновна. — Этот камертон несколько лет назад Павел Петрович подарил Грише Белашу.

За несколько недель, которые я ее не видел, она стала совсем старой. Бессильно подергивалась го-

лова, нервный тик сводил глаз, лицо потемнело, припухло, почти все время были прикрыты веки, и одна за другой стекали из-под ресниц слабые старческие слезы.

В комнате чисто, но по какому-то еле уловимому беспорядку видно, что убиралась здесь не хозяйка. Остро пахло сердечными каплями, от запаха нашатырного спирта и уксуса кружилась голова. На маленькой немецкой люстре — креп, траурная лента свисает с портрета Иконникова. Здесь, рисованный, еще живой Иконников — сильный, властный, почти всемогущий.

— А Григорий Петрович к вам не заходит?

— Нет, — покачала Филонова головой. — Он боится.

— Чего?

— Он боится, что я буду обременять его разговорами о Павле Петровиче.

— Почему вы так думаете?

— Не знаю… У Павла Петровича был друг — гроссмейстер по шахматам, они иногда играли. И Павел Петрович у него нередко выигрывал.

Я не понял и переспросил:

— И что? Какая связь?

Филонова мельком взглянула на меня и опустила глаза.

— Нет, ничего… Просто дело в том, что Павел Петрович довольно средне играл в шахматы. Его мог обыграть совсем несильный игрок. А вот у гроссмейстера он выигрывал.

Я все равно не уловил ее мысль, а мне очень хотелось понять, что она имеет в виду. Я сказал как можно мягче:

— Раиса Никоновна, объясните мне, что вы хотели сказать. Почему он выигрывал у гроссмейстера?

Снова выкатилась из-под ресницы слеза, она не спеша вытерла ее платочком.

— Он очень хорошо знал своего друга, и всегда точно угадывал ход его мысли, и гроссмейстер часто не мог перехитрить его. А заурядный игрок, которого Павел Петрович не знал, мог.

— Вы хотите сказать, что Павел Петрович не смог обыграть Белаша?

— Нет. Я это применительно к себе сказала. Я совсем не умею разбираться в людях, а это искусство потруднее шахматного. Но за много лет я так хорошо узнала Белаша, что он — гроссмейстер — не смог меня перехитрить. Хотя меня может обмануть всякий. Вы вот тоже надо мной подшутили…

— Раиса Никоновна, вы же простили меня. Я

очень хотел сделать как лучше…

— Бог с вами. Это все пустое. Вообще, какое это все имеет значение? Я ведь и про Гришу просто так сказала, к слову…

— А в чем он хотел вас перехитрить?

— Гриша хотел всем показать, что он добрый и хороший человек. А меня он считал глупой и ничтожной и поэтому не старался создавать у меня хорошее впечатление о себе. И я постепенно поняла, что он зол, очень утомлен и почти всегда напуган.

— А вы говорили об этом с Павлом Петровичем?

— Что вы? Как можно? Павел Петрович его любил, значит это и меня устраивало. Так надеялся Павел Петрович на него! Он мечтал сделать из него великого музыканта. Большего, чем Лев Осипович Поляков.

— Чем Поляков?! — переспросил я.

— Да, — просто и тихо сказала Филонова. — Некоторые думали, что Паша завидует Полякову, А ведь это было совсем не так. Он мечтал воспитать музыканта еще большего масштаба, чем Поляков, потому что рассматривал Льва Осиповича как мерило дарования и трудолюбия. И в этом надеялся найти свое искупление перед искусством. Он

ведь умер вовсе не из страха перед скандалом…

— А почему?

— Не знаю, но мне кажется, его убило что-то, зачеркнувшее всю его жизнь. А такое могло исходить только от Белаша: у Павла Петровича не было большей жизненной привязанности… Сколько я его знала, он лишь однажды был в таком же состоянии, как незадолго перед смертью.

— А что вызвало это состояние?

— Вы ведь знаете, наверное, что наши выдающиеся музыканты играют на прекрасных старинных инструментах, которым нет цены. Вручаются они по специальному акту правительства. И вот, когда Павел Петрович твердо решил покончить с музыкой, он пошел и сам, понимаете — сам, ему никто не говорил об этом, пошел и сдал инструмент. У него был изумительного звука «Гварнери». И он сдал его. А для скрипача это, как… ну… нет, я не могу подобрать примера…

— Н-да, — сказал комиссар. — У каждой загадки на конце разгадка, да только до правды семь верст, и все лесом…

Комиссар покрутил в руках камертон, щелкнул по нему пальцем, прислушался к низкому ровному гудению, поднес его близко к уху, потом резко положил на стол. Камертон слабо звякнул

и утих.

— Слушай, а как же он не зазвенел на полу машины?

— А он не на пол упал. Белаш выронил его из кармана на заднее сиденье. Там его и нашел таксист после смены.

— Торопился, видно, сильно Белаш. А как же с поездом обратно в Ленинград?

— С поездом? Очень просто. Ведь в Ленинград ездят с Ленинградского вокзала, так?

— Так.

— Вот то-то и оно. Мы тоже все время думали, что он поедет назад с Ленинградского вокзала — это само собою разумеется. А они решили вопрос остроумнее во всех отношениях…

— Ты так радуешься их остроумию, будто они в КВН выступали, — усмехнулся комиссар.

— Я не их остроумию радуюсь, а своему. Ведь я их шарады все-таки решил?

— Тебе по должности и полагается, — дрогнул бровью комиссар. — Так что они состроумничали?

— В 1 час 12 минут на Курском вокзале останавливается скорый поезд Ереван — Мурманск, следующий через Ленинград. Они об этом знали заранее, и билет для Белаша был готов. В час

двадцать он уже тронулся на север, в 7.35 прибыл в Ленинград, через пятнадцать минут сидел в номере у телефона и ждал звонка дежурной. Кроме времени и маршрута поезда, в этом был еще один резон — ночной проходной поезд, все спят, темно, никто и в глаза разглядеть Белаша не мог.

— Хорошо они рассчитали, — покачал головой комиссар. — Ловкие, сволочи… Ты за ним сам поедешь?

— Нет. Я его вызвал по телефону.

— По телефону? — удивился комиссар. — А если догадается и сбежит?

— Не сбежит. Куда ему бежать.

— Смотри. Ты же не медведь, должен все предусмотреть.

— А что медведь? — спросил я.

— Да это в тех местах, где я родился, так говорили: медведь дуги гнет — не парит, а сломает — не тужит. Тебе будет о чем тужить.

— Хорошо, — сказал я, взял со стола камертон и пошел к себе.

У дверей моего кабинета дожидался Белаш. Мы поздоровались, и по тому, что он не подал руки, я сразу почувствовал, что он догадывается, зачем я его вызвал.

Вошли в кабинет, сели к столу, Белаш достал

пачку сигарет, одну закурил, и все время он смотрел мимо меня в окно, и в глазах его не было ни тоски, ни страха, ни злости — ничего не было. Мы долго молчали, и ему было легче, потому что у него было хоть какое-то занятие, он курил. А я просто молчал и смотрел на него, а когда заговорил, голос мой звучал хрипло и неуверенно:

— Григорий Петрович, вы ничего не хотите мне рассказать?

Белаш, не поворачиваясь ко мне, все так же неотрывно глядя в окно, сказал:

— Нет. Не хочу. Да и говорить мне нечего.

Я хотел переложить камертон из кармана в ящик стола и нечаянно задел им папку на столе. Камертон низко и длинно загудел. Белаш резко, рывком повернулся на этот звенящий звук и увидел в моих руках камертон.

— Нашелся все-таки, — сказал он так, будто забыл его у меня дома, и целый вечер мы вдвоем безуспешно проискали его, и вот сегодня я нашел и принес ему. И от этого спокойствия я пришел в себя.

— Если вам нечего мне сказать, я предъявляю вам, Григорий Белаш, обвинение в краже скрипки «Страдивари» из квартиры профессора Полякова. Вы согласны с предъявленным обвинением?

Белаш наконец оторвал взгляд от камертона, посмотрел на меня совершенно прозрачными, пустыми глазами и смотрел на меня долго, будто собираясь с мыслями или пытаясь рассмотреть меня на сером фоне стены. Потом устало сказал:

— Да, согласен.

Наступила тишина, томительная, тягучая, пустая. Не было в этой тишине противоборства мыслей, бесшумного скрежета злобы, изнуряющего оцепенения страха. Я был уверен, что Белаш даст мне бой по всем правилам, что он будет биться за каждый вопрос, за каждое слово. А он вдруг коротко ответил — да, согласен…

— Расскажете, как это произошло? — спросил я.

Он отрицательно покачал головой:

— Нет, сейчас не могу. Я очень устал. Я нечеловечески устал. Я много месяцев, ночь за ночью, день за днем не сплю. Иногда, если мне случается ненадолго задремать, тогда мне сразу снится ваше лицо. Не Крест, и не Иконников, и не Поляков. Мне снитесь вы, и я вас так ненавижу, что у меня кружится голова…

Долгая пауза плыла по комнате, потом я сказал:

— Значит, вы все-таки так ничего и не поняли

во всей этой истории. А тут было над чем подумать…

— Может быть, — сказал Белаш и прикрыл глаза, опустились его припухшие, чуть синеватые веки с длинными ресницами. — С того момента, когда мы впервые встретились, я понял, что вы, серый и злой мужлан, — моя судьба. Куда я ни пытался дернуться, куда ни сунусь — вы уже здесь побывали, поговорили, все выяснили, и каждый день я чувствовал, как вы затягиваете на моей шее удавку. Сегодня вы можете радоваться: я сдался — больше не могу, я устал. Вы загнали меня в западню, как зверя. Радуйтесь! Что же вы сидите с постным лицом?

Человек выгорел изнутри от страха и непрерывного напряжения, как танк, в которой попал термитный снаряд. Ужасно. И говорить с ним сейчас бесполезно. Белаш открыл глаза, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Вы похожи на автобусного контролера. Он стоит вместе со всеми людьми на остановке, мерзнет, мокнет, потом вместе со всеми теснится и рвется на посадке, кого-то отталкивает, потом влезает в автобус, все угомонилось, и вот тут — цап! Вы достаете свой жетон — ваши билеты?

— Так в транспорте билеты надо брать, — по-

морщился я. — У кого билет есть — ведь ничего страшного?

— А если у человека нет на билет? А ехать хочется? Тогда как? — почти в истерике крикнул Белаш.

— Тогда вы залезаете в карман к стоящему рядом человеку и суете мне его билет, а на него киваете — вон он, заяц, берите его!

— Но я тоже хотел ехать в автобусе! Я тоже имею право на это!

— Нет, вы хотели ехать не в автобусе, а в шикарном лимузине, и если для этого понадобилось бы на ходу выкинуть из него кого-нибудь — вас это не остановило бы.

— Думайте как хотите, — сказал Белаш. — Мне это безразлично. Когда-то в разговоре со мной вы упомянули Минотавра, хотя и не знали, что Минотавр — это я. И тем самым выдали мне оправдание. Минотавр не виноват, что родился чудовищем, и пожирал он других потому, что хотел есть. А сейчас я больше не буду с вами говорить, отправьте меня в камеру. Я очень устал, я очень хочу спать…

— Хорошо. Один вопрос — где скрипка?

Белаш смотрел на меня пустыми прозрачными глазами, смотрел так, будто мы расстаемся на

всю жизнь, и он покрепче хочет запомнить меня, потом тихо засмеялся, истерическая улыбка раздирала ему губы, а в глазах прыгали пятна безумия, и он смеялся все громче и надрывнее, и что-то старался сказать сквозь этот ненормальный, сотрясающий его всего, как в ознобе, хохот, но слова не вылетали из сведенного судорогой рта, он захлебывался ими, давился, они раскалывались на отдельные части, вылетая бесформенными, бессмысленными звуками отчаяния и злорадного испуга, и мне кажется, я в жизни не видел более страшного зрелища, чем это припадочное веселье связанного Минотавра. И сквозь эти булькающие, всхлипывающие, подвывающие звуки я наконец разобрал:

— Скрипка?.. Я — же — вам — го-во-рил — «Стради-ва-ри» — воруют — чтоб — не — по-па-даться… Нет!.. У меня нет скрипки!.. И не было…

Глава 7
Характер человека — его судьба

Шестерка белых лошадей везла катафалк к часовне церкви святого Доминика. Сзади, тяжело печатая шаг, маршировала рота гвардейцев. Усохший, лысый, очень прямой шел за гробом отца монсиньор Джузеппе Страдивари, и сухие синие губы его благочестиво возносили молитву, а пальцы быстро-быстро перебирали четки. И горько, сердито плачущие Франческо и Омобоно: в мастерской отца они нашли только счета за скрипки и ни одной записочки о его тайных секретах, и последние их надежды разрушила огромная куча бумажного пепла в очаге бурбарта.

И все почетные и почтенные горожане достойного тихого города Кремоны шли в траурной процессии, и вкрадчиво, неназойливо плыли над ними в полдневной тишине удары монастырского колокола: бам-м, бам-м, бам-м…

Сыновья умершего великого мастера были озабочены разделом наследства, солдаты думали о том, что сегодня, возможно, дадут много хороше-

го вина, горожане настороженно оглядывались — не выглядят ли они хуже других. И только сутулый головастый человечек в нищей рваной одежде, оттертый в самый хвост процессии, плакал искренне, от души о том человеке, которого положат сейчас под мраморную плиту с надписью: «Благородный Антониус Страдивариус, скончался на 94-м году славной и благочестивой жизни».

Возгласили гремящее «амен», и солнце почернело, метнулось пойманной птицей среди облаков — дайте проститься с гением! Но все отталкивают, пихают в бока, шпыняют взашей его, грязного бродягу, сумасшедшего, пришедшего на похороны Страдивари со своей скрипкой. Пустите!.. Но каменные локти, железные спины, гранитные затылки стоят стеной, и не слабому, хрипло дышащему человеку бороться с ними.

Да и зачем? Дель-Джезу вышел на дрожащих своих ногах и долго, судорожно кашляет. Его, Дель-Джезу, давно уже нет. Растоптали, заплевали, лишили чести злым хохотом невежд:

— ...Дель-Джезу, ты откуда взялся, ты же ведь сидишь в тюрьме?!

— Я никогда не делал ничего плохого, и в тюрьме я не бывал.

— Не ври, все знают, что ты за воровство сидел в тюрьме и наводнил Кремону скрипками, сделанными топором…

— Я никогда не был вором, и в Кремоне нет моих скрипок. Злые люди ставят на ужасных инструментах мой знак, чтобы лишить меня чести и на моем бесчестье разбогатеть…

— Не ври, Дель-Джезу, все говорят, что ты в тюрьме почетный гость. А если говорят, значит знают…

— За что сидеть мне в тюрьме? Я мухи в жизни не обидел, и крошки я чужой не взял…

— Тогда зачем святая церковь всех предостерегает — знакомство или дружбу не водить с тобой?

— Они мне мстят.

— Не упорствуй, Дель-Джезу! Преклони колени перед церковью, покайся, и прощен будешь.

— Мне не в чем каяться — я делаю доброе.

— Ха-ха-ха! Все знают, что ты почти ослеп в тюрьме и от тюрьмы твоя чахотка…

— Клевещут на меня. Я потерял здоровье, создавая красоту, которая способна мир воспеть…

— Так покажи нам красоту! Ха-ха-ха-ха!..

Гварнери поднял скрипку, достал из-под полы смычок, провел им по струнам. Скрипка будто

сделана в один день, в один миг, на одном вздохе, одним взглядом и прикосновением — так много в ней свежести и легкого дыхания. И вся она — сияние, будто не строгали ее, не пилили, не клеили, не красили, не лакировали. Будто Гварнери только представил ее себе на мгновение, и в ту же секунду она родилась. Будто подхватил на лету два осенних дубовых листка, сложил — и совершилось чудо.

И звук ее необычен — напряженный по силе, насыщенный, как солнечный свет, он так богат, мудр и могуч, этот необыкновенный чарующий звук — все притихли.

И пошел Гварнери по дороге, играя на скрипке, и никто его не удерживал, и никто не кричал обидных слов.

Маленький, сгорбленный, с огромной головой, шел он по дороге и играл для себя, для всех, будто магической силой своего заколдованного инструмента вызывал из марева будущего тех людей, для кого он прожил свою тягостную и светлую жизнь. Ни на кого он не сердился, ни на что не досадовал, ибо постиг всем существом своим, что гений — это добрая мудрость сердца. Не нужно ему богатства, поскольку нет большего богатства, чем радость трудного свершения. Не нужны ему

почести, поскольку сам судит себя за достойное, а постыдного не совершит. Только любовь нужна гению для счастья да немножко человеческой благодарности. Пусть хоть через век…

* * *

— Я тебя понимаю, — сказал комиссар. — Но он вор. И, оттого, что истекли сроки давности по старому производству, он преступником быть не перестал.

— Я знаю.

Комиссар посмотрел на меня поверх очков:

— Тебе жалко его?

— Трудно сказать. Мы ведь выросли на соседних улицах — могли быть товарищами.

— Он бы тебя обязательно предал, кабы товарищами стали.

— А может, все сложилось бы по-другому?

Комиссар покачал головой:

— Диалектику поведения определяют наши поступки. Он ведь не демон, а обычный человек. Он нес в себе груз тяжкого преступления, в котором не раскаялся. И в каждой острой ситуации инстинкт самосохранения был бы все сильнее, а совесть все тише… и сговорчивее.

Я хотел сказать, что в тюрьму уходит очень

умный, одаренный человек, и это ужасно неправильно — не то, что он уходит в тюрьму, и то, что он сделал, и за это многие годы проведет в неволе — с насильниками, грабителями и убийцами. Но тут вошел дежурный и доложил:

— Арестованный доставлен…

— Давайте, — кивнул комиссар.

Дверь отворилась, и два милиционера ввели Белаша.

— Свободны, — сказал комиссар конвою. — А вы, гражданин Белаш, садитесь. Будем говорить…

— Вы в этом уверены? — с вызовом спросил Белаш.

— И не сомневаюсь даже ни на минуточку. Это вы сейчас чувствуете себя таким гордым несчастным созданием, вроде Франкенштейна, а пройдет чуть-чуть времени, и вы начнете бороться за каждый месяц скидки с полагающегося вам срока… И я считаю это правильным, — неожиданно резюмировал комиссар. — Потому что человеку место на свободе, а не в тюрьме, особенно если он все осознал и понял, как ему надо дальше жить…

Белаш опустил голову и сказал:

— В этом есть определенный резон. Что вас интересует?

— Интересует нас все. А начнем мы с того, как вы, позвонив из аэропорта профессору Преображенскому, отправились в Москву.

— Пожалуйста, — Белаш мельком взглянул на меня и начал рассказывать: — Самолет прилетел по расписанию, я сел в такси и в двадцать минут первого уже был на площади Маяковского, где меня ждали Крест и этот мужик, которого я встретил на допросе у нашего друга Тихонова…

— Кто этот человек? Что вы можете о нем сказать?

— Я его никогда до этого не видел.

— И не поинтересовались у Креста, что это за птица такая?

— Поинтересовался. Но вы Креста не знаете: более хитрого и осторожного негодяя я в жизни не встречал.

— А что?

— Судя по тому, что этот мужик меня не опознал, он тоже обо мне ничего не знает. Крест сказал: все организовано так, что попасться мы не можем. Но не ровен час, так тебе лучше и не знать его — человек слаб духом, вдруг захочешь «мусорам» покаяться — да бог тебя побережет: захочешь, да не сможешь, сказать-то нечего… Тебе так лучше будет…

— Понятно, — сказал комиссар. — Значит, встретились вы…

— Ко мне подошел Крест и объяснил, что все готово — в квартире никого нет, человек с ключами ждет нас. Предупредил, чтобы я ни в коем случае не вступал с ним ни в какие разговоры. Я поднял воротник, надвинул поглубже козырек кепки и пошел в подворотню… Ну, этот догнал меня в подъезде.

— Почему вы велели ему подниматься на лифте, а сами пошли пешком? — спросил я.

— В подъезде было сумрачно, а в лифте ярко горела лампа — он мог меня рассмотреть, А кроме того, я подумал, что к тому времени, когда я поднимусь, он уже откроет замок. Так и получилось…

— Вы свет в квартире зажигали? — задал вопрос комиссар.

— Боже упаси! — с каким-то испугом сказал Белаш. — Да мне и не надо было — я бывал там много раз и ориентировался совершенно свободно. Я сразу прошел в кабинет и ломиком, который мне дал Крест, легко открыл секретер…

— Как получилось, что вы забыли «фомку»? — спросил я.

— Мне надо было вынуть скрипку из футляра и

переложить в заранее приготовленный под пальто мешок. Поэтому я положил ломик на кресло и не заметил в темноте, как он скатился за сиденье. А зажигать свет Крест напрочь запретил. Ну… медлить и искать его я опасался. Я просто притворил дверь шкафа и вышел из квартиры…

— Сколько времени заняла вся эта процедура? — поинтересовался комиссар.

— В квартире я находился две-три минуты, не больше. Вышел на улицу, сел в машину, Крест отпустил этого человека, и мы поехали на Курский вокзал. До прихода ереванского поезда еще оставалось несколько минут. На площади перед вокзалом я отдал Кресту мешок со скрипкой, и он спросил меня еще — инструмент не перепутал? Я ничего не ответил, вылез из машины, Крест протянул мне билет и пачку завернутых в газету денег. Сказал, что разыщет меня, дал газ и уехал. А я отправился в Ленинград. Вот и все…

— Вот и все… — повторил комиссар и спросил: — Вам рассказал Крест об участи Хрюни-Лопакова?

— Он сказал, что Хрюня должен скоро выйти, и послал его пока сбить кое-какую копейку для жизни на свободе. Мол, пришла пора расплатиться за старый долг.

— Н-да, — покачал головой комиссар. — Обманул вас компаньон…

— То есть как обманул? — поднял голову Белаш.

— Хрюня умер около четырех лет назад.

— Умер? — повторил побелевшими губами Белаш. — Умер? Значит, меня преследовал призрак?

— Выходит, что так, — сказал я. — Но и здесь ошибка, Григорий Петрович. Не призрак Хрюни — вас преследовал призрак убитой старухи Семыниной.

Белаш посмотрел на меня, перевел снова взгляд на комиссара и растерянно пробормотал:

— И все эти страдания… все это… движение без цели, как… петух с отрубленной головой?

— Да, именно так, — сказал комиссар и почесал в затылке. — Вот и получилось у вас с Иконниковым, как в молитве: изъязвлен он был за грехи ваши и мучим за беззакония ваши.

Белаш еще мгновенье смотрел на нас невидящими белыми глазами, потом сказал медленно, и слова раздельно падали, как камни на пол:

— Будьте вы все прокляты!..

Комиссар криво усмехнулся и сказал:

— Нас-то вы зря проклинаете. Такая уж работа у

нас — раздать всем должное: кесарю — кэсарево, слесарю — слесарево. А субъект вы интересный — эгоизм у вас прямо какой-то болезненный. Все у вас виноваты: и Хрюня, и Крест, и Тихонов, и я. А сами-то вы как себя чувствуете? Никак агнцем безвинным? Так это неправильно…

— А что правильно? — с яростью спросил Белаш.

— Человеком надо быть порядочным. Вот это правильно, — тихо сказал комиссар. — И это иногда труднее, чем семнадцать лет от закона прятаться. Кресту идею насчет скрипки вы, наверное, подали?

Белаш кивнул.

— Вот Тихонов думает, что он вас насквозь изучил. А я полагаю, что он заблуждается.

Мы с Белашом одновременно подняли взгляд на комиссара. Он усмехнулся:

— Видите, Белаш, он не меньше вашего изумлен. Но у него это оттого, что никак он не может еще перейти через барьер хорошего отношения к вам. А мне вы очень давно не нравитесь, поскольку я понял вашу человеческую сущность…

— Что же вы поняли? — спросил с мучительной гримасой Белаш.

— А то, что вы завистник. Не обычный какой-

нибудь ничтожный завида, а завистник-титан, завистник с большой буквы. И правоту мою подтверждает самый характер преступления.

— Сейчас вы вправе говорить что угодно, — пожал плечами Белаш.

— Только не стройте из себя казанскую сироту, это стыдно, — сказал комиссар, закурил сигарету, взмахом руки отогнал от лица дым. — Вы подошли к самому страшному рубежу своей жизни. Так что соберитесь с мужеством и постарайтесь пройти через это как человек, а не как тварь.

— А что ждет меня? — спросил Белаш.

Комиссар пожал плечами:

— Я не суд, наказаний не назначаю. Но думаю, что вас ждет много лет тюрьмы или колонии, и от вас зависит, сможете ли вы вернуться еще к нормальной жизни, или ваша жизнь закончилась вчера, во время ареста.

— Но почему вы решили, что я завистник?

— А вы разве этого не знаете? — удивился комиссар. — Кстати говоря, Крест это сразу понял, как только глубже разговорился с вами. Ведь это вы ему рассказали о «Страдивари»?

— Ну, предположим…

— Тут и предполагать нечего. Я уверен, что вы рассказали ему о скрипке, еще и в мыслях не

имея украсть ее…

При слово «украсть» Белаша всего передернуло, но комиссар спокойно продолжал:

— Да, да, украсть. Вы ему просто жаловались — живут же люди — талант, удача, а один инструмент чего стоит! А уж потом он взял вас за горло именно со скрипкой. Да и сопротивлялись вы не сильно — грела идея сильно насолить Полякову, который, с вашей точки зрения, был в жизни чересчур удачлив. Вы решили взять на себя роль судьбы и хоть в какой-то мере уравнять шансы Полякова, Иконникова и свои собственные. Правильно я рассуждаю?

— Это неправда! — сказал с придыханием Белаш. — Это людоедство!

— Верно, — согласился комиссар. — Но в игре с Иконниковым вы перешли от людоедства морального к физическому. Кто из вас сообразил играть на Иконникова? А-а?

Белаш сглотнул ком в горле, перехватил дыхание, хотел что-то сказать, потом опустил глаза и чуть слышно сказал:

— Крест.

— Значит, Крест был бомбардир, а вы корректировщик огня? Так я понял?

Белаш кивнул — так.

— Красиво, — пробормотал комиссар.

Белаш поднял голову, и в глазах у него стояли слезы.

— Я этого не хотел. Я этого так не хотел! Я не верил, что так страшно может кончиться, — прошептал он.

— Это хорошо, что вы не хотели, — сказал комиссар. — Но все-таки делали?

Белаш помолчал. Потом хрипло сказал:

— То, что вы сейчас со мной делаете… это бесчеловечно.

Комиссар надел очки и внимательно посмотрел на него.

— Н-да, вопросы мы задаем вам неприятные, — он задумчиво постучал пальцами по столу. — Довольно трудно вслух сказать о том, что ты обворовал, предал, опозорил и убил учителя. Труднее, оказывается, чем все это сделать. Ладно, оставим. Скажите-ка, как нам найти Креста?

— Не знаю, — сказал Белаш, и вдруг будто прорвало его, он заговорил быстро, запинаясь, горячо, боясь, что мы не поверим ему: — Я, честное слово, не знаю. Я вообще о нем ничего не знаю. Когда я был ему нужен, он всегда звонил мне по телефону или приходил. А где он живет, я не знаю…

— Что он собирался сделать со скрипкой? Он

ничего не говорил на этот счет?

— Нет, но мне кажется… я думаю… он хотел ее сбыть по своим каким-то хитрым каналам…

— А когда вы с ним виделись в последний раз?

— Позавчера.

Комиссар искоса посмотрел на меня и спросил:

— Где?

— У меня дома.

— Железные у вас нервы, — засмеялся комиссар. — Я бы на вашем деле в два счета от страха свихнулся, а вы — ничего… И зачем он приходил?

— Интересовался, о чем Тихонов на допросе расспрашивал.

— Уважает он, значит, Тихонова? — усмехнулся комиссар. — Считается с его интересами?

Белаш промолчал, а мне вдруг в голову пришла мысль, но я не успел спросить, потому что комиссар и на этот раз подумал быстрее. Он наклонился к Велашу через стол и спросил негромко, как-то даже задушевно:

— Ну а что, Григорий Петрович, вы Тихонова Кресту показали?

Белаш испуганно отшатнулся от комиссара, будто тот ударил его в лицо, совсем он стал серого цвета, быстро пробормотал:

— В каком смысле? То есть как?

Комиссар легонько, коротко, зло хлопнул ладонью по столу и так же негромко и от этого особенно страшно сказал:

— Вы мне тут дурочку не валяйте! В прямом смысле! Крест знает Тихонова в лицо?

Белаш, загипнотизированно глядя в лицо комиссару, кивнул:

— Знает.

— Где вы показали Тихонова Кресту?

— В кафе «Арарат». Он сидел за два столика от нас.

— У Креста оружие есть?

— Пистолет у него…

Комиссар покачал головой:

— Ох, Белаш, рисковый вы человек. Да только не по зубам вы игру с нами затеяли. Ну хорошо, обыск у вас будем делать…

В однокомнатной квартире Белаша было намусорено, пыльно, на всем лежала печать равнодушия и запустения, и невольно казалось, будто хозяин не ушел отсюда сутки назад, а бросил это жилье давным-давно.

Обыск производила Лаврова, и когда Белаш смотрел на нее, лицо у него было нехорошее, темное. Я сказал ему:

— После обыска вы можете переодеться, взять теплые вещи и курево.

— Спасибо. — И вновь в комнате наступила тишина, нарушаемая только шумом шагов Лавровой и взволнованным сопением понятых.

Белаш долго рассматривал грязный паркет под ногами, потом сказал мне:

— Моя беда в том, что я вроде тех футболистов, которые если и дают кому пас, то стараются догнать мяч сами и получить свою же передачу…

Я неопределенно пожал плечами, Белаш придвинулся ко мне:

— Вы не верите? Ведь я, честное слово, не мог представить, что все это развернется в такие драматические коллизии. Во всем виноват Крест.

Я посмотрел на него в упор, подумав с тоской, что страх убивает человека хуже пули. Белаш искренне, горячо объяснял:

— Вы никогда не видели «ведьмино кольцо»? Это такая лысая круглая поляна, вокруг которой растут целые заросли грибов. Своими корнями они душат, убивают все кругом…

Он уговаривал сам себя, и смотреть на него мне было невыносимо.

— Это вы с кем здесь пировали? — спросила Лаврова, показывая на грязный, заваленный

объедками, пустыми бутылками, консервными банками стол.

— С Крестом, — сказал Белаш.

Я спросил:

— Значит, у вас канала связи с Крестом нет?

— Нет. Он всегда появлялся неожиданно.

— Он не говорил, когда будет у вас в следующий раз?

— Он этого никогда не говорил.

— Вы можете установить какую-то периодичность его визитов?

Белаш покачал головой.

— Как вы думаете, Крест живет в Москве?

— Скорее всего нет. Вообще разговора об этом не было, но однажды он сказал: «Ты через полчаса в постели, а мне еще пять часов до дома топать».

— Номер его машины вы не рассмотрели?

— Нет. Но если бы я даже знал его назубок, вам бы это все равно не принесло пользы.

— Почему?

— Вы еще плохо знаете Креста. Он продумывает все — до мельчайших деталей. И скорее всего на его машине стоит чужой номер. Во всяком случае, когда он приезжает в Москву.

— Каких-нибудь особенностей, необычных вещей на его машине вы не заметили?

Белаш подумал, развел руками:

— Обыкновенный «газик». Разве что никелированные колпаки на колесах — обычно ведь на таких машинах нет колпаков…

— Внешняя манера поведения Креста?

— Сволочь, — сказал Белаш. — Этакий развеселый дядя, бабник типа «скот в сапогах»…

— Это что-то новое, — отозвался я. Сообщение меня заинтересовало, потому что на таких субчиков иной раз можно выйти через шлейф покинутых и потом долго неутешных дам.

— Ничего нового, — презрительно сказал Белаш. — Бабник-мародер, что ли. Он мне как-то сказал, что ездит отдыхать в Анапу: «Там мамочки с больными детьми, расстроенные они, обиженные судьбой, очень нуждаются в сочувствии».

— Н-да, хорошего компаньона вы себе подобрали.

— Я его не выбирал. Как и вас…

— Что правда, то правда. Мы вас действительно сами нашли. Только с разных сторон. Одно жаль, что Кресту вы оказали гораздо меньшее сопротивление, чем мне…

Белаш пожал плечами и засмеялся, зло, с повизгиванием:

— А что в этом удивительного? Крест отнял у меня только совесть, вы хотели забрать все. Да и забрали…

— Да, — сказал я устало. — Но вы забыли, что я пришел, когда совести уже не было.

Пропало у меня почему-то сочувствие к нему — и в последнем, самом тяжелом испытании Белаш оказался совсем дрянным человеком. И то, что мне удалось остановить поток его жизни и как киноленту пустить его вспять, тоже не радовало, это принесло мне только человеческое разочарование, да и профессионального удовлетворения не было — скрипки, из-за которой мне пришлось предпринять поход в чужие судьбы и события, отзвучавшие семнадцать лет назад, пройти сквозь вероломство, подлость, обман, — скрипки не было. Она по-прежнему находилась в цепких жилистых руках человека, который продумывал свои негодяйские дела до мельчайших деталей и твердо гарантировал своим сообщникам, что они никогда не попадутся.

Я даже приблизительно не представлял себе, где и как мы можем искать Никодимова. Устроить засаду в квартире у Белаша? Но когда снова явится Никодимов, неясно, а Белаша все время придется держать дома, чтобы он ответил

на предварительный звонок Креста. Это очень сложно — может, и месяц пройти, пока он явится вновь. Попробовать съездить в Анапу, навести там справки? Дело громоздкое и неверное. Что же делать? И сколько времени он намерен держать у себя скрипку? А вдруг он ее уже сплавил? От этой мысли меня даже замутило — неужели все, что произошло за эти два месяца, все это зря? Ведь если я даже поймаю Никодимова — сейчас, когда у меня лежала его фотография, это было вполне реально, — а скрипки уже не будет, то наступит только возмездие, а мне нужна скрипка…

Лаврова спросила у Белаша:

— Продукты и выпивка — из ваших запасов или Крест принес?

— Крест принес, — медленно сказал Белаш. — А что?

И я тоже не понял, почему она спрашивает об этом.

— Ничего, — сказала Лаврова и повернулась ко мне: — Такую банку, помнится, я видела на кухне у Мельника…

«Маслята маринованные любительские» — обычные консервы, мало ли. Мне и в голову не пришло, что обычные маринованные грибы, которые и годятся только на то, чтобы водку

закусывать, могут определить судьбу старинной скрипки и поставить точку во всей этой истории, указав логово Минотавра. Минотавра, который предусматривал все до мельчайших деталей, а такой глупости, как пустая банка из-под маринованных грибов, не предусмотрел…

Я позвонил своему приятелю Гусеву — следователю из отдела автотранспортных происшествий.

— Сережа, есть занятная задачка по твоей части. Не интересует?

— Нет, — любознательно ответил Гусев. — У меня своих задачек полон сейф.

— Так те ты обязан решать, это скучно, как на уроке. А моя будет вроде субботнего кроссворда — ради удовольствия…

— Не морочь голову, дорогой товарищ. Говори, чего надо, — и салют!

— Серега, посчитать надо, как далеко могла уехать за пять часов машина.

— Какая машина?

— ГАЗ-69. Выехала из центра Москвы около полуночи 12 октября, по метеосводке — моросящий дождь, в Московской области туман, езды около пяти часов. 12 октября, учти, будний день, понедельник… Приехала машина в Москву, ско-

рее всего проделав этот же маршрут, и колесила целый день по городу — так что не исключено, что по дороге заправлялась бензином…

— Подожди, — сказал Гусев. — Я посчитаю…

Он, видимо, сверялся с картой, что-то недовольно бурчал себе под нос, потом сказал:

— Думаю, что в радиусе Калининской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областей. Плечо перегона не более двухсот пятидесяти километров.

— Что же это получается — всего пятьдесят километров в час?

— Максимум. Ты ночью сядь в «газон» да в дождь, да при встречном грузовом движении — попробуй больше проехать.

— Обязательно…

— Вы себе консервную банку представляете? — строго спросила меня Лаврова.

— А что, похоже, что я уже и этого не соображаю? — осведомился я.

— Нет, кое-какая надежда сохраняется, поэтому спрашиваю. А вы отвечайте.

— Хорошо, — покорно кивнул я. — Представляю. Металлический или стеклянный, полый внутри цилиндр, герметически закупоренный, с пищевой начинкой.

— А что в цилиндре? Что есть обязательно на этом металлическом или стеклянном цилиндре?

— Этикетка, — сердито сказал я. — Вы не можете предложить мне вопросов позанимательнее?

— Для более занимательных вы еще не готовы, — спокойно ответила Лаврова. — А кроме этикетки?

— Еще часто бывают грязь, противокоррозийная смазка, пальцевые отпечатки, ценник и надпись «В северных районах на 5 копеек дороже». Все, больше ничего не бывает. И все это нас в данный момент не касается…

— Ошибаетесь, — сказала Лаврова. — На каждой консервной банке, на крышке или на донышке всегда бывают еще цифры и буквы…

— Цифры? — удивленно переспросил я и вспомнил, что действительно на банках всегда выдавлены рельефные буковки и цифры.

— Да, цифры. И я, так же как и вы, никогда не обращала на них внимания. Но ведь они что-то обозначают, раз их ставят… А сегодня я решила поинтересоваться этим всерьез.

Я понял, куда гнет Лена, но осторожно сказал:

— Я думаю, что в каждой партии сотни тысяч банок…

— И это возможно, — спокойно сказала Лавро-

ва. — Но у нас другого пути нет. Смотрите, что я узнала…

Она развернула лист бумаги, на котором было крупно написано: «К2630/211И349».

— Ка-две тысячи шестьсот тридцать дробь двести одиннадцать-И-триста сорок девять, — вслух прочитал я. — Тьфу, чертовщина какая! Ничего не понимаю.

— Неудивительно, — усмехнулась Лаврова. — Это шифр с крышки консервной банки из-под маслят маринованных, которыми закусывали Крест с Белашом. По словам Белаша, банку принес Никодимов.

— А как его можно расшифровать — шифр этот?

— Я как раз этим и занималась сегодня в Министерстве пищевой промышленности.

— Поделитесь, — с интересом попросил я.

— Пожалуйста. Буква «К» обозначает группу заводов, к которой относится изготовитель этой банки. Всего, оказывается, таких знаков три — «К», «М» и «Р». «Р» — это рыбокомбинаты, «М» — мясо-молочные заводы, а «К» — все прочие консервные предприятия, в том числе и овощные.

— Между прочим, я бы и сам мог догадаться, что маринованные грибы делают не на рыбокомби-

нате, — сказал я сварливо. Из ехидства, конечно, и из зависти сказал, потому что понимал, что Лаврову осенила богатая идея.

Лаврова махнула на меня рукой и продолжала:

— Отбрасываем последнюю цифру — это год изготовления.

— Ноль — это год изготовления?

— Не ноль, а семьдесят, — терпеливо объяснила Лаврова. — В семидесятом году, сиречь нынешнем, изготовили эти грибы. Семерка опускается и штампуется только ноль.

— А может быть, в шестидесятом? Тоже ноль.

— Овощные консервы не подлежат таким срокам хранения. Остается цифра 263 — это индекс завода. Что такое консервный завод № 263? Оказывается, это межколхозный овощной консервный заводик во Владимирской области, Сасовский район, село Котельники. Продукция почти полностью поступает в областную торговую сеть для реализации в основном через магазины облпотребкооперации. Вас эти сведения согревают?

— Владимирской области?.. — пробормотал я. — Гм, вполне подходит. Просто здорово. Леночка, можно я вас поцелую?

— Можно! — поспешно сказала Лаврова и тут же засмеялась: — А вас не смущает, что это... в

служебном кабинете?

Я покачал головой и чмокнул Лаврову в щеку. Она подняла на меня глаза и спросила с искренним интересом:

— Слушайте, Тихонов, а почему вы решили, что ваш поцелуй может быть для меня формой благодарности?

— Ну, вы же мне давно сказали, что я злой и сентиментальный человек, — обрадовался я возможности «отыграться». — А они, злые, сентиментальные человеки, всегда так думают. Но при всех обстоятельствах вы сократили объем работы раз в двадцать.

— Или в сорок, не будем мелочными, — снисходительно кивнула Лаврова. — Тут ведь остались еще цифры и буква. Обозначают они вот что: первая цифра — номер смены, которая изготовила эту банку. Две следующие — 11-е число, буква И — август месяц, а последние цифры — индекс самих консервов. Правда, это нас не интересует — и так видим.

— А почему И — это август?

— Вы бы мне придумали вопрос полегче. Откуда я знаю — почему И? Может быть, по порядку. — А январь, Б — февраль и так далее.

— Может быть. Впрочем, это уже неважно.

— Вы со мной поедете в Котельники?

Лаврова долго, пристально смотрела на меня, и мне показалось, что она хочет сказать что-то очень важное, но она молчала, и мне вдруг показалось необходимым понять, о чем она сейчас думает, да по ее лицу разве что-нибудь прочтешь? Так я и не понял, о чем думала Лаврова, а она, посмотрев на меня еще немного, сказала:

— Вызывайте машину…

— Одиннадцатым августа интересуетесь? — спросил начальник цеха. — Сейчас по журналу производства проверим…

Он придвинул к себе пухлую засаленную конторскую книгу и стал искать нужную нам запись. Очки при этом он сдвинул на лоб, а книгу поднес к самым глазам, и со стороны казалось, что он вынюхивает нужный ему сорт консервов. От внимания и напряжения серо-седые вислые усы двигались в такт строчкам.

— А вот и одиннадцатое, — сказал он. — Так, в этот день мы начали изготовление маслят, а вся партия шла до четырнадцатого. В ночь на пятнадцатое варочный котел остановили на промывку, а с утра пятнадцатого пошли грузди. Всего изготовлено в серии 1674 банки консервов…

— А движение продукции? — спросил я.

— Сейчас глянем журнал регистрации сбыта, — он взял со стола другую книгу, и ритуал вынюхивания нужной строчки повторился. — Ага, вот запись за шестнадцатое — Колотовскому гормагу отпущено: маслята-1674 банки, грузди — 965 банок…

— Мы только маслята любим, — сказала Лаврова. — А Колотово — это где?

Начальник цеха с такой силой уцепился за свой ус, что я испугался, как бы он не оторвал его.

— Охота пуще неволи. Из-за грибов — в такую даль, — сказал он удивленно. — А Колотово — это городок, шестнадцать километров отсюда.

— Я даже и не слышал про такой, — сказал я. — А много жителей в нем?

— Откуда? — отпустив ус, махнул рукой начальник цеха. — Тысячи полторы-две от силы…

— Про нас можно сказать так: что потопает наш заготовитель, то полопает наш потребитель, извиняюсь, конечно, за слово полопает. Но факт — из песни слова не выкидают, — директор колотовского гормага объяснял нам свои принципы обслуживания покупателей. Вначале он несколько взволновался, приняв нас за работников ОБХСС, но, разобравшись, успокоился, стал много веселее, общительнее и даже остроумнее.

— Нынешний крестьянин… — он делал ударение только на последнем слоге, — это не прежний сирый земледелец. Это передовой колхозник, требующий от нас заботливого и вдумчивого отношения к его столу питания. И мы стараемся с честью ответить ему на его растущие культурные и материальные потребности. Мы ведь предприятие потребительской кооперации, и то, что мы приобретем от производителя, приходит на стол к труженику села. Поэтому мы стараемся, чтобы этот стол был обильнее и разнообразнее…

Я не выдержал и перебил его выступление:

— Вы шестнадцатого августа получали консервы с завода в Котельникове. Покажите мне документы.

Директор вновь дал легкую рябь волнения:

— Пожалуйста, вот смотрите. Я ведь, можно сказать, здесь ветеран. Почти два десятка лет работаю. Каждая собака, извините за слово, меня здесь знает, и я у всех на виду. У нас не скроешься — все друг друга видят…

— Сколько у вас осталось еще маринованных маслят?

— Я сейчас посмотрю на полках — должно быть, самая малость. Очень большим спросом пользуется этот товар, — он выскочил из конторки.

Я подошел к Лавровой, курившей у открытой форточки:

— Он действительно должен знать здесь всех. Если нет ошибки в принципе, то он нас выведет на Креста.

— Не должно быть ошибки, — сказала Лена. Лицо у нее было осунувшееся, утомленное, синие круги обвели глаза. — К вечеру областная ГАИ даст сведения о «газиках» с никелированными колпаками.

Вошел директор и радостно сообщил:

— Осталось еще шесть ящиков. Настоятельно рекомендую взять с собой. Знатоки считают, что это исключительно редкий маринад — богатейший вкусовой букет. Кстати, завтра с утра, извиняюсь за слово, гусей выкинем. Не интересуетесь, к Новому году — вареничков со шкварками…

— В другой раз как-нибудь, — сказал я. — Будьте добры… Взгляните на эту фотографию. Личность вам не знакома?

Директор нацепил очки, завел за уши железные дужки, внимательно вгляделся в фотографию.

— Господи, да это никак Петр Семеныч! И не признать сразу — худой да стриженый!

— Так сколько лет пробежало! — охотно подключился я. — Сейчас-то что поделывает Петр

Семеныч? В начальство, наверное, вышел?

— Да нет, заготовитель он наш. Отличнейший работник, должен вам сказать. Вдумчивый. За что Полозов ни возьмется, все делает «на большой», извиняюсь, конечно…

— А где он сам-то сейчас, Полозов?

— В Сасово за билетами поехал, скоро должен быть. Нужен?

— Да-а… Покалякать захотелось. А куда ему билеты?

— Отпуск у него пропадает неиспользованный. До 31-го надо оформить. Он и решил недельку погулять, к сестре в Елец прокатиться, а с шестого числа мы его отзовем — дел многонько сейчас.

— В Елец, значит, на недельку? — переспросил я. По всем архивным данным у Никодимова никакой сестры и в помине не было.

— Ну да, в Елец. Вон и гостинцы заготовил, — директор показал на обвязанный веревкой чемодан и два небольших ящика, стоявших в углу.

— А что же он свои гостинцы у вас, а не дома держит? — неожиданно вмешалась Лаврова.

— Квартиру он у Кузьмичева Степана снимает, домишко совсем паршивенький, крыс полно… Вот он и боится, что продукты пожрут.

Я посмотрел на толстые оконные решетки,

тяжеленный железный засов, но не успел ничего сказать, потому что Лаврова резко, почти на вскрике произнесла:

— Станислав Павлович!!

Я удивленно поднял на нее взгляд — Лаврова отступила от окна, лицо ее побледнело еще больше и как-то вытянулось, и она почти шепотом, сипло сказала:

— Вы хотели присмотреть для своей машины колпаки…

Я вылетел из-за стола и в один прыжок подскочил к окну.

Из зеленого «газика» с блестящими колпаками на колесах вылез человек. Был он плотен, коренаст, темная бекеша круглила литые плечи, торчком на голове стояла меховая шапка, серые чесанки косолапо загребали снег. Здоровым саквояжем в руке отмахивал легко, играючи. Сквозь льдистую роспись мороза на стекле лица его было не рассмотреть.

Директор магазина, уже стоявший за моим плечом, сказал высоким испуганным голоском:

— Это он и есть, Полозов Петр Семенович. Очень хороший человек…

Я повернулся к нему и сказал быстро:

— Садитесь на свое место и сидите тихо…

— Но почему?..

Он увидел в руке Лавровой пистолет и осекся.

— Я вам сказал — садитесь! Лена, встаньте за дверь!

Директор сел за стол, онемев от испуга и неожиданности, и я понял, что если там — во дворе — Крест, то он все поймет с первого взгляда. Шансов на игру не осталось. Я тоже вынул пистолет, дослал патрон в ствол, расслабил кисть, чтобы не дрожала рука, и опустил пистолет в карман так, чтобы можно было сразу выстрелить сквозь пиджак.

Совсем рядом затопали шаги, дверь распахнулась, и вошел человек. У него была странно маленькая для таких плеч голова. Курносый носик, веселые бесцветные глаза, румяные с мороза щечки, белесые брови — таких лиц тысячи, оно неприметно, и, расставшись с ним, забываешь его навсегда. Но я его не мог позабыть — это было лицо Никодимова, Креста, это было лицо моего Минотавра. Он совсем не постарел по сравнению с архивными фотографиями, чуть заматерел разве. Может быть, годы не властны над кошмарами?

Вот, наконец, и встретился я с ним, с чудищем из лабиринта, сделавшим мою жизнь невыноси-

мой, потому что из-за него лежал на мне ужасный груз невыполненных обязательств.

Он сказал:

— Здравст… — и тут увидел меня, и в глазах его сполохом метнулась искра мучительного воспоминания, и исчезла, потому что он сразу же узнал меня. В правой руке у него был саквояж, и он не мог мгновенно сунуть руку в карман. Для этого надо было бросить саквояж, а это целая секунда. И ее больше у него не было.

По инерции он сделал еще шаг, и Лаврова, выйдя из-за притолоки двери, ткнула его стволом пистолета в шею.

— Руки за голову!

— Поднимайте, поднимайте ручки! — сказал я и пистолетом показал, что руки придется поднять.

Никодимов бросил или уронил свой баул, звук был тупой, мятый, как сапогом в глину, и медленно, как-то сонно стал поднимать руки вверх. Я засунул руку в боковой карман его бекеши и, когда доставал теплый тяжелый брусок браунинга, ладонью ощутил, как бешено, судорожными рвущимися ударами колотит у него сердце, и в этом истерическом, жутком бое был нечеловеческий страх, и в этот момент Никодимов стал мне противен, как взбесившийся волк.

— Руки вперед! — Я захлопнул у него на запястьях наручники и, тяжело вздохнув, смахнул со лба каплю пота. — Теперь все…

Никодимов тяжело рухнул на стул.

— Вы зачем мною интересовались, Данила Спиридонович? В «Арарате» меня запоминали зачем, а? — спросил я. — Ну ладно, повезем вас в Москву. А то вашим компаньонам Новый год встречать скучно. Скрипка где?

Никодимов молча смотрел мимо меня. Я встал, поднял с пола и расстегнул саквояж. Несколько пар белья, полотенце, мыльница, пачечка гальманина, электробритва.

— Где скрипка? — снова спросил я.

Никодимов глубоко вздохнул, будто нырять собрался, и придушенным голосом быстро сказал:

— Товарищи, граждане, здесь какое-то недоразумение… Я никакой скрипки в глаза не видел… Я в отпуск собираюсь… Я к сестре на недельку, отдохнуть… Хоть весь дом переверните — нет у меня ничего. Ошибка это ужасная, граждане… Я ведь уже билет купил… Вот только попрощаться — и на поезд… Я ведь опоздаю, товарищи-граждане… нехорошо это будет… Дети без гостинцев останутся…

Он никак не мог собраться с мыслями и все

бормотал какую-то жалостливую чушь, стараясь выиграть время и сообразить, что делать. Я открыл один ящик и стал вытаскивать оттуда ломти розового сала, банки с консервами, мед. Разорвал веревку на чемодане. В нем лежал мешок, я развязал его — по ладони прохладно сыпанулась белоснежная мука-крупчатка.

— Где скрипка?

— Да что это происходит, господи! — тонко взвизгнул Никодимов. — Я понятия не имею, о чем вы говорите! Ищите, пожалуйста, сами увидите, что вы меня с кем-то спутали… Я честный человек, детям вот решил привезти вкусненького, полакомить сирот… А тут такая напасть…

— Честный, значит, — сказал я. — С пистолетом… — И взял трубку телефона, чтобы вызвать из Сасова конвой.

— Мукой-крупчаткой сирот полакомить… — как в забытьи сказала Лаврова. — Станислав Павлович, мешок…

Я положил трубку, засучил рукава и стал пригоршнями высыпать муку из мешка прямо на пол. Сыпучей белой горкой вырастала она рядом со мной, пока пальцы не наткнулись на что-то твердое. Наверное, археологи так же бережно сметают пыль со своих находок, и хотя меня

всего сотрясала лихорадка, я очень осторожно и медленно выгребал пригоршни муки вокруг продолговатого плоского свертка. Потом я потихоньку потянул сверток вверх, и он плавно выскользнул из муки. Я потряс его легонько, взметнулся клуб белой мучной пыли. Потом стянул целлофановый пакет, в котором лежал обернутый байкой предмет. Через ткань я почувствовал прихотливо изогнутую поверхность скрипки. Пальцы онемели, одеревенели, стали непослушными, они дергали завязки, сучили полотняные ленточки, а узел все равно не распускался, и тогда я зубами рванул тесьму, и ткань с треском лопнула.

Замирающий свет зимнего предвечерья туго плеснул в темно-красной полированной деке, в печке стрельнуло полено, и тотчас тонко задрожала струна, пальцы ощутили ласку резного завитка, изящно развернулись боковые прорези, и сквозь них была видна надпись на дне скрипки «Santa Maria, Antonius Stradivarius. Faciebat ANNO 1722» и рядом — широкий мальтийский крест.

Я прижал скрипку к груди и сказал Лавровой:

— Эх, Леночка, жаль, нет смычка!

Она засмеялась:

— А то бы сыграли?

— А что? Сейчас, честное слово, смог бы! Поляков бы позавидовал!

Лаврова взяла из моих рук скрипку, посмотрела надпись и погладила верхнюю деку нежно, как ребенка по голове, потом снова засмеялась и сказала:

— Все-таки лучше не надо. Пусть каждый занимается своим делом.

Комиссар повернул регулятор громкости, и не по-ночному свежий голос сказал из динамика:

— …В Москве три часа шесть минут. На «Маяке» передача «Опять двадцать пять»…

И сразу же стройный джазгол дружно спросил: «Ты куда, Одиссей? От жены? От детей?..»

Комиссар помотал головой и, к великому моему удивлению, сказал в унисон артисту, на редкость похоже:

— Шла бы ты домой, Пенелопа… — И весело, легко захохотал, блестя золотыми зубами. Я тоже заулыбался, а он, не переставая смеяться, спросил: — Слушай, а куда это Крест со скрипкой под Новый год от жены, от детей намылился?

— Нет у него ни жены, ни детей, — сказал я. — Он несчастных мамочек предпочитает. А собрался он в Ленинград. Третьего числа должен

был там встретиться с швейцарцем по имени Морис Козлов…

— Швейцарец — Козлов? — удивился комиссар.

— Точно, по гражданству. А вообще-то, надо полагать, потомок каких-нибудь эмигрантов.

— И чего хочет этот белогвардеец?

— Я думаю, он не белогвардеец, спекулянт скорее. Или маклер. Он должен свести Креста с каким-то приезжим бизнесменом, и тот назовет цену за инструмент. Как они собираются переправлять скрипку за границу, Крест не знает.

— И что — разочаруешь швейцарца Козлова? — поинтересовался комиссар.

— Наверное. Завтра надо будет выехать в Ленинград, поближе взглянуть на любителей старинных скрипок. Но это уже пустяки — как говорится, вопрос техники.

— Лады, — кивнул комиссар. — Ты скрипку Полякову завтра повезешь?

— Да. Я вот думаю, может быть, его сюда пригласить? Для торжественности.

Комиссар ухмыльнулся, и в косом свете настольной лампы ярко блеснул его зеленый глаз.

— Для торжественности? А ты его что, награждаешь этой скрипкой? Скрипка-то, между

прочим, его, а не твоя. Просто попросил помочь разыскать ее, вот мы и того… подсобили…

— Ага, — сказал я и почесал в затылке. — И это верно.

— Вот вас с Лавровой мы за это дело наградим ценными подарками. Есть у нас приемнички такие маленькие, по тридцать рублей, «Маяк» — берут бесподобно, вот мы в торжественной обстановке вам и вручим.

— Ну, спасибо, — сказал я.

— Благодарить рано. Это мне еще с отделом кадров согласовать надо. Так что благодарить подожди.

— Ладно, я подожду.

Комиссар кивнул на динамик, откуда доносилась песня о неугомонном Одиссее.

— Вот этот парень ведь не из-за ценного подарка старался? — Он встал, обошел свой огромный стол, положил мне руку на плечо и негромко сказал: — Спасибо тебе, сынок…

Мы ехали с комиссаром по пустынным, ярко освещенным улицам. Домой, спать. Остро пахло хвоей, даже здесь, в машине, ощущался этот терпкий свежий аромат — город готовился к Новому году, везде наряжали елки. На площади Маяковского комиссар показал мне рукой:

— Вон, посмотри…

Огромная афиша сообщала о концерте Льва Полякова. И розовой, как аспид, полоски «ОТМЕНЯЕТСЯ» не было.

— Он еще ничего не знает, — сказал я.

— Вот позвони утром и сделай человеку сюрприз, — комиссар снял фуражку, привалился головой к боковой стойке и задремал.

Шуршали по замерзшему асфальту шины, и от ровного шелеста мотора клонило в сон. Вязли и медленно, бесшумно тонули мысли в мягкой одури, звучали обрывки звуков, фраз, плыли какие-то воспоминания, неподвижные, цветные, мгновенные, как фотографии. Красное солнце в окне гостиной Полякова, трещины на портрете королевы — «Скрипка, где моя скрипка?!.» — тонкие детские пальцы скрипача в черной дактилоскопической мастике… Кирпичные геометрические дорожки в антиалкогольной лечебнице — «…правда — не рупь, она по виду, может, и монета чистая, а на зуб ее не возьмешь…» — и прозрачные злые слезы Обольникова… Прекрасная белая девушка Марина Колесникова — «…ему пришлось победить Минотавра»… Пустой осенний парк — «Есть люди, способные сразу раскрыть отпущенное им дарование…»

— это снова Поляков, и Иконников с аспидом в руке: «…это сыщиком можно быть первым или восемнадцатым…» Элегантный Белаш с перекинутым на руку плащом — «Страдивари» воруют, чтобы не попадаться»… Алюминиевый блеск сгоревшего листочка со следами цифр — «…будьте добрее, это вам не повредит»… Седая красивая Раиса Никоновна Филонова у портрета Иконникова — «…то, что прощается среднему человеку, никогда не прощают таланту»… Хоровод девушек на экране цветного телевизора в витрине напротив больницы, где лежал мертвый Иконников, и линованная страничка его письма… Мельник с лысым шишковатым черепом — «…ты как вошел, я тебя сразу понял…» — и сверкающие на дощатом столе ордена Полякова, и снова Мельник, сваливший тулуп у дверей комиссара… Шустрый седенький парикмахер Кац, лохматый, заросший до бровей Дзасохов — и курица со скорбным человеческим глазом, противное розовое злорадство Содомского, бесчисленные лица допрошенных людей, сумасшедшие от ужаса глаза Белаша, увидевшего Мельника, и снова Иконников: «…характер человека — это его судьба»… Бегущие по ломкому, трещащему льду Хрюня и Никодимов… Багровое, в красных жилках лицо Федора Долгова:

«…соседская девочка утром с голодухи померла, а у него — музей пополам с лабазом»… Тревожное дрожание в руках камертона и животный трепет сердца Никодимова…

Разве такое могло вместиться в два месяца? Хотя я забыл — это же семнадцать лет, а не два месяца. А может быть, больше? Ведь скрипке уже двести сорок восемь лет. И разве со скрипки все началось? А с чего началось?

…Качаются, шумят зеленые волны, и мелькают на гребнях белые весла сиракузских трирем.

Звяк-звяк — ударяют в такт цепи гребцов. Тирану Миносу везут украшения для удивительного дворца, из которого нет выхода.

Тут-тук — возводят высокие стены, за которые можно войти, а назад нет выхода.

Скрип-скрип — бежит по папирусу перо Дедала.

— Зачем, мудрый всезнатец, возводишь дворец, из которого не улететь даже на твоих крыльях?

Звяк-звяк — Дедал тоже раб.

— Зачем, Мудрость, служишь злодейству?

— Мой лабиринт прекрасен, а прекрасное не может быть присно злодейству.

Цок-цок — ты слышишь, Дедал, шаги чудовища?

— Но Минотавр лишь скроет здесь от взглядов людских свое уродство!

— Зачем же ведут в страшный дворец семь невинных девушек и семь прекрасных юношей?

— Я не хотел этого — я мечтал построить неслыханное чудо!

— Дедал, ты слышишь стенания и крики в твоем чудесном дворце?

— Я только раб, а деспот всегда сильнее мудреца!

— Смотри, Дедал, никогда не давало свободы и добра повиновение Мудрости тирану.

— Но я жажду искупления!

— Ты получишь его, отдав богам сына Икара…

— Нет, нет, возьмите лучше мою жизнь!

— С судьбой нельзя торговаться, корабль Тезея уже отошел от берегов.

— Нет, нет, нет! А-а-а!..

— Товарищ капитан, проснитесь!

Я открыл глаза — шофер Леша легонько похлопывал меня по плечу. Машина стояла около моего дома. Комиссар дремал. Я вылез из машины, осторожно притворил дверцу, и «Волга» бесшумно унеслась.

На заснеженном пустынном тротуаре я стоял еще долго, но так и не вспомнил, с чего все на-

чалось. Потом махнул рукой и пошел спать — до утра осталось совсем мало времени.